

Фрэнсис Скотт Фицджеральд Загадочная история Бенджамина Баттона

1

В 1860 году еще полагали, что появляться на свет надлежит дома. Ныне же, гласит молва, верховные жрецы медицины повелевают, дабы первый крик новорожденного прозвучал в стерильной атмосфере клиники, предпочтительно фешенебельной. Поэтому, когда молодые супруги мистер и миссис Роджер Баттон решили в один прекрасный летний день 1860 года, что их первенец должен появиться на свет божий в клинике, они опередили моду на целых пятьдесят лет. Связан ли этот анахронизм с той поразительной историей, которую я собираюсь здесь поведать, навсегда останется тайной.

Я расскажу, как все было, а там уж судите сами. Перед войной супруги Баттоны занимали в Балтиморе завидное положение и процветали. Они были в родстве с Этим Семейством и с Тем Семейством, что, как известно каждому южанину, приобщало их к многочисленной аристократии, которой изобиловала Конфедерация. Они впервые решились отдать дань очаровательной старой традиции — обзавестись ребенком, и мистер Баттон, вполне естественно, нервничал. Он надеялся, что родится мальчик и он сможет определить его в йельский колледж, штат Коннектикут, где сам мистер Баттон целых четыре года был известен под недвусмысленным прозвищем «Петух».

В то сентябрьское утро, когда ожидалось великое событие, он встал в шесть часов, оделся, безупречно завязал галстук и, выйдя на улицу, устремился к клинике, торопясь узнать, зародилась ли в лоне ночи новая жизнь.

В сотне шагов от Частной мэрилендской клиники для леди и джентльменов он увидел доктора Кина, пользовавшего все его семейство, который выходил из главного подъезда, потирая руки привычным движением, как будто мыл их под краном, к чему обязывает всех врачей неписанный закон их профессии.

Мистер Роджер Баттон, глава фирмы «Роджер Баттон и К^о, оптовая торговля скобяными товарами», бросился навстречу доктору, вмиг позабыв о достоинстве, которое было неотъемлемым качеством южанина в те незабываемые времена.

— Доктор Кин! — вскричал он. — Ах, доктор Кин!

Доктор услышал это и остановился, ожидая мистера Баттона, причем на строгом докторском лице появилось весьма странное выражение.

— Ну как? — спросил мистер Баттон, запыхавшись от быстрого бега. — Уже? Что с ней? Мальчик? Или нет? И какой...

— Говорите вразумительно! — резко оборвал его доктор Кин. Вид у него был раздраженный.

— Родился ребенок? — пробормотал мистер Баттон с мольбой.

Доктор Кин нахмурил брови.

— М-да, пожалуй... я бы сказал... в некотором роде. — Он опять посмотрел на мистера Баттона странным взглядом.

— Как жена? Благополучно?

— Да.

— А кто у нас — девочка или мальчик?

— Оставьте меня! — закричал доктор Кин, окончательно потеряв самообладание. — Сделайте милость, разбирайтесь сами. Безобразие!

Последнее слово он будто выплюнул Баттону в лицо и пробормотал, отворачиваясь:

— Уж не думаете ли вы, что это поднимет мой врачебный престиж? Да случись еще хоть раз нечто подобное — и я разорен, такое кого угодно разорит!

— Но в чем же дело? — вскричал мистер Баттон в ужасе. — Тройня?

— Если бы тройня! — ответил доктор убийственным тоном. — Нет уж, ступайте полюбуйте собственными глазами. И найдите себе другого доктора. Я принимал вас, когда

вы родились на свет, молодой человек, и сорок лет лечил ваше семейство, но теперь между нами все кончено. Не хочу больше видеть ни вас, ни вашу родню! Прощайте!

Он резко повернулся, не сказав более ни слова, уселся в пролетку, которая ждала его у тротуара, и отбыл в суровом молчании.

Ошеломленный мистер Баттон остался стоять на улице, весь дрожа. Что за непоправимое несчастье его постигло? У него вдруг пропало всякое желание идти в Частную мэрилендскую клинику для леди и джентльменов, он помедлил немного, но все же пересилил себя, поднялся по ступеням и вошел.

В сумраке приемной сидела за столом медицинская сестра. Сгорая со стыда, мистер Баттон подошел к ней.

— Доброе утро, — любезно приветствовала она его.

— Доброе утро. Я... я мистер Баттон.

Ее лицо вдруг исказил ужас. Она вскочила, готовая, казалось, выбежать вон, и лишь с видимым трудом осталась на месте.

— Я хочу видеть своего ребенка, — сказал мистер Баттон.

Сестра тихонько пискнула.

— О-о... пожалуйста! — воскликнула она, и в голосе ее послышались истерические нотки. — Идите наверх. Наверх. Вон туда.

Она указала в сторону лестницы, и мистер Баттон, спотыкаясь на каждом шагу и обливаясь холодным потом, побрел на второй этаж. Там он обратился к другой сестре, которая встретила его с тазом в руках.

— Я мистер Баттон, — едва вымолвил он. — Я хочу видеть своего...

Дзинь! Таз со звоном упал на пол и покатился к лестнице. Дзинь! Дзинь! Таз мерно позвякивал о ступеньки, как бы разделяя всеобщий ужас, внушаемый Баттоном.

— Я хочу видеть своего ребенка! — Голос мистера Баттона срывался. В глазах у него мутилось.

Дзинь! Таз благополучно достиг первого этажа. Сестра овладела собой и взглянула на мистера Баттона с нескрываемым презрением.

— Что ж, мистер Баттон, — произнесла она, понизив голос. — Как вам будет угодно. Но если бы вы только знали, в каком мы теперь положении! Ведь это сущее безобразие! Репутация нашей клиники погибла навсегда...

— Довольно! — прохрипел он. — Я больше не могу!

— В таком случае, мистер Баттон, пожалуйста сюда.

Он поплелся за ней. Они остановились в конце длинного коридора, у двери палаты, за которой на все лады раздавался писк младенцев, — недаром впоследствии ее стали называть «пискливой палатой». Они вошли. У стен стояло с полдюжины белых колыбелек, и к каждой был привязан ярлычок.

— Ну? — задыхаясь, спросил мистер Баттон. — Который же мой?

— Вон тот! — сказала сестра.

Мистер Баттон поглядел туда, куда она указывала пальцем, и увидел вот что. Перед ним, запеленутый в огромное белое одеяло и кое-как втиснутый нижней частью туловища в колыбель, сидел старик, которому, вне сомнения, было под семьдесят. Его редкие волосы были убелены сединой, длинная грязно-серая борода нелепо колыхалась под легким ветерком, тянувшим из окна. Он посмотрел на мистера Баттона тусклыми, бесцветными глазами, в которых мелькнуло недоумение.

— В уме ли я? — рявкнул мистер Баттон, чей ужас внезапно сменился яростью. — Или у вас в клинике принято так подло шутить над людьми?

— Нам не до шуток, — сурово ответила сестра. — Не знаю, в уме вы или нет, но это ваш сын, можете не сомневаться.

Холодный пот снова выступил на лбу Баттона. Он зажмурился, помедлил и открыл глаза. Сомнений не оставалось: перед ним был семидесятилетний старик, семидесятилетний младенец, чьи длинные ноги свисали из колыбели.

Он безмятежно взирал на них, а потом вдруг заговорил надтреснутым старческим голосом:

— Ты мой папа?

Баттон и сестра содрогнулись.

— Если ты мой папа, — продолжал старик ворчливо, — заведи меня поскорей отсюда или хотя бы вели им поставить здесь удобное кресло.

— Ради всего святого, скажи, откуда ты взялся? Кто ты? — закричал мистер Баттон в отчаянии.

— Не могу сказать доподлинно, кто я, — отозвался плаксивый голос, — потому что я родился всего несколько часов назад, знаю только, что моя фамилия Баттон.

— Лжешь! Ты самозванец!

Старик устало повернулся к сестре.

— Миленькая встреча для новорожденного, — жалобно проскулил он. — Да скажите же ему, что он ошибается.

— Вы ошибаетесь, мистер Баттон, — сурово сказала сестра. — Это ваш сын, тут уж ничего не поделаешь. И будьте столь любезны забрать его домой как можно скорее, сегодня же.

— Домой? — переспросил Баттон, все еще не веря своим ушам.

— Да, мы не можем его здесь держать. Никак не, можем, понимаете?

— Что ж, тем лучше, — проворчал старик. — Нечего сказать, хорошенькое тут у вас место для малыша, который любит тишину и покой. Все время писк, крики, даже вздремнуть невозможно. А когда я попросил поесть, — тут он взвизгнул от возмущения, — мне сунули бутылочку с молоком!

Мистер Баттон рухнул на стул подле своего сына и закрыл лицо руками.

— Боже мой, — прошептал он в ужасе. — Что скажут люди? Как мне теперь быть?

— Вам придется забрать его домой, — настойчиво потребовала сестра. — Немедленно!

Перед глазами несчастного Баттона с ужасающей отчетливостью возникла нелепая картина: он идет по людным улицам бок о бок с этим невыносимым чудищем.

— Я не могу. Не могу! — простонал он.

Люди будут останавливаться, расспрашивать, а что ответить? Придется представлять им семидесятилетнего старца:

— Это мой сын, он родился сегодня утром.

А старик будет кутаться в свое одеяло, и они пройдут мимо оживленных магазинов, мимо невольничьего рынка (на миг мистеру Баттону страстно захотелось, чтобы его сын был чернокожим), мимо роскошных особняков, мимо богадельни...

— Ну! Возьмите же себя в руки! — скомандовала сестра.

— Послушайте, — сказал вдруг старик решительно, — уж не думаете ли вы, что я пойду домой в этом одеяле? Как бы не так.

— Новорожденных всегда пеленают в одеяла.

Со злобным смехом старик показал крошечную белую распашонку.

— Полюбуйтесь! — произнес он надтреснутым голосом. — Вот что они для меня приготовили.

— Новорожденным всегда надевают такие распашонки, — строго сказала сестра.

— Ну а на сей раз, — возразил старик, — не пройдет и двух минут, как новорожденный предстанет перед вами нагишом. Это одеяло кусается. На худой конец дали бы хоть простыню.

— Нет, нет, подожди! — поспешно сказал мистер Баттон и повернулся к сестре. — Что же мне делать?

— Идите в магазин и купите ему одежду.

Голос сына настиг мистера Баттона уже у выхода:

— И трость, папаша. Мне нужна трость.

Мистер Баттон в ярости захлопнул за собой дверь.

— Доброе утро, — обратился взволнованный мистер Баттон к приказчику универсального магазина Чизпика. — Мне нужна детская одежда.

— А сколько вашему ребенку, сэр?

— Без малого шесть часов, — опрометчиво ответил мистер Баттон.

— Приданое для новорожденных продается напротив.

— Нет, мне кажется... боюсь, что это мне не подойдет. Видите ли... ребенок очень крупный. Чрезвычайно... э-э... крупный.

— Там имеются самые большие детские размеры.

— А где можно купить одежду для подростков? — спросил мистер Баттон, в отчаянии меняя тактику.

Он был уверен, что приказчик догадывается о его постыдной тайне.

— Здесь.

— Тогда... — Он поколебался. Мысль, что сына придется одеть, как взрослого, была для него невыносима. Если бы, скажем, найти костюм для очень крупного подростка, можно остричь эту ужасную бороду, перекрасить седые волосы в каштановый цвет, и скрыть таким образом самое ужасное, сохранив остатки самоуважения... о своей репутации в обществе он уже и не вспоминал.

Но, лихорадочно осмотрев все витрины, он убедился, что подходящего костюма для новорожденного Баттона нет. Он проклинал магазин, — что ж, в подобных случаях только и остается проклинать магазин.

— Сколько, вы говорите, вашему мальчику? — с любопытством спросил приказчик.

— Ему... шестнадцать лет.

— Ах, простите, а мне послышалось — шесть часов. Одежду для юношей продают в соседнем зале.

Мистер Баттон поплелся было прочь. Но вдруг он остановился и радостно указал на манекен в витрине.

— Вот! — воскликнул он. — Я беру тот костюм, что на манекене.

Приказчик посмотрел на него в изумлении.

— Но это же не детский костюм, — сказал он. — А если и детский, то сшит для манекена. Да он вам самому пришелся бы впору.

— Заверните, — потребовал покупатель. — Именно это мне и нужно.

Ошеломленный приказчик повиновался.

Вернувшись в клинику, Баттон вошел в палату и едва не запустил в сына свертком.

— Вот тебе, одевайся, — сказал он со злостью.

Старик развернул бумагу и насмешливо поглядел на содержимое пакета.

— Да ведь это просто смешно, — пожаловался он. — Я не хочу, чтобы из меня сделали обезьяну...

— Это ты из меня обезьяну сделал! — огрызнулся Баттон. — Не тебе судить, как ты выглядишь. Живо одевайся или... или я тебя отшлепаю.

На последнем слове он всхлипнул, хотя чувствовал, что именно это и следовало сказать.

— Ладно, папа, — сказал сын с притворным почтением. — Ты старше, значит, тебе видней. Я повинуюсь.

При слове «папа» мистер Баттон вновь содрогнулся.

— И поторапливайся.

— Я поторапливаюсь, папа.

Когда сын оделся, мистер Баттон осмотрел его и окончательно упал духом. На нем были крапчатые чулки, розовые панталоны и кофточка с белым воротником. Поверх нее почти до пояса змеилась грязно-серая борода. Впечатление было не из лучших.

— Подожди-ка!

Мистер Баттон схватил хирургические ножницы и тремя быстрыми движениями отхватил бороду. Но и это не помогло — вид новорожденного по-прежнему был далек от совершенства. Жесткая щетина на подбородке, тусклые глаза, желтые стариковские зубы выглядели нелепо в сочетании с нарядным, сшитым для витрины костюмом. Но мистер Баттон, ожесточившись, протянул сыну руку.

— Пошли! — сказал он строго.

Сын доверчиво уцепился за эту руку.

— А как ты будешь меня звать, папочка? — спросил он дребезжащим голосом, когда они выходили из палаты. — Просто «малыш», покуда не придумаешь что-нибудь получше?

Мистер Баттон хмыкнул.

— Не знаю, — ответил он сурово. — Пожалуй, назовем тебя Мафусаилом.

3

Даже когда отпрыска Баттонов коротко остригли, покрасили волосы в неестественный черноватый цвет, щеки и подбородок выбрили до блеска, а потом нарядили в детский костюмчик, сшитый по заказу портным, который долго не мог прийти в себя от удивления, мистеру Баттону все же пришлось признать, что такой первенец отнюдь не делает чести его семейству.

Бенджамин Баттон — так его называли, отказавшись от весьма подходящего, но слишком уж вызывающего имени Мафусаил, — хоть и сутулился по-стариковски, имел пять футов восемь дюймов росту. Этого не скрадывала одежда, равно как короткая стрижка и крашенные брови не скрадывали тусклых, выцветших глаз. Нянька, заранее взятая к ребенку, едва увидев его, в негодовании покинула дом.

Но мистер Баттон твердо решил: Бенджамин — младенец и таковым должен быть. Прежде всего он объявил, что если Бенджамин не будет пить теплое молоко, то вообще ничего не получит, но потом его уговорили помириться на хлебе с маслом и даже овсяной каше. Однажды он принес домой погремушку и, отдавая ее Бенджамину, в недвусмысленных выражениях потребовал, чтобы он играл ею, после чего старик с усталым видом взял ее и время от времени покорно встряхивал.

Однако погремушка, без сомнения, его раздражала, он, оставаясь в одиночестве, находил другие, более приятные для себя развлечения. К примеру, однажды мистер Баттон обнаружил, что за минувшую неделю выкурил сигар намного больше обычного; все объяснилось несколько дней спустя, когда, неожиданно войдя в детскую, он увидел, что комната наполнена легким голубым туманом, а Бенджамин с виноватым видом пытается спрятать окурок гаванской сигары. Конечно, следовало бы его хорошенько отшлепать, но мистер Баттон почувствовал, что не способен на это. Он только предупредил сына, что курение задержит его рост.

Несмотря на этот случай, мистер Баттон продолжал гнуть свою линию. Он купил оловянных солдатиков, игрушечный поезд, принес больших, забавных зверей, набитых ватой, и для полноты иллюзии — по крайней мере собственной — настойчиво допытывался у продавца, «не слиняет ли розовая окраска утки, если ребенок засунет игрушку в рот». Но вопреки всем стараниям своего отца Бенджамин оставался равнодушен к игрушкам. Он тайком, по черной лестнице, спускался вниз и приносил в детскую том Британской энциклопедии, над которым и проводил целый день, а коровы, набитые ватой, и Ноев ковчег валялись в небрежении на полу. Такого упорства мистер Баттон не в силах был сломить.

Рождение Бенджамина поначалу произвело в Балтиморе сенсацию. И трудно сказать, как это несчастье отразилось бы на общественном положении Баттона и его родственников, если бы не началась Гражданская война, которая отвлекла от них внимание. Некоторые особенно вежливые люди ломали себе головы над тем, что бы такое сказать родителям Бенджамина, дабы это было им приятно, и наконец нашли простой выход: объявили, что

новорожденный похож на своего деда — ввиду свойственной семидесятилетним старикам умственной слабости отрицать это было трудно. Мистер и миссис Роджер Баттон нисколько не обрадовались, а дед Бенджамин оскорбился до глубины души.

Покинув клинику, Бенджамин безропотно принимал окружающий мир. Однажды к нему привели поиграть нескольких малышей, и он кое-как дотянул до вечера, стараясь проявлять интерес к волчку и шарикам, причем ему удалось даже, правда по чистой случайности, разбить окно на кухне выстрелом из рогатки — подвиг, которому его отец втайне радовался.

С тех пор Бенджамин ухитрялся каждый день что-нибудь разбивать, но делал это лишь для того, чтобы угодить взрослым, поскольку характер у него был покладистый.

Когда дед перестал испытывать враждебность к нему, они с Бенджамином начали находить большое удовольствие в общении друг с другом. Часами сидели они, старый и малый, словно закадычные друзья, и беседовали о всяких пустяках.

С дедом Бенджамин чувствовал себя свободнее, чем с родителями, которые всегда словно побаивались его и, забывая о своем родительском авторитете, нередко называли «мистером».

Он сам не менее других был удивлен тем, что родился таким старым и умудренным опытом. Он попытался найти объяснение этому в медицинском журнале, но выяснил лишь, что науке подобные случаи не известны. По настоянию отца он честно пробовал играть с другими мальчиками, но предпочитал спокойные игры, — футбол приводил его в трепет: он боялся, что, если ему переломают старческие кости, они уже никогда не срастутся.

Пяти лет от роду его отдали в детский сад, где он приобщился к великому искусству наклеивать зеленые бумажки на оранжевые, плести цветные узоры и изготавливать бесконечные картонные украшения. Случалось, он засыпал, не выполнив урока, — эта привычка сердила и ужасала его юную наставницу. К счастью, она пожаловалась родителям, и его забрали оттуда. Баттоны объяснили своим друзьям, что мальчик, как им кажется, еще не дорос до детского сада.

На двенадцатый год после его рождения родители наконец к нему привыкли. Воистину столь велика сила привычки, что они уже не видели разницы между ним и другими детьми — разве только иногда какая-нибудь его странность напоминала им об этом. Но однажды, вскоре после того, как ему исполнилось двенадцать, Бенджамин взглянул в зеркало и сделал поразительное открытие. Он не поверил своим глазам: неужели пробивавшаяся из-под краски седина на тринадцатом году его жизни приобрела серовато-стальной оттенок? Неужели сеть морщин на его лице словно бы сгладилась? Неужели кожа стала свежей и упругой, а на щеках, словно тронутых зимним морозом, даже заиграл легкий румянец? Его одолевали сомнения. Он замечал, что больше не сутулился и здоровье его заметно окрепло со времен младенчества.

— Возможно ли?... — подумал или, вернее, едва осмелился подумать Бенджамин.

Он пошел к отцу.

— Я вырос, — решительно объявил он. — Купи мне длинные брюки.

Отец задумался.

— Право, не знаю, — сказал он наконец. — Длинные брюки обычно носят с четырнадцати лет, а тебе только двенадцать.

— Но ты должен признать, — возразил Бенджамин, — что я довольно крупный ребенок для своих лет.

Отец бросил на него неуверенный взгляд.

— Ну, я этого не нахожу, — сказал он. — В двенадцать лет я не уступал тебе.

Это была ложь: Роджер Баттон давно вошел в сделку с совестью, молчаливо притворяясь, будто его сын вполне нормальный ребенок.

Наконец был найден компромисс. Бенджамину по-прежнему придется красить волосы. Он будет стараться играть со своими ровесниками. Он обещает не носить очки и не гулять с тростью по улице. В награду за все это ему обещали купить длинные брюки.

Я не намерен много распространяться о жизни Бенджамина Баттона от двенадцати до двадцати одного года. Достаточно заметить, что за эти годы он неуклонно молодел. К восемнадцати годам он перестал сутулиться и выглядел пятидесятилетним мужчиной; волосы его стали гуще и слегка потемнели; он ходил твердым шагом, дребезжащий голос превратился в мужественный баритон. И тогда отец послал его в Иельский колледж держать экзамены, которые Бенджамин успешно сдал и был зачислен на первый курс.

Через три дня он получил уведомление от мистера Харта, из канцелярии колледжа; ему предлагали явиться для составления учебного плана. Бенджамин, поглядевшись в зеркало, решил, что волосы надо подкрасить, но, лихорадочно обыскав ящик письменного стола, не обнаружил там склянки с краской. Тут он вспомнил, что еще вчера израсходовал остаток краски и выбросил склянку. Выбора не было. Через пять минут ему предстояло явиться в канцелярию. Ничего не попишешь — придется идти как есть. И он пошел.

— Доброе утро, — любезно встретил его мистер Харт. — Вы, должно быть, пришли справиться о своем сыне.

— К вашему сведению, моя фамилия Баттон... — начал Бенджамин, но мистер Харт прервал его:

— Очень рад с вами познакомиться, мистер Баттон. Я ожидаю вашего сына с минуты на минуту.

— Да это же я! — рявкнул Бенджамин. — Меня зачислили на первый курс.

— Что-о?

— Меня зачислили на первый курс.

— Да вы шутите!

— Нисколько.

Клерк нахмурился и заглянул в карточку, лежавшую перед ним.

— Но у меня здесь значится, что Бенджамину Баттону восемнадцать лет.

— Вот именно, восемнадцать, — подтвердил Бенджамин и слегка покраснел.

Клерк устало взглянул на него.

— Право, мистер Баттон, не думаете же вы, что я вам поверю.

Бенджамин улыбнулся не менее устало.

— Мне восемнадцать, — повторил он.

Клерк решительно указал ему на дверь.

— Уходите, — сказал он. — Уходите из колледжа и покиньте наш город. Вы опасный маньяк.

— Мне восемнадцать!

Мистер Харт распахнул дверь.

— Подумать только! — вскричал он. — В ваши годы пытаться поступить на первый курс! Восемнадцать лет, говорите? Даю вам восемнадцать минут, и чтобы духу вашего в городе не было.

Бенджамин Баттон с достоинством покинул канцелярию, причем с полдюжины старшекурсников, ожидавших в приемной, таращили на него глаза. Отойдя немного, он оглянулся на взбешенного клерка, который все еще стоял в дверях, и твердо повторил:

— Мне восемнадцать лет от роду.

Под дружный хохот старшекурсников Бенджамин удалился.

Но ему не суждено было так легко отделаться. Он печально брел к вокзалу и вдруг обнаружил, что его сопровождает сперва стайка, потом рой, и, наконец, плотная толпа студентов. Весть о том, что какой-то маньяк выдержал вступительные экзамены и пытался выдать себя за восемнадцатилетнего юношу, облетела город. Весь колледж лихорадило. Студенты выбегали на улицу, позабыв в аудитории свои шляпы, футбольная команда прервала тренировку и присоединилась к толпе, профессорши, со съехавшими на одно ухо

шляпками, со сбившимися на бок турнюрками, громкими воплями преследовали процессию, а вокруг так и сыпались насмешки, попадавшие в самое уязвимое место Бенджамина Баттона:

- Наверное, это Вечный Жид!
- В его возрасте ему бы быть пригостишкой!
- Только поглядите на этого вундеркинда!
- Он решил, что у нас здесь богадельня!
- Эй, ты, поезжай в Гарвард!

Бенджамин прибавил шаг, потом перешел на рысь. Он им покажет! Да, он поедет в Гарвард, и они еще пожалеют о своих опрометчивых насмешках!

Благополучно укрывшись в вагоне балтиморского поезда, он высунулся из окна.

- Вы еще пожалеете! — заорал он.
- Ха-ха! — хохотали студенты. — Ха-ха-ха!

В тот день йельский колледж совершил роковую ошибку...

5

В 1880 году Бенджамину Баттону исполнилось двадцать, и свой день рождения он ознаменовал тем, что стал компаньоном отца в фирме «Роджер Баттон и К°, оптовая торговля скобяными товарами». В том же году он начал «выезжать в свет», вернее, отец чуть ли не насильно стал вывозить его на светские балы. Роджеру Баттону было уже пятьдесят, и отец с сыном теперь куда больше подходили друг другу — право, с тех пор как Бенджамин перестал красить волосы (в которых все еще пробивалась седина), они казались ровесниками и их вполне можно было принять за братьев.

В один из августовских вечеров они облачились во фраки и отправились в карете к Шевлинам, в их загородную усадьбу неподалеку от Балтимора.

Вечер был чудесный. Полная луна заливала дорогу мягким серебристым светом, увядающие осенние цветы наполняли недвижный воздух благоуханием, словно пронизывая его тихим, едва слышным смехом. Широкие поля, покрытые далеко окрест ковром пшеницы, были освещены, как днем.

Казалось бы, никто не мог остаться равнодушным к этой чистой красоте неба... казалось бы...

— Да, у торговли скобяными товарами великое будущее, — говорил Роджер Баттон. Он не был возвышенным человеком — его эстетические чувства пребывали в зачаточном состоянии.

— В мои годы уже поздно учиться всем этим нынешним новшествам, — заметил он глубокомысленно. — А вот у вас, подрастающего поколения, полного сил и энергии, великое будущее.

Далеко впереди показались мерцающие огни усадьбы, и вскоре послышался тихий неумолчный ропот — быть может, то вздыхали скрипки или шелестела пшеница в лунном серебре.

Они остановились подле роскошного экипажа, из которого уже высаживались гости. Сначала вышла дама, за ней пожилой господин и еще одна молодая дама, блиставшая ослепительной красотой. Бенджамин вздрогнул, в нем словно началась химическая реакция, все его существо как бы преобразилось. Его охватил озноб, щеки и лоб зарделись, в ушах зашумело. Это пришла первая любовь.

Девушка была стройна и нежна. Под луной ее волосы казались пепельными, а у подъезда, при свете шипящих газовых фонарей, они отливали медовой желтизной. Плечи ее окутывала золотистая испанская мантилья, подбитая черным шелком, очаровательные ножки выглядывали из-под края платья.

Роджер Баттон шепнул сыну:

— Это юная Хильдегарда Монкриф, дочь генерала Монкрифа.

Бенджамин сдержанно кивнул.

— Недурна, — заметил он равнодушно. А когда негр-слуга отвел лошадей в сторону, добавил: — Папа, ты не мог бы представить ей меня?

Они подошли к гостям, окружившим мисс Монкриф. По старой доброй традиции она сделала Бенджамину глубокий реверанс. Да, разумеется, он может рассчитывать на танец. Он поблагодарил ее и отошел, ноги у него подкашивались. Время ползло мучительно медленно, он едва дождался своей очереди. Он стоял у стены, безмолвный, непроницаемый, взирая убийственным взглядом на восторженно-влюбленные физиономии аристократических отпрысков Балтимора, увивавшихся вокруг Хильдегарды Монкриф. Как они были отвратительны Бенджамину, как невыносимо юны! Их выющиеся каштановые бакенбарды вызывали в нем ощущение, подобное желудочной колике.

Но, когда подошла его очередь и он закружился с ней по сверкающему паркету под звуки модного парижского вальса, его ревность и тревоги растаяли, как весенний снег. Ослепленный и очарованный, он чувствовал, что жизнь только начинается.

— Вы с вашим братом подъехали следом за нами, не правда ли? — спросила Хильдегарда, подняв на него сияющие лазурные глаза.

Бенджамин был в нерешительности. Если она приняла его за брата отца, стоит ли говорить ей правду? Он вспомнил, что приключилось с ним в Иеле, и решил промолчать. Ведь спорить с дамой неприлично; и к тому же было бы просто преступлением портить такие дивные минуты нелепым рассказом о его появлении на свет. Лучше уж как-нибудь потом. Он кивал, улыбался, внимал ей и был на верху блаженства.

— Мне нравятся мужчины в вашем возрасте, — сказала Хильдегарда. — Эти мальчишки так глупы. Хвастают тем, сколько выпивают шампанского в колледже и какую кучу денег проигрывают в карты. А вот мужчины в вашем возрасте умеют ценить женщин.

Бенджамин почувствовал, что готов не сходя с места сделать ей предложение, — усилием воли он подавил этот порыв.

— Вы в самом романтическом возрасте, — продолжала она. — Вам пятьдесят. В двадцать пять мужчины полагают, будто знают все на свете; в тридцать они бывают изнурены работой; в сорок — рассказывают бесконечные истории, слушая которые можно выкурить целый ящик сигар; в шестьдесят... ах, в шестьдесят... там уж и до семидесяти недалеко; а пятьдесят — это пора возмужания. Вот что мне по душе.

И Бенджамин подумал, что нет возраста чудеснее, чем пятьдесят лет. Как жаждал он быть пятидесятилетним мужчиной!

— Я всегда говорила, — продолжала между тем Хильдегарда, — что предпочла бы выйти замуж за пятидесятилетнего, который стал бы меня лелеять, чем за тридцатилетнего и самой лелеять его.

Весь вечер Бенджамин купался в медовой желтизне. Хильдегарда осчастливила его еще двумя танцами, и они выяснили, что их взгляды на все существенные проблемы поразительно совпадают. Она согласилась совершить с ним воскресную прогулку, дабы продолжить этот важный разговор.

Возвращаясь домой уже перед рассветом, когда жужжали ранние пчелы и меркнущая луна отсвечивала в холодных капельках росы, Бенджамин, словно сквозь сон, слышал, как отец толковал про оптовую скобяную торговлю:

— ...а как ты думаешь, кроме молотков и гвоздей, что заслуживает особого внимания?

— Любовь, — рассеянно отозвался Бенджамин.

— Любое?! — воскликнул Роджер Баттон. — Да ведь не можем же мы торговать чем попало!

Бенджамин смотрел на отца невидящим взглядом, а небо на востоке вдруг озарилось светом, и в пробуждающейся листве тоненько засвистела иволга...

мистера Бенджамина Баттона (я говорю «стало известно», ибо генерал Монкриф заявил, что скорее проткнет себя собственной шпагой, чем официально объявит об этой помолвке), балтиморское общество пришло в лихорадочное волнение. История рождения Бенджамина, почти забытая, снова выплыла наружу и, раздуваемая сплетней, приобрела чудовищный и невероятный вид. Говорили, что в действительности Бенджамин — отец Роджера Баттона; что он — его брат, просидевший сорок лет в тюрьме; что это переодетый Джон Уилкс Бут и, наконец, что на голове у него есть пара маленьких острых рожек.

Воскресные приложения к нью-йоркским газетам подняли шумиху и поместили прелестные карикатуры, изображавшие Бенджамина Баттона то в виде рыбы, то в виде змеи и даже в виде медной болванки. Он фигурировал в газетах, как Таинственный Незнакомец из Мэриленда. Истинной же его истории, как это обычно бывает, не знал почти никто.

Однако все соглашались с генералом Монкрифом, что это попросту преступно со стороны очаровательной девушки, которая могла бы выйти за любого из блестящих балтиморских юношей, — броситься в объятия человека, которому никак не меньше пятидесяти. Напрасно мистер Роджер Баттон крупным шрифтом напечатал в балтиморской газете «Пламя» свидетельство о рождении сына. Никто ему не поверил. Стоило только взглянуть на Бенджамина, и все становилось ясным.

Однако те двое, которых эта история касалась более всего, оставались непоколебимы. О женихе Хильдегарды ходило столько лживых сплетен, что она упрямо не хотела поверить даже истине. Напрасно генерал Монкриф указывал ей на высокую смертность среди пятидесятилетних, или, во всяком случае, среди людей, которым на вид можно дать пятьдесят; напрасно пытался убедить ее, что скобяная торговля — дело ненадежное. Хильдегарда решила выйти замуж за зрелого мужчину — и поставила на своем.

7

В одном по крайней мере друзья Хильдегарды Монкриф ошибались. Скобяная торговля процветала. За пятнадцать лет, с 1880 года, когда Бенджамин женился, и до 1895-го, когда его отец удалился от дел, их состояние выросло вдвое, главным образом благодаря усилиям Баттона младшего.

Незачем и говорить, что со временем балтиморское общество приняло супругов в свое лоно. Даже старый генерал Монкриф примирился со своим зятем, после того как Бенджамин дал ему денег на печатание его двенадцатитомной «Истории Гражданской войны», отвергнутой девятью виднейшими издателями.

Да и в самом Бенджамине за пятнадцать лет произошло немало перемен. Ему казалось, что кровь быстрее струится в его жилах. Он теперь с удовольствием вставал ранним утром, бодро шагал по оживленным, залитым солнцем улицам, без усталости принимал и отгружал партии молотков и гвоздей. В 1890 году он нанес решительный удар конкурентам, войдя в сенат с нижеследующим предложением: все гвозди, которыми заколочены ящики, содержащие гвозди, являются собственностью грузоотправителя, — впоследствии это предложение стало законом, одобренным верховным судьей Фоссайлом, благодаря чему фирма «Роджер Баттон и К°» стала экономить более шестисот гвоздей ежегодно.

Кроме того, Бенджамин обнаружил, что его все больше привлекают простые радости жизни. Эта растущая тяга к удовольствиям выразилась в том, что он первым в Балтиморе приобрел автомобиль. Встречая Бенджамина на улице, его сверстники обычно с завистью глазели на это воплощение здоровья и энергии.

— Он словно молодеет с каждым годом, — говорили они.

И если старый Роджер Баттон, которому теперь было шестьдесят пять, поначалу не оценил сына должным образом, то в конце концов он загладил свою вину, так как теперь едва ли не заискивал перед ним.

А теперь мы вынуждены коснуться предмета не слишком приятного, о котором следует сказать как можно короче. Одно лишь тревожило Бенджамина Баттона: он больше уже не

испытывал влечения к своей жене.

К этому времени Хильдегарде исполнилось тридцать пять и у нее был четырнадцатилетний сын Роско.

В первое время после женитьбы Бенджамин ее боготворил. Но годы шли, ее волосы, некогда отливавшие медовой желтизной, теперь имели тоскливый грязноватый оттенок. Лазурные голубые глаза потускнели и обрели цвет залежавшейся глины; но мало того — и это было главное, — она стала слишком равнодушной, слишком спокойной, слишком самодовольной и вялой в проявлении своих чувств, слишком ограниченной в своих интересах.

До свадьбы именно она «вытаскивала» Бенджамина на балы и торжественные обеды — а теперь все было наоборот. Она выезжала с ним в свет, но без всякой охоты, будучи во власти той непреодолимой инерции, которая в один прекрасный день завладевает человеком и не покидает его до конца жизни.

Неудовольствие Бенджамина росло. В 1898 году, когда разразилась Испано-американская война, он был уже до такой степени равнодушен к своему домашнему очагу, что решился пойти в армию добровольцем. Используя свои деловые связи, он получил звание капитана и проявил столь блестящие способности, что был повышен в чине и стал сначала майором, а потом подполковником, в каковом чине и участвовал в знаменитой битве при Сан-Хуан Хилле. Он был легко ранен и награжден медалью.

Бенджамин так привык к бурной и беспокойной армейской жизни, что ему жаль было с ней расстаться, но дела требовали его присутствия, и он, выйдя в отставку, вернулся в Балтимор. На вокзале ему устроили встречу с оркестром и с почетным эскортом проводили до дома.

8

Хильдегарда приветствовала его с балкона, размахивая большим шелковым флагом, но, едва поцеловав ее, Бенджамин с болью в сердце понял, что эти три года сделали свое дело.

Перед ним была сорокалетняя женщина, в волосах у которой уже пробивалась седина. Это привело его в отчаяние.

Поднявшись к себе, он увидел свое отражение в старом зеркале, подошел ближе и стал с беспокойством рассматривать собственное лицо, то и дело поглядывая на фотографию, сделанную перед войной.

— О господи! — вырвалось у него.

Поразительный процесс продолжался. Сомнений не было — теперь он выглядел лет на тридцать. Он ничуть не обрадовался, напротив, ему стало не по себе: он неотвратимо молодел. Прежде у него еще была надежда, что, когда тело его придет в соответствие с его подлинным возрастом, природа исправит ошибку, которую она совершила при его появлении на свет. Он содрогнулся. Будущее представилось ему ужасным, чудовищным.

Внизу его уже ждала Хильдегарда. Вид у нее был злобный, и он подумал, что она, должно быть, заподозрила неладное. Стремясь сгладить натянутость, он за обедом завел разговор на волновавшую его тему в весьма, как ему казалось, деликатной форме.

— Знаешь, — обронил он как будто вскользь, — все находят, что я помолодел.

Хильдегарда бросила на него презрительный взгляд и фыркнула.

— Нашел чем хвастать.

— Я не хвастаю, — заверил он ее, испытывая мучительную неловкость.

Она снова фыркнула.

— Хорошенькое дело, — сказала она и, помолчав, добавила: — Надеюсь, ты найдешь в себе силы положить этому конец.

— Но как? — спросил он с удивлением.

— Я не намерена с тобой спорить, — заявила она. — Всякий поступок может быть приличен или неприличен, в зависимости от обстоятельств. Если ты решил быть таким

оригиналом, что ж, помешать тебе я не могу, однако мне кажется, все это не слишком деликатно с твоей стороны.

— Но, Хильдегарда, поверь, я тут ничего не могу поделать.

— И я тоже. Ты попросту упрямисься. Ты решил быть оригиналом, был им всю жизнь и таким останешься. Но вообрази, на что это было бы похоже, если бы каждый смотрел на вещи так, как ты, — во что превратился бы мир?

На этот нелепый довод нечего было ответить, и Бенджамин промолчал, но с этой минуты пропасть, их разделявшая, стала еще шире. Он мог только удивляться, как это она некогда сумела его очаровать.

А тут еще он обнаружил, что с приходом нового века жажда удовольствий в нем, как на грех, стала возрастать. Он бывал на всех приемах в Балтиморе, танцевал с молодыми замужними дамами, болтал с красавицами, впервые блиставшими на балах, пленялся ими, а его супруга, словно старая вдова, чье лицо не сулило ничего доброго, сидела среди пожилых матрон, то напуская на себя надменный и презрительный вид, то следя за ним пристальным, удивленным, полным упрека взглядом.

— Подумать только! — говорили вокруг. — Какая жалость! Такой молодой человек, а женат на сорокапятилетней старухе! Да ведь он лет на двадцать ее моложе.

Они забыли — ведь людская память так коротка, — что в 1880 году их мамы и папы тоже судачили об этом неравном браке.

Неприятности, которые Бенджамину приходилось терпеть в своем семействе, окупались новыми интересами, которые у него появились. Он начал играть в гольф и делал необычайные успехи. Он увлекся танцами: в девятьсот шестом году он неподражаемо исполнял бостон, в девятьсот восьмом — максиксе, а в девятьсот девятом все юноши в городе завидовали его умению танцевать касул-уок.

Разумеется, дела несколько мешали его светским успехам, но ведь он занимался скобяной торговлей вот уже двадцать пять лет и теперь полагал, что вскоре сможет передать ее в руки своего сына Роско, который недавно окончил Гарвардский университет.

Люди часто принимали его за Роско и наоборот. Бенджамину это было приятно — он вскоре забыл зловещий страх, который охватил его, когда он вернулся с Испано-американской войны, и стал наивно радоваться своей внешности. В этой бочке меда была лишь одна ложка дегтя: он терпеть не мог появляться на людях с женой. Хильдегарде было уже под пятьдесят, и, глядя на нее, он чувствовал себя нелепо...

9

Однажды, в сентябре 1910 года, через несколько лет после того, как фирма «Роджер Баттон и К°» перешла в руки Роско Баттона, некий молодой человек, которому на вид можно было дать лет двадцать, поступил на первый курс Гарвардского университета в Кембридже. Он не сделал роковой оплошности и умолчал о том, что ему уже далеко за пятьдесят и что его сын окончил это же самое учебное заведение десять лет назад.

Его зачислили в университет, и в самом скором времени он оказался среди первых в своей группе, отчасти, вероятно, потому, что выглядел чуть постарше своих однокурсников, большинству из которых было восемнадцать лет.

Но настоящий успех пришел к нему, лишь когда он сыграл в футбольном матче против команды Йельского колледжа с таким блеском и холодной, беспощадной яростью, что забил семь штрафных и четырнадцать обычных мячей в ворота соперников, после чего все одиннадцать игроков один за другим были в беспамятстве унесены с поля.

Однако, как ни странно, на третьем курсе он уже едва мог играть в футбол. Тренеры замечали, что он сбавил в весе, и от самых наблюдательных не укрылось, что он стал несколько ниже ростом.

Он больше не забивал мячей, — его терпели в команде главным образом потому, что надеялись на его громкую славу, приводившую йельцев в трепет и замешательство.

На последнем курсе он уже совсем не в состоянии был играть. Он стал таким щуплым и хилым, что один второкурсник даже принял его за новичка, и это было для него горьким унижением. О нем заговорили как о вундеркинде — старшекурсник, которому не больше шестнадцати лет! — и искушенность сверстников часто заставляла его краснеть. Ему все труднее становилось учиться, материал казался слишком сложным. Он слышал некогда от сокурсников о школе святого Мидаса, приготовительном заведении, где многие из них учились перед колледжем, и решил после окончания университета поступить туда, чтобы беспечно жить среди мальчиков своего роста.

В 1914 году, окончив колледж, он вернулся в Балтимор с гарвардским дипломом в кармане. Хильдегарда к тому времени переехала в Италию, и Бенджамин поселился со своим сыном Роско. Роско встретил отца приветливо, но все же в его чувствах явно не было сердечности — сын, очевидно, склонен был даже считать, что Бенджамин, который слонялся по дому, предаваясь юношеским мечтаниям, мешает ему. Роско уже был женат, занимал в Балтиморе видное положение и не хотел, чтобы его семейства коснулась сплетня.

Бенджамин, которого больше не жаловали ни юные красавицы, ни студенты, остался в одиночестве, если не считать трех или четырех пятнадцатилетних мальчишек, живших по соседству. Вскоре он вернулся к мысли о поступлении в школу святого Мидаса.

— Послушай, — сказал он однажды Роско, — я ведь тебе давно говорю, что хочу ездить в приготовительную школу.

— Что ж, поезжай, — коротко отозвался Роско. Он старался уклониться от неприятного разговора.

— Но не могу же я ездить туда один, — сказал Бенджамин жалобно. — Придется тебе отвозить и привозить меня.

— Мне некогда, — резко оборвал его Роско. Глаза его сузились, он смотрел на отца с неприязнью. — И должен тебе сказать, — добавил он, — брось-ка ты это дело. Лучше остановись... Лучше... лучше... — Он запнулся. — Лучше ты повернись налево кругом и дай задний ход. Шутка зашла слишком далеко. Это уже не смешно. Веди себя... прилично!

Бенджамин смотрел на него, глотая слезы.

— И вот еще что, — продолжал Роско. — Я хочу, чтобы при гостях ты звал меня «дядя» — не Роско, а «дядя», понял? Просто нелепо, когда пятнадцатилетний мальчишка зовет меня по имени. Лучше даже, если ты всегда станешь звать меня «дядей», тогда быстрее привыкнешь.

Роско бросил на отца суровый взгляд и отвернулся.

10

После этого разговора Бенджамин уныло поплелся наверх и поглядел на себя в зеркало. Он не брился вот уже три месяца, но не увидел на своем лице ничего, кроме светлого пушка, который попросту не стоил внимания. Когда он вернулся из Гарварда, Роско предложил ему надеть очки и наклеить на щеки бакенбарды, и тогда ему вдруг показалось, что повторяется комедия первых лет его жизни. Но щеки под бакенбардами чесались, и, кроме того, ему было стыдно их носить. Он заплакал, и Роско над ним сжалился.

Бенджамин принялся было читать детскую книжку «Бойскауты Бимини Бей». Но вдруг он поймал себя на том, что неотвязно думает о войне. За месяц перед тем Америка примкнула к союзникам, и Бенджамин решил пойти добровольцем, но, увы, для этого нужно было иметь хотя бы шестнадцать лет от роду, а он выглядел заметно моложе. Однако, если бы он сказал правду — что ему пятьдесят семь лет, — его не взяли бы по старости.

Раздался стук в дверь, и дворецкий подал конверт, на котором стоял большой официальный штамп; письмо было адресовано Бенджамину Баттону. Бенджамин торопливо вскрыл конверт и с чувством восторга прочитал письмо. Его уведомили, что многие офицеры запаса, служившие в рядах армии во время Испано-американской войны, вновь призываются с повышением в чине; к письму были приложены приказ о производстве его в

бригадные генералы армии Соединенных Штатов и предписание явиться немедленно.

Бенджамин вскочил, дрожа от нетерпения. Именно об этом он и мечтал! Он схватил шапку и уже через десять минут, войдя в большую швейную мастерскую на Чарльз-стрит, срывающимся дискантом заказал себе военную форму.

— Хочешь поиграть в войну, сынок? — небрежно спросил приемщик.

Бенджамин рассвирепел.

— Послушайте! Не ваше дело, чего я хочу! — ответил он зло. — Моя фамилия Баттон, я живу на Маунт-Вернон Плейс, так что можете не сомневаться, что я вправе носить форму.

— Ну что ж, — сказал приемщик с сомнением. — Не ты, так твой отец, стало быть, это все едино.

С Бенджамина сняли мерку, и через неделю форма была готова. Труднее было приобрести генеральские знаки различия, потому что торговец настойчиво уверял Бенджамина в том, что красивый значок ХАМЛ ничуть не хуже и с ним даже интереснее играть.

И вот ночью, не сказав Роско ни слова, он покинул дом и поездом доехал до военного лагеря в Мосби, штат Южная Каролина, где должен был принять под свое командование пехотную бригаду. В знойный апрельский день он подъехал к воротам лагеря, расплатился с шофером такси, привезшим его с вокзала, и обратился к часовому у ворот.

— Кликни кого-нибудь, чтобы отнесли мои вещи, — скомандовал он.

Часовой укоризненно взглянул на него.

— Вот так штука! — заметил он. — И далеко ты собрался в генеральской одежде, сынок?

Бенджамин, почетный ветеран Испано-американской войны, напустился на него, сверкая глазами, но, увы, при этом дал петуха:

— Смирно! — Он хотел крикнуть это громовым голосом, набрал воздуха... и вдруг увидел, что часовой щелкнул каблуками и сделал на караул. Бенджамин попытался скрыть довольную улыбку, но, когда он обернулся, улыбка исчезла с его лица. Часовой приветствовал вовсе не его, а внушительного артиллерийского полковника, который подъехал к воротам верхом.

— Полковник! — пронзительно окликнул его Бенджамин.

Полковник подъехал вплотную, натянул поводья, взглянул на Бенджамина, и его глаза насмешливо блеснули.

— Ты чей, малыш? — спросил он ласково.

— Вот я тебе сейчас покажу малыша, чертова кукла! — угрожающе заявил Бенджамин. — Ну-ка, слезай с коня!

Полковник захохотал во все горло.

— Тебе нужен конь, а, генерал?

— Вот! — крикнул Бенджамин в изнеможении. — Читайте!

И он швырнул полковнику приказ о своем производстве в генеральский чин.

У полковника глаза полезли на лоб.

— Кто тебе это дал? — спросил он и сунул приказ в карман.

— Правительство, в чем вы очень скоро сможете убедиться!

— Ступай за мной, — сказал полковник; лицо у него было растерянное. — Я отведу тебя в главный штаб, там разберемся. Идем.

И полковник пошел к штабу, ведя коня под уздцы. Бенджамину ничего не оставалось, как последовать за ним, стараясь соблюсти достоинство, причем в душе он клялся жестоко отомстить полковнику.

Но ему не суждено было осуществить эту месть. Вместо этого ему было суждено улицезреть своего сына Роско, который на второй день примчался из Балтимора, злой и раздосадованный тем, что пришлось ехать, бросив все дела, и препроводил плачущего генерала, теперь уже без мундира, обратно домой.

В 1920 году у Роско Баттона родился первенец. Однако во время торжества по этому случаю никто не счел нужным упомянуть о том, что грязный мальчишка, лет десяти на вид, который играл возле дома в оловянных солдатиков и детский цирк, доводится новорожденному дедом.

Этот маленький мальчик, чье свежее, улыбающееся личико носило на себе едва уловимый след печали, ни у кого не вызывал неприязни, но для Роско Баттона его присутствие было хуже всякой пытки. Выражаясь языком поколения Роско, это был «неделовой подход».

Он полагал, что отец, не желая выглядеть шестидесятилетним стариком, вел себя отнюдь не так, как пристало «уважающему себя деляге» — это было любимое выражение Роско, — а дико и отвратительно. Право, стоило ему задуматься над этим, и через каких-нибудь полчаса он чувствовал, что сходит с ума. Роско считал, что энергичные люди должны сохранять молодость, но надо же знать меру, ведь это... это... просто неделовой подход! И на том Роско стоял.

Через пять лет его маленький сын мог уже играть с маленьким Бенджаминем под присмотром одной няни. Роско одновременно отдал обоих в детский сад, и Бенджамин обнаружил, что нет в мире чудеснее игры, чем возиться с разноцветными полосками бумаги, плести корзиночки, делать цепочки и рисовать забавные, красивые узоры. Однажды он напугал, его поставили в угол и он заплакал, но обычно ему бывало весело в светлой, залитой солнцем комнате, где ласковая рука мисс Бейли касалась иногда его взъерошенных волос.

Сын Роско через год пошел в первый класс, а Бенджамин остался в детском саду. Он был счастлив. Правда, порой, когда другие малыши говорили о том, кем они станут, когда вырастут, по его лицу пробегала тень, как будто своим слабым детским умом он понимал, что ему все это навеки недоступно.

Дни текли однообразно. Уже третий год он ходил в детский сад, но теперь он был слишком мал, чтобы играть с яркими бумажными полосками. Он плакал, потому что другие мальчишки были больше его и он их боялся. Воспитательница что-то говорила ему, но он ничего не понимал.

Его забрали из детского сада. Центром его крошечного мирка стала няня Нана в накрахмаленном полосатом платье. В хорошую погоду они ходили гулять в парк; Нана указывала на огромное серое чудовище и говорила: «Слон», а Бенджамин повторял за ней это слово, и когда его укладывали вечером спать, он без конца твердил:

— Слен, слен, слен.

Иногда Нана позволяла ему попрыгать на кровати, и это было очень весело, потому что, если сесть на нее с размаху, упругий матрасик подбросит вверх, а если при этом протяжно говорить: «А-а-а», голос так смешно вибрирует.

Он любил брать трость, стоявшую у вешалки, и сражаться со стульями и столами, приговаривая:

— Трах-тарарах!

Когда приходили гости, пожилые дамы сюсюкали над ним, и это было ему приятно, а молодые норовили чмокнуть его, и он покорялся без всякой охоты. В пять часов долгий день кончался, Нана уводила его наверх кормить овсянкой или другой кашкой с ложечки.

Его детские сны были свободны от бурных воспоминаний; он не помнил ни о славных временах в колледже, ни о той блистательной поре, когда он волновал сердца многих красавиц. Для него существовала лишь белая, уютная колыбель, Нана, какой-то человек, который приходил иногда взглянуть на него, и огромный оранжевый шар; по вечерам, перед сном, Нана указывала на этот шар и говорила: «Солнце». Когда солнце скрывалось, он уже безмятежно спал и кошмары не мучили его.

Прошлое — как он вел своих солдат на штурм Сан Хуан Хилла; как прожил первые

годы после женитьбы, работая до летних сумерек, вертясь в людском водовороте ради юной Хильдегарды, которую любил без памяти; как еще прежде сидел до поздней ночи, покуривая сигару, в старинном, мрачном доме Баттонов на Монрострит вместе со своим дедом — исчезло из его памяти, подобно мимолетному сну, словно этого и не бывало вовсе.

Он ничего не помнил. Не помнил даже, теплым или холодным молоком его только что поили, не замечал, как проходили дни, — для него существовала лишь колыбель и Нана, к которой он давно привык. А потом он совсем утратил память. Когда он хотел есть, он плакал — только и всего. Дни и ночи сменяли друг друга, он еще дышал, и над ним слышалось какое-то бормотание, шепоты, едва достигавшие его слуха, и был свет, и темнота.

А потом наступил полный мрак: белая колыбелька, и смутные лица, склонившиеся над ним, и чудесный запах теплого, сладкого молока — все исчезло для него навек.

АЛМАЗНАЯ ГОРА

1

Джон Т.Энгер происходил из семьи, которая вот уже несколько поколений была хорошо известна в Гадесе¹ — маленьком городке на Миссисипи. Отец Джона год за годом удерживал в жарких схватках звание чемпиона по гольфу среди игроков-любителей. Миссис Энгер славилась, по местному выражению, «от парников до турников» своими политическими речами, а юный Джон Т.Энгер, которому только что исполнилось шестнадцать, перетанцевал все последние нью-йоркские танцы еще до того, как сменил короткие штанишки на брюки. Теперь он покидал родной дом — и надолго. Преклонение перед образованием, которое будто бы можно получить только в Новой Англии, — бич всех провинциальных городков, лишаящий их самых многообещающих молодых людей, обуяло родителей Джона. Сын их должен был поступить в колледж св. Мидаса близ Бостона — ничто другое их не устраивало. Гадес не был достоин воспитывать их любимого высокоталантливого сына.

Надо сказать, что жителям Гадеса — и вам это известно, если вы там бывали, — названия самых модных приготовительных школ и колледжей говорят очень мало. Жители города так давно и далеко отстали от жизни большого света, что хоть и делают вид, будто следуют моде в одежде, манерах и литературных вкусах, по существу, питаются слухами; и, например, торжественный прием, который в Гадесе считается изысканным, какая-нибудь чикагская мясная принцесса наверняка сочтет «чутьочку безвкусным».

Джон Т.Энгер должен был вот-вот уехать. Миссис Энгер с материнской безудержной заботливостью набила его чемоданы полотняными костюмами и электрическими вентиляторами, а мистер Энгер вручил сыну асбестовый бумажник, туго набитый деньгами.

— Помни, тебя всегда здесь ждут, — сказал он. — Можешь быть уверен, мой мальчик, наш домашний очаг никогда не потухнет.

— Я знаю, — охрипшим голосом ответил Джон.

— Никогда не забывай, кто ты и откуда ты родом, — с горделивым видом продолжал отец, — и ты не совершишь ничего дурного. Ты Энгер... Из Гадеса.

И вот отец и сын пожали друг другу руки, и Джон покинул дом, обливаясь слезами. Через десять минут он перешагнул границу города и остановился, чтобы бросить назад прощальный взор. Старомодный викторианский девиз над воротами показался Джону удивительно милым. Отец его время от времени пытался способствовать тому, чтобы девиз этот сменили на что-нибудь более энергичное, более задорное, к примеру: «Гадес — твой шанс», или хотя бы на простое «Добро пожаловать» поверх сердечного рукопожатия из

¹ Гадес, или Аид, — в мифологии — подземное царство.

электрических лампочек. Старый девиз, по мнению мистера Энгера, производил несколько удручающее впечатление, но сейчас...

Итак, прежде чем решительно обратить лицо к цели, Джон оглянулся в последний раз, и в этот миг ему показалось, что огни Гадеса на фоне вечернего неба исполнены какой-то душевной притягательной красоты.

Колледж св. Мидаса расположен недалеко от Бостона, в получасе езды на «роллс-ройсе». Точного же расстояния никогда не узнают, ибо никто, кроме Джона Т.Энгера, не прибывал и, вероятно, не прибудет туда иначе как в «роллс-ройсе». Св. Мидас — самая дорогая и самая привилегированная на свете мужская приготовительная школа.

Первые два года прошли для Джона приятно. Отцы всех мальчиков были денежными тузами, и Джон проводил каждое лето у кого-нибудь в гостях на одном из модных курортов. Сами мальчики, которые его приглашали, ему вполне нравились, но их отцы... отцы были почему-то как две капли воды похожи друг на друга, и Джон на свой мальчишеский лад задумывался над этой поразительной схожестью. Если он упоминал о своем родном городе, они неизменно задавали вопрос: «Небось жарковато там?», и Джон выдавливал из себя подобие улыбки и ответ: «Да, действительно». Он отвечал бы куда искреннее, если бы эту шутку отпускал не каждый из них. Но они в лучшем случае чередовали ее с вопросом, не менее для него ненавистным: «Ну и как, вам жары хватает?»

В середине второго года в классе Джона появился спокойный красивый мальчик по имени Перси Вашингтон. Новичок очень приятно держал себя и был на редкость хорошо одет, на редкость даже для колледжа св. Мидаса. Однако по неизвестным причинам он сторонился остальных учеников. Единственный, с кем он подружился, был Джон Т.Энгер, но даже с ним он никогда не откровенничал и молчал обо всем, что касалось его дома и семьи. То, что он богат, разумелось само собой, но, помимо собственных заключений, Джон очень мало знал о своем товарище. Поэтому, когда Перси пригласил его провести лето «у нас на Западе», Джон, ожидая, что любопытство его будет щедро вознаграждено, принял предложение не раздумывая.

Только когда они очутились в поезде, Перси впервые сделался словоохотлив. В один прекрасный час, когда они сидели за ленчем в вагоне-ресторане и обсуждали недостатки своих соучеников, Перси вдруг резко переменял тему и сделал неожиданное замечание:

— Мой отец самый богатый человек в мире.

— Да? — вежливо отозвался Джон. Он не мог придумать никакого другого ответа на столь откровенное сообщение. Он хотел было сказать «Приятно слышать», но это прозвучало бы как-то фальшиво, чуть не сказал «Правда?», но вовремя удержался, так как это могло быть принято за недоверие. А такое поразительное утверждение вряд ли подлежало сомнению.

— Неизмеримо богаче всех, — повторил Перси.

— Я читал во «Всемирном альманахе», — начал Джон, — будто в Америке есть один человек с годовым доходом свыше пяти миллионов и четверо с доходом свыше трех, в еще...

— Подумаешь, — Перси презрительно скривил губы, — дешевые капиталисты, финансовая мелкая сошка, жалкие торговцы и ростовщики. Мой отец мог бы купить их всех с потрохами и не обеднеть ни на грош.

— Но как ему удается...

— Почему не зарегистрирован его подоходный налог? Да потому, что он его не платит. Во всяком случае, платит ничтожный, далеко не соответствующий его настоящему доходу.

— Значит, он очень богат, — сказал Джон просто. — Я рад этому. Мне нравятся очень богатые люди. Чем человек богаче, тем больше он мне нравится. — На его смуглом лице появилось выражение страстной искренности. — Прошлой пасхой я гостил у Шнлицер-Мэрфи. У Вивиан Шнлицер-Мэрфи есть рубины с куриное яйцо и сапфиры точно шары, светящиеся изнутри...

— Я люблю драгоценные камни, — горячо согласился Перси. — Мне бы, конечно, не хотелось, чтобы в школе про это узнали, но у меня у самого настоящая коллекция

драгоценных камней. Я их собирал вместо марок.

— И еще алмазы, — с жаром продолжал Джон. — У Шнлицер-Мэрфи я видел алмазы величиной с грецкий орех...

— Подумаешь. — Перси наклонился вперед и понизил голос. — Это пустяки. Вот у моего отца есть алмаз побольше отеля «Риц».

2

Заходящее солнце Монтаны лежало между двух гор, словно гигантский кровоподтек, от которого во все стороны по ядовитого цвета небу разбегались темные жилки. Далеко внизу, припав к земле, затаилась деревушка Фиш, маленькая, унылая, позабытая богом. Там, в этой деревушке Фиш, по слухам, жили двенадцать угрюмых загадочных душ и буквально доили голую скалу, на которой их произвела на свет некая таинственная населяющая сила. Они давно уже стали особой расой, эти двенадцать из деревушки Фиш, природа, создав их когда-то из прихоти, по зрелом размышлении отказалась от них и предоставила самим бороться и вымирать.

Из лилового кровоподтека на горизонте выползла длинная цепочка движущихся огней, нарушив пустынную, и тогда двенадцать из деревушки Фиш собрались, как привидения, у дощатой станции, чтобы поглазеть на семичасовой трансконтинентальный экспресс, идущий из Чикаго. Примерно шесть раз в году трансконтинентальный экспресс по чьему-то неведомому приказу останавливался у деревушки Фиш, и тогда из поезда высаживались один или двое, влезали в появлявшуюся из сумерек двуколку и отъезжали в сторону багрово-синего заката. Наблюдать это необъяснимое, ни с чем не сообразное явление стало своего рода ритуалом для жителей деревушки Фиш. Наблюдать — и только; у них ни на йоту не осталось животворящей мысли, которая бы побудила их дивиться или размышлять, иначе из этих посещений могла бы вырасти религия. Но жители деревушки Фиш были по ту сторону всякой религии, даже наиболее нагие и примитивные догматы христианства не могли пустить корни на этой голой скале; поэтому не было здесь ни алтаря, ни жреца, ни жертвы; лишь в семь часов — ежевечерняя немая сходка у дощатой хибарки, братство, возносящее к небу смутное вялое удивление.

В этот июньский вечер Великий Тормозной, которого жители деревушки, пожелай они обожествить хоть что-нибудь, вполне могли бы счесть своим божественным избранником, повелел так, чтобы семичасовой поезд оставил свой человеческий (или бесчеловечный) груз в деревушке Фиш. В две минуты восьмого Перси Вашингтон и Джон Т.Энгер высадились, быстро прошли под взглядом двенадцати замороженно глядевших, широко раскрытых испуганных пар глаз, влезли в двуколку, которая вынырнула явно ниоткуда, и укатили прочь.

Через полчаса, когда сумерки сгустились во мрак, молчаливый негр, который правил лошадьми, окликнул какой-то неподвижный темный предмет, маячивший впереди. В ответ на оклик этот предмет направил на них светящийся диск, который уставился на них из бездонной тьмы, словно злобное око. Двуколка продолжала двигаться дальше, и Джон скоро увидел, что это задний фонарь громадного автомобиля, который был больше и великолепнее всех виденных им автомобилей. Корпус его из блестящего металла был темнее никеля и светлее серебра, втулки колес усажены искрящимися желто-зелеными геометрическими фигурами. Джон не осмелился предположить — стекло это или драгоценные камни.

Подле автомобиля стояли навтыжку два негра в сверкающих ливреях, какие можно видеть на изображениях королевской процессии в Лондоне; они приветствовали юношей, когда те сошли с двуколки, на непонятном языке, в котором гость уловил что-то похожее на негритянский южный диалект.

— Входи, — сказал Перси своему товарищу, когда их чемоданы забросили на черный верх лимузина. — Прости, что пришлось взять тебя в двуколке, но, сам понимаешь, невозможно показывать наш автомобиль пассажирам поезда или этим несчастным деревенщинам.

— Вот это да! Какой автомобиль! — восклицание это вырвалось у Джона при виде внутренней отделки лимузина. Обивка представляла собой множество прелестных миниатюрных гобеленов, затканых шелком, шитых драгоценными камнями и положенных на фон из золотой парчи. Два кресла, в которые блаженно погрузились мальчики, были обиты материей, напоминавшей бархат, но сотканной как бы из несчетных разноцветных кончиков страусовых перьев.

— Какой автомобиль! — снова воскликнул потрясенный Джон.

— Этот? — рассмеялся Перси. — Да это же старая развалина, он у нас вместо фургона.

Они уже плавно катились во тьме к пролому между двумя горами.

— Мы будем на месте через полтора часа, — сказал Перси, поглядев на часы, висевшие на стенке лимузина. — Должен тебя предупредить, ничего подобного ты еще не видел.

Если автомобиль был залогом того, что предстояло увидеть Джону, то он заранее приготовился изумляться. Наивная набожность, свойственная гражданам Гадеса, предписывала прежде всего ревностно поклоняться богатству и безмерно его уважать. Испытывая Джон что-нибудь иное, кроме блаженного смирения перед богачами, родители сочли бы это ужасным кощунством.

Они уже достигли пролома между двумя горами, и как только автомобиль въехал туда, дорога стала менее ровной.

— Если бы сюда заглядывала луна, ты бы увидел, что мы сейчас в глубоком ущелье, — сказал Перси, пытаясь разглядеть что-либо за окном. Он сказал несколько слов в микрофон, и тотчас же ливрейный лакей включил прожектор, и громадный луч заскользил по склонам.

— Видишь, сплошные камни. Обыкновенный автомобиль разбился бы вдребезги через каких-нибудь полчаса. Собственно, если не знать дороги, тут в пору пройти только танку. Чувствуешь, мы поднимаемся.

Дорога действительно заметно пошла вверх, и через несколько минут с гребня мальчики увидели вдали только что появившуюся тусклую луну. Неожиданно автомобиль остановился, и из темноты возникло несколько фигур тоже негры. Снова юношей приветствовали на том же смутно знакомом диалекте. Затем негры захлопотали вокруг лимузина, и в одну минуту четыре огромных троса, свисавших откуда-то сверху, зацепили крюками втулки огромных колес, усаженных драгоценными камнями. Раздалось гулкое «Э-гей!», и Джон почувствовал, что автомобиль медленно отрывается от земли: выше, выше, вдоль самых высоких скал по обеим сторонам, еще, и, наконец, перед ним открылась залитая лунным светом извилистая долина, столь неожиданная после предшествующего нагромождения скал. Только с одной стороны у них еще оставалась скала, но вот пропала и она.

Было очевидно, что их перенесли через устремленный в небо гигантский каменный клинок, перекрывавший ущелье. Спустя мгновение они уже опускались вниз и вскоре с мягким стуком коснулись ровной земли.

— Худшее позади, — проговорил Перси, прижимаясь лицом к стеклу. Осталось всего пять миль, да и то по нашей собственной дороге — до самого конца двухрядный кирпич. Это уже наши владения. Здесь кончаются Соединенные Штаты, любит говорить отец.

— Мы в Канаде?

— Отнюдь. Мы в центре Скалистых гор. Но ты сейчас находишься на тех пяти квадратных милях Монтаны, где никогда не производилась топографическая съемка.

— Почему так? Забыли?

— Нет, — Перси улыбался. — Они трижды пытались это сделать. В первый раз дед подкупил целиком департамент штата, ведающий топографической съемкой; во второй — специально для него подделали официальные карты Соединенных Штатов, это дало пятнадцать лет отсрочки. Последний случай оказался труднее. Отец устроил так, что их компасы оказались в сильнейшем искусственно созданном магнитном поле. По его заказу был изготовлен комплект съемочных инструментов с неуловимым дефектом, благодаря которому нашей территории как бы вообще не существовало, а затем этими инструментами

подменили те, которыми должны были производить съемку. Кроме того, пришлось изменить течение реки и соорудить на ее берегах подобие города, так что его можно было принять за городок, расположенный в долине десятью милями дальше. Для нас страшно только одноединственное, что может нас обнаружить, — заключил Перси.

— Что же это такое?

Перси понизил голос.

— Аэропланы, — шепнул он. — У нас есть шесть зенитных пушек, и до сих пор мы справлялись с этой проблемой. Правда, бывали смертельные исходы и набралось порядочно пленных. Нас с отцом, сам понимаешь, это не волнует, но маме и девочкам неприятно. И потом всегда есть риск, что когда-нибудь нам не удастся справиться.

Лоскутья и обрывки нежных шиншилловых облаков скользили по зеленой луне, словно драгоценные восточные шелка, выставляемые напоказ перед татарским ханом. Джону почудилось, будто сейчас день и будто в небе над ним парят юноши и сыплют сверху религиозные брошюры и проспекты патентованных средств, что сулят надежду отчаявшимся, закованным в камень деревушкам. Ему чудилось, будто юноши выглядывают из-за облаков и всматриваются, всматриваются в то, что есть там, куда везут Джона. А что дальше? Вынудит ли их спуститься какое-нибудь хитроумное устройство и они останутся там, в заточении, вдали от патентованных средств и от брошюр, до самого судного дня? Или же, если они ускользнут из ловушки, внезапный клуб дыма и разорвавшийся снаряд повергнут их на землю и тем доставят «неприятность» матери и сестрам Перси? Джон тряхнул головой, и с полураскрытых губ его сорвалось беззвучное подобие смеха. Какое безрассудство там скрывалось? Какая благовидная уловка чудака-креза? Какая страшная золотая тайна?

Шиншилловые облака проплыли мимо, и горная ночь сделалась светла как день. Кирпичная дорога мягко льнула к толстым шинам; путешественники обогнули тихое озеро в лунном свете, на миг погрузились во мрак соснового бора, прохладный и остро пахнущий, и вдруг очутились в широкой аллее, которая переходила в большую лужайку, и возглас восторга, вырвавшийся у Джона, раздался одновременно с лаконичным «мы приехали», произнесенным Перси.

На берегу озера, выделяясь в ярком свете звезд, вздымался прекрасный замок; сияя мрамором, он достигал середины примыкающей горы и, полный изящества, совершенной симметрии и полупрозрачной женственной томности, как бы растворялся, сливаясь с густой чернотой соснового бора. Многочисленные башни, стройный рисунок наклонных парапетов, чудо высеченных в стене окон — овалов, семиугольников и треугольников золотого света, размытая мягкость перемежающихся плоскостей из звездного света и синих теней — все отдалось аккордом в душе Джона. На верхушке одной из башен, самой высокой, с самым массивным основанием, какое-то открытое устройство из ламп создавало впечатление плывущей волшебной страны; и в то время как околдованный Джон восторженно смотрел вверх, оттуда доносились тихие флежолеты скрипок — музыка такая вычурная и старомодная, какой он никогда не слышал. Еще миг — и автомобиль остановился перед высокой мраморной лестницей, вокруг которой в ночном воздухе реял аромат мириад цветов. На верхней площадке бесшумно распахнулись большие двери, в темноту выплеснулся янтарный свет, очертив изящный женский силуэт, и женщина с высокой прической протянула к ним руки.

— Мама, — сказал Перси, — это мой друг, Джон Энгер из Гадеса.

У Джона осталось от того первого вечера ошеломляющее впечатление множества красок, мимолетных физических ощущений, нежной, как любовный шепот, музыки, красоты предметов, огней и теней, движений и лиц. Там был мужчина, который стоя пил переливающийся всеми цветами радуги напиток из хрустального наперстка на золотом стебле. Там была девочка с лицом, похожим на цветок, одетая как Титания, с сапфирами в волосах. Там была комната, где стены из сплошного неяркого золота подались под его рукой, и была комната, как бы воплотившая представление Платона о последней темнице: потолок,

пол, стены — все были сплошь выложено алмазами, алмазами всевозможных размеров и форм, так что, освещенная высокими фиолетовыми лампами, стоящими по углам, комната слепила глаза белым блеском, ни с чем не сравнимым, существующим за пределами человеческого желания или мечты. Мальчики бродили по лабиринту этих комнат. Иногда пол у них под ногами вспыхивал сверкающими узорами, подсвеченными снизу, варварски дисгармоничными по краскам, и узорами пастельно-нежными, и узорами чистейшей белизны, и узорами, представлявшими собой сложнейшую, искусной работы, мозаику, которую вывезли из какой-нибудь мечети на Адриатическом море. Иногда под толстым слоем хрусталя просвечивала вихрящаяся синяя или зеленоватая вода, населенная быстро мелькающими рыбами и радужными водорослями. Мальчики ступали по меху самых разнообразных животных и по бледной слоновой кости, без всяких стыков, будто пол был вырезан целиком из одного гигантского бивня мастодонта.

Затем смутно запомнившийся переход — и они очутились за обеденным столом, где каждая тарелка состояла из двух едва различимых алмазных пластин, между которыми необъяснимым образом был вделан изумруд — ломтик зеленого воздуха. Музыка, протяжная и всепроникающая, струилась издали по коридорам, стул, на котором сидел Джон, был воздушно мягок, предательски облегал спину и, казалось, поглотил Джона, одолел, как только тот выпил рюмку портвейна. Джон сонно попытался ответить на чей-то вопрос, но сладчайшая роскошь, сжимавшая тисками его тело, еще усиливала ощущение сна; драгоценные камни, ткани, вина, металлы — все плыло перед его глазами в сладостном тумане...

— Да, — вежливо ответил он, наконец, сделав над собой усилие, — жары там хватает.

Он даже умудрился слабо засмеяться, но вдруг без единого движения, без сопротивления словно уплыл куда-то, оставив нетронутым замороженный десерт, розовый как греза...

Когда он проснулся, то понял, что проспал несколько часов. Он находился в просторной спокойной комнате со стенами из черного дерева и тусклым освещением, слишком притушенным, слишком неуловимым, чтобы называться светом. Молодой хозяин стоял около него.

— Ты заснул прямо за столом, — сказал Перси. — Я и сам чуть не уснул: такое наслаждение — домашний комфорт после целого года в школе. Слуги тебя раздели и вымыли в ванне, а ты так и не проснулся.

— Это постель или облако? — вздохнул Джон. — Перси, Перси... Я хочу попросить у тебя прощения, пока ты не ушел.

— За что?

— За то, что не поверил тебе, когда ты сказал про алмаз величиной с отель «Риц».

Перси улыбнулся.

— Я так и думал, что ты не поверил. Алмаз — это гора под нами, понимаешь?

— Как — гора?

— Гора, на которой стоит замок. Для горы она не очень велика, но зато, если не считать примерно пятнадцати метров дерна и гравия, ниже — сплошной алмаз. Один цельный алмаз объемом с кубическую милю, без единой трещинки. Да ты слышишь? Знаешь...

Но Джон Т.Энгер снова спал.

3

Утро. Приоткрыв глаза, он сквозь дрему заметил, что комнату залило солнце: эбеновая панель в одной из стен отъехала на роликах вбок, впуская в комнату день. Возле постели стоял рослый негр в белой униформе.

— Добрый вечер, — пробормотал Джон, пытаясь привести в порядок сонные мысли.

— Доброе утро, сэр. Вы готовы принять ванну, сэр? Нет, не вставайте, я вас сам положу, если вы сообразоволяете расстегнуть пижаму. Вот и все. Благодарю вас, сэр.

Джон лежал не двигаясь, пока с него стаскивали пижаму, его это забавляло и восхищало. Он ожидал, что этот заботливый черный Гаргантюа понесет его на руках, как ребенка, но ничего подобного не случилось; он вдруг почувствовал, что кровать слегка наклонилась и он покатился к стене, немного испуганный неожиданностью; но когда он толкнулся в стену, драпировка расступилась, он проехался еще около двух метров по ворсистому скату и мягко шлепнулся в воду, температура которой соответствовала температуре тела.

Он огляделся. Дорожка, по которой он спустился, вернее скатился, бесшумно убралась. Его выдвинули в другую комнату, и теперь он сидел в ванне, утопленной в полу, так что лицо его оказалось на уровне пола. Со всех сторон, образуя стены комнаты, борта и дно самой ванны, его окружал голубой аквариум. Сквозь хрустальную поверхность Джон видел под собой рыб, которые мелькали между янтарных ламп и даже равнодушно шныряли мимо его вытянутых ног, отделенные от них лишь толщиной хрусталя. Над головой сквозь стекло цвета морской воды проходил солнечный свет.

— Я думаю, сэр, сегодня утром вам подошла бы горячая розовая вода с мыльной пеной, сэр, а под конец, пожалуй, холодная морская вода.

Негр стоял тут же, рядом.

— Хорошо, — согласился Джон, бессмысленно улыбаясь, — как вам угодно. Ему казалось самонадеянным и даже немного безнравственным заказывать ванну соответственно своим убогим мерилам.

Негр нажал кнопку, и теплый дождь обрушился как бы с неба, а на самом деле, как тут же обнаружил Джон, из фонтанчика неподалеку. Вода сделалась бледно-розовой, и одновременно струи жидкого мыла забили вдруг из четырех миниатюрных моржовых голов в углах ванны. В один миг десяток гребных колесиков, укрепленных по бокам ванны, взбили смесь, и переливающаяся всеми цветами радуги восхитительно легкая пена нежно обволокла Джона, покрыв его тело сверкающими розовыми пузырьками.

— Включить проекционный аппарат, сэр? — почтительно предложил негр. Сегодня запрошена недурная одночастная комедия, а если желаете, могу быстро заменить ее серьезной фильмой.

— Нет, спасибо, — вежливо, но твердо ответил Джон. Наслаждение его было таким полным, что он не хотел больше никаких развлечений. Однако развлечение все-таки последовало: через минуту он уже увлеченно прислушивался к звукам флейт, доносившимся ниоткуда. Флейты словно роняли капли, и мелодия рождала образ падающей воды, прохладной и зеленой, как сама комната, а на этом фоне звучало кружевное соло пикколо, более зыбкое, чем прикрывавшая и ласкавшая Джона пена.

После бодрящей морской воды и холодного освежающего душа Джон был принят в мохнатый халат и на кушетке, крытой такой же мохнатой тканью, растерт маслом со спиртом и пряностями. Потом его усадили в разнеживающее кресло, побрили и причесали.

— Мистер Перси ждет в вашей гостиной, — сказал негр, когда все операции были закончены. — Меня зовут Гигсум, сэр. Моя обязанность заботиться о мистере Энгере по утрам.

Джон вышел в оживленную солнечную гостиную, где его ждали завтрак и Перси, великолепный в белых лайковых бриджах; он курил, сидя в кресле.

4

Вот краткая история семьи Вашингтонов, которую Перси изложил Джону за завтраком.

Отец нынешнего мистера Вашингтона был виргинцем, прямым потомком Джорджа Вашингтона и лордом Балтимор. Гражданскую войну он закончил двадцатипятилетним полковником, имеющим никуда не годную плантацию и тысячу долларов золотом.

Фиц-Норман Колпелер Вашингтон (таково было имя молодого полковника) решил передать поместье в Виргинии младшему брату, а сам податься на Запад. Он отобрал

двадцать пять наиболее преданных негров, которые, как водится, его обожали, и купил двадцать шесть билетов на поезд, собираясь приобрести на Западе на имя негров землю и завести ранчо с овцами и рогатым скотом.

Он пробыл в Монтане почти месяц, но дела его нисколько не сдвинулись с места. Тут-то и свершилось его Великое Открытие. Однажды он поехал верхом в горы, заблудился, проплутал целый день и сильно проголодался. Ружья он с собой не захватил и поэтому, увидев белку, пустился за ней бегом, пытаясь поймать ее голыми руками. Преследуя белку, он заметил, что во рту она несет что-то блестящее. Перед тем как скрыться в дупле (ибо провидению не было угодно, чтобы эта белка утолила голод Фиц-Нормана), она выронила свою ношу. Фиц-Норман присел на землю, чтобы обдумать свое положение, и краем глаза уловил какой-то блеск рядом в траве. В последующие десять секунд он начисто утратил аппетит, но зато приобрел сто тысяч долларов. Белка, которая с несносным упорством отказывалась стать его пищей, подарила ему крупный безупречный алмаз.

К ночи он добрался до лагеря, а двенадцать часов спустя все его негры уже остервенело копали склон в окрестностях беличьего жилища. Фиц-Норман сказал им, что напал на жилу стразов-фальшивых бриллиантов; и так как за малым исключением никто из них в глаза не видел даже плохоньких алмазов, ему поверили безоговорочно. Когда он осознал все значение своего открытия, он пришел в замешательство. Гора была не что иное, как сплошной, цельный алмаз. Он набил четыре седельных мешка сверкающими образцами и пустился верхом в Сент-Пол. Там ему удалось сбыть полдюжины мелких алмазов, но, когда он предъявил лавочнику более крупный камешек, тот упал в обморок, а Фиц-Нормана арестовали как нарушителя спокойствия. Из тюрьмы он удрал и сел в поезд, шедший в Нью-Йорк, там продал несколько средних алмазов и выручил за них около двухсот тысяч долларов золотом. Но самые выдающиеся камни он показать не решился и, по правде говоря, покинул Нью-Йорк как раз вовремя. В ювелирных кругах началось невероятное волнение, вызванное не столько величиной алмазов, сколько загадкой их появления в городе. Распространились слухи, будто бы обнаружена алмазная жила в горах Кэтскил, на побережье Джерси, на Лонг-Айленде, под Вашингтон-сквер. От Нью-Йорка в эти пригородные Эльдorado начали ежедневно отходить поезда, битком набитые мужчинами с кирками и лопатами. Тем временем молодой Фиц-Норман держал путь обратно в Монтану.

К концу второй недели он уже определил, что алмаз в его горе приблизительно равен всем имеющимся в мире алмазам, вместе взятым. Однако оценить его путем обычных расчетов было невозможно — алмаз был цельный. А если бы предложить его на продажу, то это не только вызвало бы кризис на мировом рынке, но и — при условии, что цена росла бы как обычно, в зависимости от величины камня, в арифметической прогрессии, — в мире не хватило бы золота, чтобы купить и десятую часть алмаза-горы. Да и что делать с алмазом такой величины?

Положение создалось нелепейшее. Он был, можно сказать, богатейшим человеком из всех, когда-либо живших на земле, — и вместе с тем чего он, в сущности, стоил? Выплыви его тайна наружу — неизвестно, к каким бы мерам прибегло правительство, чтобы предотвратить панику на золотом да и на алмазном рынке. Оно могло немедленно отнять заявку и установить свою монополию.

Выбора не было — гору следовало распродавать тайно. Он послал на Юг за младшим братом и поставил его присматривать за черными рабами, которые даже не подозревали, что рабство отменено. Чтобы закрепить их неведение, он огласил составленную им самим прокламацию, в которой говорилось, что генерал Форрест реорганизовал рассеянные армии южан и разбил наголову северян в одном тщательно подготовленном сражении. Негры поверили безоговорочно. Они сочли это известие добрым и совершили по его поводу свои примитивные обряды.

Сам же Фиц-Норман отправился в чужеземные страны, имея при себе сто тысяч долларов и два сундука, полные неотшлифованных алмазов всевозможных размеров. Он отплыл в Россию на китайской джонке и шесть месяцев спустя после отъезда из Монтаны

очутился в Санкт-Петербурге. Он снял укромную квартиру, не теряя времени наведаясь к придворному ювелиру и объявил, что у него есть для царя алмаз. Он прожил в Санкт-Петербурге две недели, непрерывно подвергаясь опасности быть убитым, перебираясь с квартиры на квартиру, и за все пребывание в русской столице навестил свои сундуки всего три-четыре раза.

Его с трудом отпустили в Индию, взяв обещание вернуться через год с еще более крупными и красивыми алмазами. Но прежде чем он уехал, придворный казначей положил для него в американские банки пятнадцать миллионов долларов — на четыре вымышленных имени.

Фиц-Норман вернулся в Америку в 1868 году, пропутешествовав более двух лет. Он посетил столицы двадцати двух государств и беседовал с пятью императорами, одиннадцатью королями, тремя принцами, с шахом, ханом и султаном. К этому времени Фиц-Норман оценивал свое состояние в миллиард долларов. Одно обстоятельство неизменно способствовало сохранению его тайны. Стоило любому из его крупных алмазов всплыть на поверхность на неделю — и алмаз оказывался в гуще такого обилия роковых стечений, интриг, переворотов и войн, что их хватило бы на всю историю человечества от основания Вавилонского царства.

С 1870 года до его смерти, последовавшей в 1900 году, жизнь Фиц-Нормана Вашингтона была одной сплошной поэмой, написанной золотыми буквами. Разумеется, имели место и второстепенные события: он старался избегать топографических съемок; он женился на одной виргинской леди, от которой у него родился единственный сын; в результате ряда досадных осложнений был вынужден убить своего брата, чья не менее досадная привычка напиваться до потери всякого благоразумия неоднократно подвергала опасности их жизнь. Но в целом очень мало убийств омрачало эти безоблачные годы успеха и дальнейшего обогащения.

Незадолго до смерти он переменял свою политику, и все свое непомерное состояние, за исключением нескольких миллионов долларов, употребил на покупку оптом редких металлов, которые и поместил в большие сейфы банков по всему миру, зарегистрировав их как безделушки. Его сын, Брэдок Тарлтон Вашингтон, придавал этой политике еще большую напряженность и размах. Металлы были обращены в редчайший из химических элементов — радий, так что эквивалент миллиарда долларов золотом уместился в хранилище размером не больше коробки из-под сигар.

Когда со смерти Фиц-Нормана прошло три года, его сын Брэдок решил, что дело пора сворачивать. Богатство, которое они с отцом извлекли из горы, не поддавалось точному исчислению. Брэдок вел записную книжку, где шифром обозначал приблизительное количество радия в каждом из тысячи банков, постоянным клиентом которых он был, а также записывал псевдонимы, под которыми помещал радий. Затем он сделал очень простую вещь: он закрыл жилу.

Он закрыл жилу. То, что было получено от горы, должно было обеспечить всем будущим поколениям Вашингтонов беспримерную роскошь. Отныне единственной его заботой было оберегать тайну, дабы в той панике, которая могла сопутствовать ее раскрытию, он, заодно со всеми акционерами мира, не превратился бы в нищего.

Такова была семья, куда приехал в гости Джон Т.Энгер. Такова была история, которую он услышал в своей гостиной с серебряными стенами на следующее утро после приезда.

5

После завтрака Джон вышел через высокий мраморный портал на площадку наружной лестницы и с любопытством стал осматривать открывшийся вид. Вся долина — от алмазной горы до высокого гранитного утеса в пяти милях от замка — была, словно собственным дыханием, окутана золотистой дымкой, которая лениво висела над прекрасными просторными лугами, озерами и парком. Там и сям вязы группировались в изящные

тенистые рощицы, представляя удивительный контраст с плотной массой соснового леса, сжимавшей горы в тисках темно-синей зелени. Глядя на все это, Джон заметил в полумиле от замка трех молодых оленей, которые гуськом вышли из одной рощицы и неуклюжей веселой рысцой направились в полосатый полумрак другой. Джон не удивился бы, если бы увидел фавна, мелькающего с флейтой среди деревьев, или розовокожую нимфу и ее разлетающиеся желтые волосы меж ярко-зеленой листвы. Он даже надеялся на это.

И с такой дерзкой надеждой в душе он спустился по мраморным ступеням, потревожив сон двух дремавших внизу овчарок, и направил свои шаги по дорожке, выложенной белыми и синими кирпичиками, которая вела непонятно куда.

Он наслаждался окружающим, насколько был способен. В том и счастье и неполноценность молодости, что она не умеет жить настоящим, она всегда меряет его по тому лучезарному будущему, которое существует в ее воображении: цветы и золото, женщины и звезды — всего лишь прообразы и пророчества этой несравненной и недостижимой юношеской мечты.

Дорожка сделала плавный поворот, и Джон, обойдя густые кусты роз, что наполняли воздух тяжелым ароматом, зашагал через парк в ту сторону, где виднелся под деревьями мох. Джон никогда не лежал на мху и теперь хотел проверить, справедливо ли употребляют сравнение со мхом, когда говорят о мягкости. И тут он вдруг увидел девочку, шедшую по траве ему навстречу. Красивее он никогда никого не встречал.

На ней было короткое белое платьице, едва закрывавшее колени, на голове — венок из резеды, перехваченный в нескольких местах синими полосками сапфира. Ее босые розовые ноги разбрызгивали росу. Она была немножко моложе Джона — не старше шестнадцати.

— Здравствуй, — тихонько окликнула она его, — я Кисмин.

Но для Джона она была уже куда больше, чем просто Кисмин. Он подошел к ней осторожно, едва переставляя ноги, боясь отдавить ей пальцы.

— Ты меня еще не видел, — сказал ее нежный голос. А синие глаза добавили: «И много потерял!» — Вчера вечером ты видел мою сестру Жасмин, а я вчера отравилась латуком, — продолжал ее голос, а глаза добавили: «А когда я больна, я очень мила, и когда здорова — тоже».

«Ты произвела на меня потрясающее впечатление, — ответили глаза Джона, — я и сам все вижу, не такой уж я тупица».

— Здравствуй, — ответил он. — Надеюсь, ты уже здорова? — «Душенька», трепетно добавили его глаза.

Джон заметил, что они идут по тропинке. По ее предложению они уселись на мох, и Джон даже не вспомнил, что хотел определить его мягкость.

Он придиричиво судил женщин. Любой недостаток — толстая щиколотка, хрипловатый голос, неподвижный взгляд — совершенно его отвращали. А тут впервые он сидел рядом с девушкой, которая казалась ему воплощением физического совершенства.

— Ты с востока? — спросила Кисмин, проявляя очаровательный интерес к нему.

— Нет, — ответил Джон просто, — я из Гадеса.

То ли она никогда не слыхала о таком месте, то ли не нашлась что сказать, но только она оставила эту тему.

— Я поеду этой осенью на восток, в школу, — сказала она. — Как ты думаешь, понравится мне там? Я поступлю в Нью-Йорке к мисс Балдж. Там очень строгие правила, но субботы и воскресенья я все-таки буду отдыхать в нашем нью-йоркском доме, со своими. А то отец слыхал, будто там девочки обязаны всегда ходить попарно.

— Твой отец хочет, чтобы вы были гордыми, — заметил Джон.

— Мы и так гордые, — ответила она с достоинством, сверкнув глазами. Никого из нас в детстве ни разу не наказывали. Отец так велел. Однажды, когда Жасмин была маленькой, она столкнула отца с лестницы, так и то он просто встал и, хромая, ушел.

Мама была... э... удивлена, — продолжала Кисмин, — когда узнала, что ты из... ну, оттуда, откуда ты, понимаешь. Она сказала, что во времена ее молодости... Но видишь ли,

она испанка и у нее старомодные взгляды.

— Вы тут подолгу живете? — спросил Джон, желая скрыть, что его задела последняя фраза. Намек на его провинциальность показался ему обидным.

— Перси, Жасмин и я проводим здесь каждое лето, но на следующий год Жасмин едет в Ньюпорт. А потом осенью дебютирует в Лондоне. Она будет представлена при дворе.

— А знаешь, — нерешительно начал Джон, — ты гораздо современнее, чем кажешься на первый взгляд.

— Нет, нет, неправда, — торопливо воскликнула она, — я ни за что не хочу быть современной! Я считаю, что современные молодые девушки ужасно вульгарны, а ты? Нет, нисколько я не современная. Если ты скажешь еще раз, будто я современная, я заплачу.

Она была так огорчена, что губы у нее дрожали. Джон поспешил разуверить ее.

— Я сказал это нарочно, просто подразнить тебя.

— Я бы не протестовала, если бы это была правда, — продолжала она настаивать, — но это не так. Я очень наивна и совсем еще девочка. Я не курю, не пью, ничего не читаю, кроме поэзии. Я почти не знаю математики или химии. И одеваюсь я очень просто: в сущности, я никак не одеваюсь. По-моему, «современная» ко мне меньше всего подходит. Я считаю, что девушки должны в юности вести здоровый образ жизни.

— Я тоже так считаю, — горячо поддержал ее Джон.

Кисмин опять повеселела. Она улыбнулась ему, и из уголка одного ее синего глаза выкатилась запоздалая слезинка.

— Ты мне нравишься, — шепнула она доверчиво. — Ты собираешься проводить все время с Перси, пока ты здесь, или мне ты тоже будешь уделять немножко внимания? Только подумай — ведь я абсолютно нетронутая почва. В меня еще ни один мальчик не влюблялся. Мне даже никогда и не разрешали видиться с мальчиками наедине — только при Перси. Я нарочно забралась сюда так далеко, чтобы нечаянно встретить тебя одного, без старших.

Глубоко польщенный, Джон встал и поклонился, низко, от пояса, как его учили на уроках танцев в Гадесе.

— А теперь пойдем, — ласково сказала Кисмин. — Мне надо в одиннадцать быть у мамы. Ты даже не попросил разрешения меня поцеловать. Я думала, теперь мальчики всегда целуют девочек.

Джон горделиво выпрямился.

— Может быть, некоторые так и поступают, но только не я. Девочки так себя не ведут — у нас в Гадесе.

И они пошли рядышком к дому.

6

Джон стоял напротив мистера Брэддока Вашингтона и разглядывал его при ярком солнечном свете. Это был сорокалетний мужчина с надменным неподвижным лицом, умными глазами и крепкой фигурой. По утрам от него пахло лошадьми — отличными лошадьми. В руке он держал простую березовую трость с рукоятью из одного крупного опала. Они с Перси показывали Джону поместье.

— Вот здесь живут рабы. — Мистер Брэддок указал тростью на мраморную крытую аркаду в изящном готическом стиле, которая тянулась слева от них вдоль склона. — В молодости я пережил период нелепого идеализма, который отвлек меня на время от деловой стороны жизни. В тот период они жили в роскоши. Я, например, снабдил каждую семью кафельной ванной.

— Вероятно, они держали в ваннах уголь? — отважился вставить Джон, заискивающе засмеявшись. — Мистер Шнлицер-Мэрфи рассказывал мне, что однажды он...

— Полагаю, что мнения мистера Шнлицера-Мэрфи не представляют большого интереса, — прервал его Брэддок Вашингтон ледяным тоном. — Мои рабы не держали там уголь. Им было приказано принимать ванну каждый день, и они повиновались. Если бы они

этого не делали, я мог бы назначить шампунь из серной кислоты. Я отменил ванны по совсем иной причине. Несколько негров простудились и умерли. Для некоторых рас вода вредна — она годится для них только как напиток.

Джон засмеялся, а потом решил рассудительно кивнуть в знак согласия. В присутствии Брэддока Вашингтона ему становилось не по себе.

— Все эти негры — потомки тех, кого мой отец привез с собой на Север. Теперь их около двухсот пятидесяти. Вы замечаете, они так долго жили вдали от мира, что их первоначальный диалект превратился в почти неразборчивый особый язык. Нескольких из них мы с детства обучали английскому — моего секретаря и еще кое-кого из домашних слуг. А это площадка для гольфа, продолжал он, когда они ступили на бархатистую траву. — Как видите, идеальный луг — никаких неровностей, выбоин, помех.

Он любезно улыбнулся Джону.

— Много народу в клетке, отец? — спросил вдруг Перси.

Брэддок Вашингтон споткнулся и непроизвольно выбранился.

— На одного меньше, чем нужно, — хмуро сказал он и потом добавил: — У нас были кое-какие неприятности.

— Мама мне говорила, — подхватил Перси, — что итальянский учитель...

— Роковая ошибка, — недовольно отозвался Брэддок Вашингтон. — Конечно, вполне вероятно, что нам удастся схватить его. Возможно, он погиб в лесу или свалился с утеса. И потом всегда есть шанс, что если он и выбрался, то рассказам никто не поверит. Как бы то ни было, мною наняты двадцать пять человек, которые ищут его в ближайших городах.

— И безуспешно?

— Нет, не совсем. Четырнадцать из них доложили моему агенту, что каждый убил по человеку с соответствующими приметам, но, может быть, они просто погнались за наградой...

Он замолчал. Они дошли до большой, размером с карусель, впадины в земле, покрытой крепкой железной решеткой. Брэддок Вашингтон поманил Джона и показал тростью на решетку. Джон шагнул к краю и глянул вниз. Тотчас же его оглушили раздавшиеся снизу крики:

— Милости просим в ад!

— Привет, паренек, как там у вас дышится?

— Эй! Киньте сюда веревку!

— Нет ли у тебя завалящего пончика, приятель, или парочки подержанных сэндвичей?

— Слушай, братец, столкни-ка сюда того парня рядом с тобой, увидишь фокус: был — и нет!

— Набей ему за меня морду, ладно?

В яме было темно, и Джон не мог ничего разглядеть, но, судя по вульгарному оптимизму и грубой энергичности голосов и высказываний, там находились типичные темпераментные американцы. Мистер Вашингтон протянул трость, дотронулся до кнопки в траве, и сцена внизу озарилась светом.

— Это все предприимчивые конкистадоры, имевшие несчастье обнаружить наше Эльдorado, — заметил он.

Под ногами у них разверзлась громадная яма, имевшая форму чаши с крутыми стенками, видимо, из полированного стекла; на слегка вогнутом дне стояли человек двадцать пять в полугражданском, полувоенном — авиаторы. Их лица, обращенные вверх с выражением гнева, злобы, отчаяния, циничной насмешки, обросли длинной щетиной.

За исключением нескольких человек, которые явно осунулись, все они выглядели сытыми и здоровыми.

Брэддок Вашингтон придвинул к краю ямы садовый стул и сел.

— Как поживаете, ребята? — спросил он добродушно.

В воздухе повис хор проклятий, к нему присоединились все, кроме тех немногих, которые были слишком удручены. Брэддок Вашингтон слушал с совершенно невозмутимым

видом. Когда затихли последние крики, он снова заговорил:

— Придумали вы для себя выход из создавшегося положения?

Раздались возгласы:

— Мы остаемся тут навсегда, нам тут понравилось!

— Подымайте нас наверх, мы уж найдем выход!

Брэддок Вашингтон дождался, когда в яме опять утомонились, и тогда продолжал:

— Я уже объяснял вам. Мне вы здесь не нужны. Я бы предпочел никогда с вами не встречаться. Вы попались исключительно из-за собственного любопытства, и как только вы предложите выход, который не повредит мне и моим интересам, я с удовольствием его рассмотрю. Но если вы будете заниматься только подкопами — да, да, мне известно, что вы принялись за новый, — вы далеко не уйдете. Вам не так уж тяжело приходится, как вы изображаете, и все ваши вопли о близких, оставленных дома, ничего не стоят. Если бы вы были из тех, кто тоскует о близких, то вы бы не стали авиаторами.

Высокий человек отделился от остальных и поднял руку, требуя внимания от властителя.

— Разрешите задать вам несколько вопросов! — крикнул он. — Вы делаете вид, что вы человек справедливый.

— Какой абсурд! Как может человек в моем положении быть справедливым по отношению к вам? С таким же успехом можно требовать справедливости от голодного по отношению к бифштексу.

При этом циничном ответе лица у двадцати пяти бифштексов вытянулись, однако высокий продолжал:

— Пусть так! Мы уже спорили на эту тему. Вы не филантроп, и вы несправедливы, но в конце концов вы человек, по крайней мере считаете себя человеком, неужели вы не способны представить себя на нашем месте и понять, как... как...

— Что именно? — холодно спросил Вашингтон.

— ...как бесполезно...

— Только не с моей точки зрения.

— Ну... как жестоко...

— Это уже обсуждалось. Жестокость не в счет, когда речь идет о самосохранении. Вы люди военные, вам это известно. Придумайте что-нибудь еще.

— Ну... как бессмысленно.

— Допускаю. Но у меня нет выбора. Я предлагал любого из вас или всех дело ваше — безболезненно лишить жизни. Я предлагал похитить ваших жен, возлюбленных, детей и матерей и доставить сюда. Я расширю вам помещение, буду кормить и одевать вас до конца жизни. Если бы существовал способ вызвать непроходящую амнезию, я приказал бы вас всех прооперировать и немедленно выпустил бы за пределы моих владений. Но больше мне ничего не приходит на ум.

— А если поверить нам, что мы на вас не донесем? — раздался чей-то голос.

— За кого вы меня принимаете? — с презрением отозвался Вашингтон. Одного из вас я выпустил, чтобы он учил мою дочь итальянскому языку. На прошлой неделе он сбежал.

Из двадцати пяти глоток вырвался дикий вопль восторга, и началось адское ликование. Пленники плясали, стучали каблуками, кричали «ура», пели на тирольский манер, боролись друг с другом, как исступленные. Они даже взбегали вверх по стеклянным стенкам, насколько могли, и съезжали вниз на своих природных подушках. Высокий человек затаил песню, все подхватили ее:

Мы кайзера повесим
На яблоне гнилой...

Брэддок Вашингтон ждал в загадочном молчании, когда они кончат.

— Вот видите, — заметил он, как только смог опять завладеть их вниманием, — я не

желаю вам зла. Мне приятно смотреть, как вы веселитесь. Поэтому я и не рассказывал вам всего до конца. Беглец... как там его звали? Кричкелло убит — мои агенты стреляли в него четырнадцать раз.

Не догадываясь, что агенты стреляли в четырнадцать разных людей, пленники сразу приуныли, буйная радость прекратилась.

— Но все-таки он пытался убежать! — с некоторым гневом воскликнул Вашингтон. — Неужели после этого я, по-вашему, рискну еще кого-нибудь выпустить?

Снова слышались возгласы:

— Давайте, рискните!

— А ваша дочка не хочет выучить китайский?

— Эй, я тоже говорю по-итальянски! Моя мать эмигрировала из Италии.

— А нью-йоркский ей не подходит?

— Если она та куколка с синими глазами, я берусь научить ее кое-чему поинтереснее итальянского!

— А я знаю ирландские песни!

Мистер Вашингтон неожиданно протянул трость и нажал кнопку, сцена внизу померкла, и осталась только огромная пасть с черными зубьями решетки.

— Эй! — слышался снизу одинокий голос. — Что же вы, благословите на прощанье!

Но мистер Вашингтон, а за ним мальчики уже шагали к девятой лунке поля, как будто оставшаяся позади яма с ее содержимым была всего лишь помехой на поле, которую они с легкостью и победоносно преодолели.

7

Июль под сенью алмазной горы был месяцем прохладных ночей и сияющих дней. Джон и Кисмин были влюблены. Он не подозревал, что крошечный золоченый футбольный мяч с надписью: «За бога, за родину и за св. Мидаса», который он ей подарил, на, платиновой цепочке покоится у нее на груди. Но именно так оно и было. А она, в свой черед, не знала, что большой сапфир, выскользнувший из ее волос, Джон бережно спрятал в коробочку с другими сокровищами.

Как-то к вечеру, когда в музыкальной комнате, обитой горностаевыми шкурками в рубинах, стояла тишина, они провели там целый час. Он взял ее за руку, а она взглянула на него так, что он прошептал:

— Кисмин...

Она потянулась к нему, но остановилась.

— Что? — спросила она тихонько. Ей хотелось удостовериться, правильно ли она его поняла.

Оба никогда еще не целовались, но через час это уже ни имело значения.

День кончился. А ночью, когда с высокой башни слетали последние звуки музыки, оба лежали без сна, чувствуя себя счастливыми и вспоминая каждую минуту этого дня. Они решили как можно скорее пожениться.

8

Ежедневно мистер Вашингтон и оба юноши ловили рыбу, или охотились в гуще лесов, либо играли в гольф на сонной площадке, и Джон дипломатично позволял хозяину выигрывать, либо плавали в прохладе горного озера. Джон находил, что мистер Вашингтон — личность весьма деспотичная и его начисто не интересуют ничьи мнения и мысли, кроме собственных. Миссис Вашингтон держалась неизменно отчужденно и замкнуто. Она была откровенно равнодушна к своим дочерям и целиком поглощена сыном Перси, с которым вела за обедом нескончаемые беседы на быстром испанском языке.

Старшая дочь, Жасмин, внешне очень напоминала Кисмин, с той разницей, что у нее

были большие руки и большие, чуть-чуть кривоватые ноги. Но характером она была совсем иной, больше всего любила книги, где речь шла о бедных девочках, которые вели хозяйство и заботились о своих вдовых отцах. Джон узнал от Кисмин, что Жасмин никак не могла оправиться от потрясения и разочарования, испытанных при вести об окончании мировой войны: как раз в это время она собралась ехать в Европу в качестве эксперта по войсковым лавкам. Она даже совсем было зачала, так что ее отец предпринял шаги для того, чтобы спровоцировать какую-то новую войну; однако Жасмин потом увидела фотографии раненых, и это отбило у нее всякий интерес к войне. Но Перси и Кисмин унаследовали от отца высокомерие во всем его жестоком великолепии. Каждую их мысль пронизывал здоровый и последовательный эгоизм.

Джон был очарован волшебством замка и долины. Брэдок Вашингтон, как рассказал Перси, приказал похитить садовника, архитектора, художника-декоратора и французского поэта-декадента, оставшегося в наследство от прошлого века. В их распоряжение Брэдок предоставил всех своих негров, пообещал обеспечить любыми материалами, существующими на земле, и приказал разрабатывать все идеи, какие придут в голову. Но один за другим они обнаружили свою несостоятельность. Поэт-декадент тотчас принялся оплакивать разлуку с весенними бульварами, произносил туманные фразы насчет прятностей, обезьян и слоновой кости, но никакой практической пользы извлечь из этого было нельзя. Художник-декоратор желал создать из долины серию трюков и сенсационных эффектов, что Вашингтонам, несомненно, очень скоро бы наскучило. Что же касается архитектора и садовника, то они мыслили одними шаблонами: это они сделают похожим на это, а то — похожим на то.

Но они по крайней мере сами разрешили проблему, как с ними поступить: как-то утром они все сошли с ума после того, как проспорили ночь напролет о том, где разместить фонтан. И теперь благополучно пребывали в лечебнице для умалишенных в Уэстпорте, штат Коннектикут.

— Но кто же тогда проектировал, — с любопытством спросил Джон, — ваши чудесные гостиные, холлы, коридоры и ванны?

— Видишь ли, — ответил Перси, — стыдно сказать, но это сделал один тип из кино. Он оказался единственным, кто привык распоряжаться неограниченными суммами денег, хотя и засовывал салфетку за воротник и не умел читать и писать.

По мере того как август близился к концу, Джон начинал горевать, что скоро надо возвращаться в колледж. Они с Кисмин решили бежать в июне следующего года.

— Конечно, было бы приятнее пожениться здесь, — призналась Кисмин, — но отец ни за что не даст мне разрешения выйти за тебя. И потом мне даже хочется обвенчаться тайно. В наше время в Америке богатым людям вступать в брак ужасно сложно. Вечно приходится давать объявления в газеты, где говорится, что на невесте будет «старье» — горстка подержанных жемчугов и поношенных кружев, которые однажды надевала императрица Евгения.

— Верно, — с жаром подхватил Джон. — Когда я гостил у Шлицер-Мэрфи, их старшая дочь Гвендолин выходила замуж за человека, отцу которого принадлежит половина Западной Виргинии. Так она потом прислала домой письмо, где писала, как жестоко ей приходится экономить, чтобы сводить концы с концами на его жалованье банковского клерка, а кончала письмо так: «Слава богу, у меня хоть есть четыре хорошие горничные, это все-таки облегчает мне жизнь».

— Да, как глупо! — заметила Кисмин. — Ведь миллионы и миллионы людей в мире, всякие там рабочие, обходятся всего двумя горничными.

Фраза, которую нечаянно обронила Кисмин как-то в конце августа, все перевернула и повергла Джона в состояние панического страха.

Они укрывались в своей любимой роще, и между поцелуями Джон предавался меланхолическим пророчествам, что, по его мнению, придавало романтическую остроту их отношениям.

— Порою мне кажется, что мы никогда не поженимся, — сказал он с грустью. — Ты слишком богата, слишком недоступна. У такой богатой девушки, как ты, и судьба особенная. Мне следовало бы жениться на дочери какого-нибудь состоятельного оптового торговца скобяными товарами из Омахи и удовлетвориться ее полумиллионом.

— А я знала дочь одного состоятельного торговца скобяными товарами, сказала Кисмин. — Не думаю, чтобы она тебе понравилась. Она была подругой моей сестры. Она тоже здесь гостила.

— Так у вас здесь бывали и другие гости? — с удивлением воскликнул Джон.

Казалось, Кисмин пожалела о своих необдуманных словах.

— Ну да, — торопливо проговорила она, — бывали изредка.

— Но разве вы... Разве твой отец не боялся, что они могут проговориться?

— Да, конечно, в какой-то степени, — ответила она. — Давай поговорим о чем-нибудь более приятном.

Но в Джоне проснулось любопытство.

— Более приятном? — настойчиво переспросил он. — А что тут неприятного? Они были противные?

К его удивлению, Кисмин зарыдала:

— Н-нет, в том-то и дело. Я т-так привязалась к не-некоторым из них. Жасмин тоже, но она все равно п-продолжала их приглашать. Я ни-никак не могла этого понять.

В душе у Джона зародилось страшное подозрение.

— Ты хочешь сказать, что они действительно проговорились и тогда твой отец их... убрал?

— Хуже, — пролепетала она. — Отец с самого начала не мог рисковать... А Жасмин все равно им писала и приглашала в гости, и им так хорошо здесь жилось!..

Она была вне себя от горя.

Оглушенный своим чудовищным открытием, Джон сидел, разинув рот, и все нервы его трепетали, точно воробышки, усевшиеся у него вдоль позвоночника.

— Ну вот, я проболталась, а я не должна была этого делать, — сказала она, вдруг успокаиваясь и вытирая свои синие глаза.

— Значит, твой отец убивал их здесь, до того как они уезжали?

Она кивнула.

— Обычно в августе... или в Начале сентября. Нам, естественно, хочется получить сперва как можно больше удовольствия от их присутствия.

— Какая гнусность! Как же... Нет, я, наверное, схожу с ума! Ты в самом деле признаешься...

— Да, признаюсь, — прервала его Кисмин, пожимая плечами. — Мы не можем сажать их в яму, как тех авиаторов: они были бы для нас постоянным укором, И потом нас с Жасмин всегда щадили, отец обычно проделывал это раньше, чем мы ожидали, так что мы избегали прощальных сцен...

— Значит, вы их убивали! Уф!.. — вскричал Джон.

— Это делалось совсем безболезненно. Их отравляли во время сна, а их семьям сообщали, что они умерли от скарлатины в Бьюте.

— Но я... я просто не понимаю, как могли вы приглашать их!

— Я не приглашала! — с негодованием выпалила Кисмин. — Ни разу не пригласила! Это все Жасмин! Да и потом, им жилось у нас очень хорошо. Жасмин перед концом дарила им всякие миленькие вещицы. Я, наверное, тоже стану приглашать гостей: привыкну в конце концов. Нельзя же допустить, чтобы такая неизбежная вещь, как смерть, стояла у нас на дороге и мешала жить в свое удовольствие. Представь себе, как здесь было бы скучно, если бы у нас никогда не бывало гостей. Ведь папе и маме тоже пришлось пожертвовать своими лучшими друзьями.

— Так! Значит, — осуждающе воскликнул Джон, — ты позволяла мне говорить о любви и притворялась, будто тоже меня любишь, обещала выйти за меня замуж, а сама все

это время прекрасно знала, что мне никогда отсюда живым не выйти...

— Ничего подобного, — с жаром запротестовала она. — Последнее время нет. Сперва действительно так было. Все равно ты уже жил здесь. От меня это не зависело, я и решила — пускай твои последние дни пройдут приятно для нас обоих. Но потом я в тебя влюбилась, и... честное слово, мне очень жалко, что тебя... устранят... Хотя пусть уж лучше тебя устранят — тогда ты не сможешь целовать других девочек.

— Ах, так лучше?! — закричал взбешенный Джон.

— Да, гораздо лучше. А кроме того, я слышала, что во много раз интереснее любить того, за кого не можешь выйти замуж. Ах, зачем я тебе все рассказала! Я, наверное, испортила тебе настроение, а пока ты ни о чем не знал, нам было так замечательно! Я так и думала, что на тебя это произведет неприятное впечатление.

— Вот как, «неприятное впечатление»? — голос Джона дрожал от возмущения. — Довольно, с меня хватит! Если у тебя настолько нет гордости и чувства приличия, что ты заводишь роман с человеком, который уже все равно что труп, то я больше не желаю иметь с тобой ничего общего!

— Вовсе ты не труп! — с ужасом возразила она. — Ты вовсе не труп! Не смей говорить, что я целовалась с трупом!

— Я ничего подобного не говорил!

— Нет, говорил! Ты сказал, будто я целовалась с трупом!

— Нет, я не говорил!

Они кричали вовсю, но вдруг оба умолкли. По тропинке кто-то шел, шаги приближались, кусты раздвинулись, и они увидели пронизательные глаза и неподвижное красивое лицо Брэджока Вашингтона.

— Кто это целовался с трупом? — с явным неодобрением спросил он.

— Никто, — быстро ответила Кисмин. — Мы просто шутили.

— И вообще, почему вы тут вдвоем? Кисмин, ты должна... должна сейчас читать или играть в гольф с твоей сестрой. Ступай! Читай, играй в гольф! Чтобы, когда я вернусь, тебя тут не было!

Он кивнул Джону и пошел по тропе дальше.

— Вот видишь! — сердито сказала Кисмин, когда отец отошел подальше. Ты все испортил. Теперь нам нельзя больше встречаться. Он мне не позволит. Он тебя отравит, если заподозрит, что мы влюблены.

— С этим покончено! — с яростью воскликнул Джон. — На этот счет он может быть спокоен. И не думай, пожалуйста, что я тут после этого останусь. Через шесть часов я буду уже по ту сторону гор, даже если мне придется прогрызать их зубами, а там — на Восток.

Они стояли теперь друг против друга, и при последних его словах Кисмин придвинулась и взяла его под руку.

— И я с тобой.

— Да ты с ума сошла!..

— Я непременно иду с тобой, — нетерпеливо прервала она его.

— Ни в коем случае. Ты...

— Прекрасно, — сказала она спокойно. — Сейчас мы догоним папу и обсудим это с ним.

Побежденный Джон выдавил из себя бледную улыбку.

— Превосходно, моя радость, — неуверенно согласился он с вялой нежностью, — мы убежим вместе.

Однако любовь вернулась и снова безмятежно воцарилась в его сердце. Кисмин с ним, она готова идти за ним и разделить опасность. Он обнял ее и пылко поцеловал. В конце концов она его любит; она, в сущности, только что спасла его.

Они медленно направились к замку, обсуждая по дороге план действий. Поскольку Брэджок Вашингтон застал их вместе, они решили бежать на следующую ночь. У Джона, однако, за обедом то и дело пересыхало во рту, и он так нервничал, что поперхнулся

павлиньим супом. Пришлось унести его в карточную комнату из бирюзы и соболя, где один из младших дворецких поколотил его по спине, на радость Перси, который покатывался со смеху.

9

Далеко за полночь Джон сильно вздрогнул во сне и тут же сел на постели, вглядываясь в завесу сна, окутывавшую спальню. За квадратами синей густой тьмы, которые были раскрытыми окнами, ему послышался далекий слабый звук, унесенный ветром, прежде чем затуманенный тревожными снами мозг Джона успел осознать его. Но вслед за этим раздался шум ближе, совсем близко, у него за дверью, — может быть, шелканье ручки, шаги, шепот, что именно, он не мог сказать. В животе у него все стянуло, тело заныло, он мучительно прислушивался. Затем одна из драпировок словно растаяла, и он увидел темную фигуру за дверью, едва обрисовывавшуюся, едва намеченную на фоне черноты, настолько сливавшуюся со складками драпировок, что она казалась зыбкой и искаженной, как отражение на мокром стекле.

Внезапно то ли испуганным, то ли решительным движением Джон нажал кнопку возле кровати и через секунду очутился в зеленой ванне, до половины наполненной холодной водой, отчего сразу и окончательно пробудился.

Он выскочил из ванны и, оставляя на полу струйки воды, стекавшие с пижамы, подбежал к аквариумной двери, которая, как он знал, вела на площадку второго этажа. Дверь бесшумно отворилась. Одна-единственная темно-красная лампа, горевшая сверху под большим куполом, освещала грандиозную резную лестницу, придавая ей пронзительную красоту. На миг Джон заколебался, уstraшенный видом безмолвной роскоши, обступавшей его со всех сторон, обнимавшей своими гигантскими изгибами и поворотами одинокую мокрую фигурку, дрожавшую от холода на площадке из слоновой кости. И тут произошли два события одновременно. Дверь его собственной гостиной распахнулась, и оттуда выскочили три голых негра; но в тот момент, когда Джон, обезумев от ужаса, метнулся к ступеням, в противоположной стене отъехала еще одна дверь, и Джон увидел в освещенной кабине лифта Брэддока Вашингтона в распахнутой меховой шубе и верховых, до колен, сапогах, над которыми виднелась пылающая ярко-розовая пижама.

Трое негров, рванувшиеся было к Джону, — он до этого ни разу их не встречал, и в голове у него пронеслось, что это, должно быть, палачи, замерли на месте и выжидающе повернулись к стоявшему в лифте, который властно скомандовал:

— Сюда! Все трое! Сейчас же!

В одно мгновение негры впрыгнули в кабину, дверца лифта закрылась, освещенный проем исчез, и Джон остался в коридоре один. Он без сил опустился на пол.

Было очевидно, что случилось что-то знаменательное, что-то, хотя бы ненадолго отодвинувшее такое пустячное дело, как его смерть. Что же это? Может быть, взбунтовались рабы? Может быть, авиаторы взломали стальную решетку? Или жители деревушки Фиш случайно добрались сюда через горы и тусклым, безрадостным взглядом смотрят теперь на сказочную долину? Джон ничего не знал. Он услышал слабый шум воздуха, когда лифт просвистел вверх, и — минуту спустя, когда он снова скользнул вниз. Возможно, это Перси спешил на помощь отцу. Джону вдруг пришло а голову, что именно сейчас он может воспользоваться случаем увидеться с Кисмин и решиться на немедленное бегство. Подождав несколько минут и убедившись, что лифт успокоился, Джон, вздрагивая от ночной прохлады, проникавшей сквозь мокрую пижаму, вернулся в спальню и быстро оделся. Затем он взбежал вверх по лестнице и свернул в усталый соболями коридор, который вел в комнаты Кисмин.

Дверь, ее гостиной была приотворена, там, горел свет. Кисмин в кимоно из шерсти ангорской козы стояла у окна и к чему-то прислушивалась. Когда Джон почти неслышно вошел, она обернулась.

— А-а, это ты, — прошептала она, идя ему навстречу. — Ты услышал?
— Я услышал их за дверью, когда они собирались...
— Да нет же, — возбужденно прервала она его. — Аэропланы!
— Аэропланы? Так вот что меня разбудило!
— Их по крайней мере дюжина. Я только что видела один аэроплан прямо против луны. Часовой около утеса выстрелил из винтовки, и выстрел разбудил отца. Мы вот-вот откроем по ним огонь.

— Они прилетели не случайно?

— Конечно, это все тот сбежавший итальянец...

Одновременно с ее последним словом за открытым окном раздались один за другим резкие орудийные хлопки. Кисмин вскрикнула, трясущимися пальцами выхватила монетку из коробочки на туалетном столе и бросилась к лампе. В одно мгновение весь замок погрузился во тьму — Кисмин устроила короткое замыкание.

— Идем! — крикнула она Джону. — Поднимемся в сад на крышу, будем смотреть оттуда!

Закутавшись в плащ, она взяла Джона за руку, и они ощупью выбрались за дверь. До лифта, поднимавшего на башню, был всего один шаг, и как только она нажала кнопку и лифт взлетел вверх, Джон обвил ее руками и страстно поцеловал. Наконец-то романтика снизошла на Джона Т.Энгера. Минуту спустя они ступили на серебристо-белую площадку. Над ними, то уходя в облака, клубящиеся ниже тусклой луны, то снова появляясь, описывали ровные круги темнокрылые тела. В нескольких местах из долины вверх взметнулись вспышки огня, а вслед за этим послышались взрывы. Кисмин захлопала в ладоши от радости, которая тут же сменилась испугом, когда аэропланы начали сбрасывать бомбы и вся долина заполнилась сплошным грохочущим эхом и мертвенно-бледным огнем.

Очень скоро атакующие сосредоточили свои усилия на тех точках, где были установлены зенитные пушки, и почти сразу же одна из них превратилась в груды раскаленного шлака, светящегося среди кустов роз.

— Кисмин, — молил Джон, — ты должна быть рада услышать, что атака началась как раз, когда меня собирались убить. Если бы я не услышал выстрела часового под утесом, я был бы сейчас мертв...

— Не слышу! — прокричала Кисмин, целиком поглощенная происходящим. Говори громче!

— Я говорю, — закричал Джон, — что нам лучше уйти отсюда, пока они не начали бомбить замок!

Внезапно галерея, где жили негры, с грохотом раскололась, столб пламени вырвался из-под колоннады, огромные глыбы мрамора швырнуло до самого озера.

— Полюбуйся! Погибло на пятьдесят тысяч долларов рабов! — прокричала Кисмин. — По довоенным ценам! Где у американцев уважение к чужой собственности!

Джон снова попытался увести ее. С каждой минутой прицел аэропланов делался все точнее, и уже только две пушки продолжали отвечать. Было ясно, что гарнизон, окруженный огнем, долго не продержится.

— Идем! — закричал Джон, потянув Кисмин за руку. — Пора бежать. Ты понимаешь, что, если авиаторы найдут нас, они тебя убьют без всяких разговоров?

Она, наконец, уступила.

— Надо разбудить Жасмин! — сказала она, когда они бежали, к лифту. И добавила с ребяческим восторгом: — Мы будем бедными, правда? Как люди из книг. Я буду сиротой и совершенно свободна! Свободна и бедна! Вот весело-то! — Она остановилась и от избытка чувств протянула ему губы для поцелуя.

— Нельзя быть бедной и свободной одновременно, — хмуро сказал Джон. Это людям давно известно. Я бы лично предпочел свободу. На всякий случай советую тебе пересыпать драгоценности из коробки в карманы.

Спустя десять минут обе девочки встретились с Джоном в темном коридоре. Вместе

они спустились на первый этаж. Пройдя в последний раз через величественный вестибюль, они на минуту остановились на террасе поглядеть на горящие негритянские галереи и пылающие остовы двух аэропланов, упавших по ту сторону озера. Одинокaя пушка все еще стойко вела огонь; нападающие, казалось, побаивались спуститься ниже и окружали ее разрывами бомб, выжидая, когда случайное прямое попадание уничтожит артиллеристов.

Джон и сестры спустились по мраморной лестнице, взяли круто влево и начали подниматься по узкой тропинке, которая, как змея, вилась вокруг алмазной горы. Кисмин знала густо поросшее лесом местечко, где можно было спрятаться и понаблюдать, что творится в обезумевшей ночной долине, а потом бежать, когда понадобится, по тайной тропе, проложенной в скале вдоль водостока.

10

Было три часа ночи, когда они, наконец, достигли этого места. Послушная, флегматичная Жасмин тут же уснула, приклонившись к стволу большого дерева, а Джон с Кисмин, обнявшись, следили за отчаянными приливами и отливами затухающего боя среди руин, которые еще утром были парком. Около четырех утра последняя пушка с резким лязгом выбыла из строя, выпустив язык красного дыма. Хотя луна уже зашла, они разглядели, что аэропланы, кружа, снижаются. Убедившись, что осажденные бессильны, они, конечно, приземлятся, и жестокому и пышному владычеству Вашингтонов придет конец.

С прекращением стрельбы в долине наступила тишина. Глеющие обломки сбитых аэропланов светились в траве, словно глаза притаившихся чудовищ. Замок стоял темный и затихший, столь же прекрасный в темноте, каким был при свете солнца; вверху сухое грохотанье Немезиды, то нарастая, то удаляясь, наполняло воздух недовольным ворчанием. И тут Джон заметил, что Кисмин по примеру сестры крепко спит.

Время приближалось к пяти, когда он вдруг расслышал шаги на тропинке, по которой они сами недавно поднимались, и затаив дыхание стал ждать, когда неизвестные минуют его наблюдательный пункт. В воздухе чувствовалось еле заметное движение, происходившее не по воле человека; роса стала холодной — Джон понял, что скоро наступит рассвет. Он подождал, пока шаги удалились на безопасное расстояние и затихли. Тогда он двинулся следом. На полпути к крутой вершине деревья пропали, и дальше алмазную гору покрывала каменная кора. Не доходя камней, Джон замедлил шаг; инстинкт, как зверю, сказал ему, что впереди что-то живое. Дойдя до большого валуна, он осторожно высунул голову. Любопытство его было вознаграждено.

Впереди на фоне серого неба неподвижно, как изваяние, стоял Брэддок Вашингтон. Когда на востоке забрезжила заря, окрасив все вокруг холодным зеленым цветом, одинокая фигура стала бледнеть и едва виднелась в свете встающего дня.

Несколько минут Брэддок Вашингтон продолжал стоять неподвижно, погруженный в какие-то таинственные размышления, затем подал знак, и негры присели, чтобы поднять лежавшую между ними ношу. В то время как они с трудом выпрямлялись, первый желтый луч солнца ударил в бесчисленные грани громадного, идеально отшлифованного алмаза, отчего вокруг него зажглось белое сияние, пылавшее, словно утренняя звезда. Носильщики зашатались было под тяжестью камня, затем их вздувшиеся мускулы напряглись, затвердели под мокро блестящей кожей, и трое людей опять застыли на месте, бросая бессильный вызов небесам.

Немного погодя Брэддок Вашингтон поднял голову и медленно протянул руки, как бы призывая к вниманию толпу — но не было толпы, было лишь необъятное безмолвие горы и неба, нарушаемое едва доносившимися снизу, из леса, птичьими голосами. Человек заговорил, запинаясь, но с неугасимой гордостью.

— Ты, там, наверху!.. — напряженным голосом прокричал он. — Ты... там...

Затем умолк, не опуская рук, подняв внимательное лицо, словно ожидая ответа. Джон

смотрел во все глаза, не спускается ли кто-нибудь с вершины, но гора была безлюдна. Вокруг было только небо, да насмешливо свистел ветер в верхушках деревьев. Неужели Вашингтон молится? Сначала Джон так и подумал. Но затем впечатление это рассеялось — было в позе и поведении этого человека что-то противоречащее молитве.

— Эй, ты, там, наверху!

Голос окреп, сделался уверенным. Это не была мольба несчастного о помощи. Если уж на то пошло, в голосе скорее слышалась чудовищная снисходительность.

— Ты... там...

Слова стали следовать слишком быстро одно за другим, сливаясь в неразборчивую речь... Джон слушал затаив дыхание, улавливая то одну фразу, то другую, а голос прерывался, звучал снова, опять умолкал — то властный, убедительный, то медленный, нетерпеливо-недоумевающий. И вдруг догадка стала зреть у Джона; и когда она превратилась в уверенность, он ощутил бешеный толчок крови, жар во всем теле. Брэдок Вашингтон предлагал взятку... богу!

Да, именно так — сомнений не оставалось. Алмаз в руках рабов был как бы авансом, обещанием дать еще.

Смысл фраз в целом, как разобрал через некоторое время Джон, сводился именно к этому. Прометей Разбогатевший ссылался на забытые жертвоприношения, забытые ритуалы, на молитвы, отошедшие в прошлое еще до рождения Христа. Сперва он напоминал богу о тех или иных дарах, которые тот соблаговолит принять от людей: великие храмы, мирра и золото, человеческие жизни и прекрасные женщины, побежденные армии, дети и королевы, лесные и полевые звери, овцы и козы, урожаи и города, покоренные земли, — все, что приносилось в дар среди похоти и крови, дабы умиловить его и получить себе в награду смягчение божественного гнева. А ныне он, Брэдок Вашингтон, император страны алмазов, король и жрец Золотого века, владетель роскоши и великолепия, предложит ему сокровище, о каком не мечтал ни один государь, предложит не в унижении, а в гордости. Он даст богу, продолжал он, переходя к подробностям сделки, величайший алмаз в мире. В этом алмазе будет граней в тысячи раз больше, чем листьев у дерева, но в то же время форма его будет не менее совершенна, чем у алмаза величиной с муху. Множество людей будет трудиться над ним много лет. Он будет помещен под грандиозный купол из кованого золота, украшенный дивной резьбой, снабженный воротами из опала и неотшлифованного сапфира. Внутри алмаза будет выдолблена часовня с алтарем из радия, вечно изменчивого, испускающего лучи, которые ослепят того, кто оторвется от молитвы. И на этом алтаре будет для развлечения Божественного Благодетеля умерщвлена любая жертва, какую только он выберет, даже если его выбор падет на самого могущественного и великого из живущих.

Взамен он просит очень немного, и богу это сделать до нелепости просто: чтобы все стало, как было вчера, в этот же час, и чтобы так и оставалось всегда. Так просто! Пусть, скажем, разверзнутся небеса и поглотят этих людей с их аэропланами, а потом опять сомкнутся. Пусть вернутся к нему его рабы, живые и невредимые.

До сих пор ему еще никогда ни с кем не приходилось вести переговоры, ни с кем вступать в сделку. Он только сомневается, достаточно ли большую предложил взятку. У бога, конечно, своя цена. Бог создан по образу и подобию человека, так принято считать, — значит, у него есть своя цена, и он, Брэдок, платит неслыханную. Ни один собор, на строительство которого ушли многие годы, ни одна пирамида, возводившаяся десятками тысячами рабов, не сравнится с этим собором, с этой пирамидой.

Брэдок Вашингтон умолк. Он свое сказал. Все обещанное будет исполнено в точности, и нет ничего вульгарного в его утверждении, что для такой малости цена более чем достаточная. Дело Провидения — согласиться или отказаться.

По мере того как речь подходила к концу, фразы становились отрывистыми, короткими и нерешительными, тело говорившего напряглось; казалось, он изо всех сил старается уловить малейшее движение, малейший отклик в пространствах над ним. По мере того как он говорил, волосы его седали, и теперь он обратил лицо к небу, точно пророк былых

времен, великолепный в своем безумии.

Джону, у которого кружилась голова, который смотрел как зачарованный, почудилось, что вокруг творится что-то странное! Небо на миг словно почернело, в порыве ветра словно послышался ропот, отзвук далеких труб, вздох, подобный шороху грандиозных шелковых одежд, на какой-то миг вся природа отдала дань наступившей тьме: птичий щебет прекратился, деревья замерли, и вдали за горой раздалось глухое угрожающее гроыханье.

И все. Ветер перестал гнуть высокую траву долины. Заря и наступивший день заняли свои места, а поднимавшееся солнце катило перед собой жаркие волны желтого тумана, высвечивая яркую дорожку. Листья смеялись на солнце, от их смеха тряслись деревья, и каждая зеленая ветка походила на школу для девочек в сказочной стране. Бог отказался принять взятку.

Еще минуту Джон взирал на торжество дня. Затем, обернувшись, он заметил какое-то мелькание у озера, затем еще мелькание и еще, будто танец золотистых ангелов, спустившихся с облаков. Аэропланы сели на землю.

Джон соскользнул с валуна и бросился вниз по склону к группе деревьев, где ждали его проснувшиеся девочки. Кисмин вскочила, камешки у нее в кармане звякнули, с полураскрытых губ готов был вот-вот сорваться вопрос, но Джон чувствовал, что разговаривать уже некогда. Необходимо покинуть гору, не теряя ни минуты. Он взял девочек за руки, и они стали молча пробираться между стволами, омытыми светом и поднимающимся туманом. Позади них, из долины, раздавались жалобные крики павлинов и негромкие утренние голоса просыпающейся природы.

Пройдя с полмили, они обошли стороной парк и ступили на узкую тропу, которая вела на следующий перевал. На вершине холма они остановились и оглянулись. Глаза их обратились на склон, который они только что покинули: их томило мрачное предчувствие надвигающейся катастрофы.

Четко вырисовываясь на фоне неба, сломленный седовласый человек медленно спускался с крутой горы, а за ним два гиганта, два бесстрастных негра несли ношу, которая по-прежнему сверкала и вспыхивала на солнце. На полдороге к ним присоединились еще двое — миссис Вашингтон, опиравшаяся на руку сына. Авиаторы уже вылезли из кабин на луг перед замком и теперь с винтовками в руках поднимались цепью по алмазной горе.

Неожиданно пятеро наверху, к которым было приковано внимание всех наблюдателей, остановились на уступе скалы, негры наклонились и отворили какую-то дверцу — видимо, потайной ход в склоне горы. Туда они спустились все — седовласый человек первым, за ним жена и сын, последними два негра, в чьих прическах еще успели сверкнуть на солнце драгоценные камни, перед тем как дверь закрылась и гора поглотила их всех.

Кисмин стиснула Джону руку.

— Что это? — отчаянно закричала она. — Куда они идут? Что они хотят сделать?

— Наверное, там есть подземный ход...

Джон не окончил фразы, как обе девочки вскрикнули.

— Как ты не понимаешь? — Кисмин истерически всхлипнула. — Гора заминирована!

Она не успела проговорить это, как в ту же секунду Джон поднял руки, защищая глаза. Вся поверхность горы полыхнула слепящим желтым огнем, который пронизал дерн, точно свет лампы — подставленную ладонь. Этот невыносимый блеск длился с минуту, а потом вдруг исчез, точно в лампе перегорел волосок, и на месте горы теперь лежала черная пустыня, от которой медленно поднимался синий дым, унося с собой то, что осталось от растений и человеческой плоти. От авиаторов не сохранилось ничего — они были истреблены дотла, как и пятеро, скрывшиеся в горе.

Тут же последовало невероятное сотрясение, замок буквально взлетел на воздух, пылающие обломки обрушились вниз, и дымящаяся груда наполовину сползла в озеро. Пламени не было, дым унесло вдаль, и он смешался с солнечным сиянием; еще несколько минут мраморная пыль подымалась от огромной бесформенной массы, которая прежде была волшебным дворцом, затем наступила полная тишина.

В долине остались трое...

11

На закате Джон со своими спутницами добрались до высокого утеса, обозначавшего границу владений Вашингтонов, и оглянулись назад: в сумерках долина лежала мирная и прелестная. Они уселись, чтобы съесть ужин, который захватила с собой в корзинке Жасмин.

— Вот! — Она расстелила на камнях скатерть и сложила сэндвичи аккуратной стопкой. — Правда, они замечательно выглядят? Я всегда считала, что на воздухе пища делается гораздо вкуснее.

— Этим высказыванием, — заметила Кисмин, — Жасмин приобщается к буржуазии.

— А теперь, — с нетерпением сказал Джон, — выверни карман, и давайте посмотрим, какие драгоценности ты взяла с собой. Если ты отобрала правильно, мы все трое проживем до конца наших дней безбедно.

Кисмин послушно сунула руку в карман и выбросила на скатерть две пригоршни сверкающих камешков.

— Недурно! — восторженно воскликнул Джон. — Они не очень велики, но... Стой! — Лицо его вытянулось, едва он поднес один из камней к глазам и посмотрел сквозь него на заходящее солнце. — Да это же не алмазы! Что произошло?

— Вот тебе раз! — с удивленным видом воскликнула Кисмин. — Какая я глупая!

— Да ведь это стекляшки, стразы! — продолжал Джон.

— Ну да! — Она расхохоталась. — Я выдвинула не тот ящик. Они украшали платье одной девочки, которая приезжала к Жасмин. Я уговорила ее отдать их мне в обмен на настоящие алмазы. Я до сих пор никогда не видела ничего, кроме драгоценных камней.

— И только их ты и захватила?

— Боюсь, что да. — Она задумчиво потрогала стразы. — Пожалуй, они мне нравятся больше. Мне уже как-то надоели алмазы.

— Отлично, — мрачно сказал Джон. — Придется поселиться в Гадесе. И ты до старости станешь рассказывать женщинам, которые не будут тебе верить, что ты ошиблась ящиком.

— А что плохого в Гадесе?

— Если я, в моем возрасте, явлюсь домой с женой, отец скорее всего оставит меня без единого цента — оставит с носом, как у нас там выражаются.

Жасмин подала голос.

— Я люблю стирать, — спокойно сказала она. — Я всегда сама стирала себе носовые платки. Я буду брать стирать белье и содержать вас обоих.

— А в Гадесе есть прачки? — наивно спросила Кисмин.

— Еще бы, — ответил Джон. — Как и повсюду.

— Я подумала... может быть, в Гадесе так жарко, что там ходят неодетыми...

Джон засмеялся.

— Попробуй пройдишь в таком виде! — предложил он. — Не успеешь показаться, как тебя выгонят из города.

— А папа тоже будет там? — спросила она.

Джон с удивлением на нее посмотрел.

— Твой отец мертв, — ответил он хмуро. — Что ему делать в Гадесе? Ты спутала его с другим местом, которое давным-давно не существует.

После ужина они сложили скатерть и расстелили одеяла, готовясь спать.

— Все как сон, — вздохнула Кисмин, глядя вверх на звезды. — Как странно находиться здесь в одном-единственном платье! Прямо под звездами, продолжала она. — Я раньше не замечала звезд. Я считала их большущими алмазами, которые кому-то принадлежат. А теперь они меня пугают. Мне сейчас кажется, будто все прежнее было сном — вся моя юность.

— Это и был сон, — спокойно сказал Джон. — Юность всегда сон, особая форма безумия.

— В таком случае, быть безумной очень приятно!

— Говорят, — мрачно ответил Джон. — Но теперь я в этом не уверен. Во всяком случае, давай попробуем любить друг друга, хотя бы недолго, год или два. Любовь — это форма божественного опьянения, она доступна всем. В мире реальны только алмазы... алмазы да еще, быть может, ничтожный дар разочарования. Что ж, этим даром я владею и, как водится, им не воспользуюсь. — Он вздрогнул. — Подними воротник, девочка, ночь сыра, ты простудишься. Великий грех совершил тот, кто изобрел сознание. Давайте же потеряем его на несколько часов.

И, закутавшись в одеяло, он заснул.

МОЛОДОЙ БОГАЧ

I

I

Начните с отдельной личности, и, право же, вы сами не заметите, как создадите типический образ; начните с обрисовки типического образа, и, право же, вы не создадите ничего — ровным счетом. Дело в том, что у каждого из нас есть странности, причем странности эти, под какой бы личиной мы их ни прятали, куда более многочисленны, нежели мы хотели бы признать перед другими и даже перед собою. Когда я слышу, как кто-либо громко утверждает, будто он «обыкновенный, честный, простецкий малый», я нисколько не сомневаюсь, что в нем есть заведомое, а возможно, даже чудовищное извращение, которое он решил скрыть, — а его притязания быть «обыкновенным, честным и простецким» лишь способ, избранный им, дабы напомнить себе о своей постыдной тайне.

Нет в мире ни типических характеров, ни многочисленных повторений. Вот перед нами молодой богач, и я расскажу именно о нем, не о его братьях. С братьями его связана вся моя жизнь, но он был мне другом. Кроме того, возьмись я писать про этих братьев, мне пришлось бы первым делом обличить всю напраслину, какую бедняки возвели на богачей, а богачи на самих себя, — они нагородили столько диких нелепиц, что мы, открывая книгу о богачах, неким чутьем угадываем, сколь далека она от действительности. Даже под пером умных и беспристрастных описателей жизни мир богачей оказывается таким же фантастическим, как тридевятое царство.

Позвольте мне рассказать об очень богатых людях. Богатые люди не похожи на нас с вами. С самого детства они владеют и пользуются всяческими благами, а это не проходит даром, и потому они безвольны в тех случаях, когда мы тверды, и циничны, когда мы доверчивы, так что человеку, который не родился в богатой семье, очень трудно это понять. В глубине души они считают себя лучше нас, оттого что мы вынуждены собственными силами добиваться справедливости и спасения от жизненных невзгод. Даже когда им случится нырнуть в самую гущу нашего мира, а то и пасть еще ниже, они все равно продолжают считать себя лучше нас. Они из другого теста. Единственная возможность для меня описать молодого Энсона Хантера — это рассматривать его так, будто он иностранец, и твердо стоять на своем. Если же я хоть на миг приму его точку зрения, дело мое пропащее — мне нечего будет показать, кроме нелепой кинокомедии.

II

Энсон был старшим из шестерых детей, которым рано или поздно предстояло разделить меж собой состояние в пятнадцать миллионов долларов, и он достиг

сознательного возраста — лет семи? — в начале века, когда бесстрашные молодые девицы уже разъезжали по Пятой авеню в «электромобилях». В ту пору для него и для его брата выписали из Англии гувернантку, которая изъяснялась на очень чистом, ясном, безупречном английском языке, и оба мальчика выучились говорить, в точности как она, — слова и фразы звучали у них чисто и ясно, без свойственной нам невнятной скороговорки, они изъяснялись не совсем так, как говорят английские дети, но усвоили выговор, модный в светских кругах города Нью-Йорка.

Летом всех шестерых детей увозили из особняка на Семьдесят Первой улице в большую усадьбу на севере штата Коннектикут. Место было отнюдь не фешенебельное — отец Энсона хотел, чтобы дети как можно дольше не соприкасались с этой стороной жизни. Он был человек до известной степени выдающийся в кругу избранных, составлявших светское общество Нью-Йорка, особенно для своего времени, которому были присущи снобизм и нарочитая вульгарность эпохи Процветания, и он хотел, чтоб его сыновья приобрели привычку к сосредоточенности, сохранили физическое здоровье и выросли людьми преуспевающими и готовыми вести правильный образ жизни. Он и его жена старались не спускать с них глаз до тех пор, пока двое старших не кончили школу, но в роскошных особняках это нелегко — куда проще в тесноте маленьких или средних домов, где протекала моя юность, — мама всегда могла меня кликнуть, и я постоянно ощущал ее присутствие, ее одобрение или упрек.

Впервые Энсон осознал свое превосходство, когда заметил ту угодливость, проникнутую скрытой неприязнью, какую проявляли к нему жители этого глухого уголка Коннектикута. Родители мальчишек, с которыми он играл, всегда спрашивали о здоровье его папеньки и маменьки и втихомолку радовались, когда их детей приглашали в усадьбу Хантеров. Он считал, что все это в порядке вещей, и недовольство всяким обществом, где он не первенствовал — если дело касалось денег, положения, власти, — было свойственно ему до конца жизни. Он считал ниже своего достоинства соперничать с другими мальчиками из-за главенства — он ждал, чтобы ему уступили по доброй воле, а когда этого не происходило, он удалялся в круг своей семьи. Семья его вполне удовлетворяла, поскольку на Востоке деньги до некоторой степени и по его пору сохранили силу, какую они имели при феодализме, сплачивая родовой клан. А на снобистском Западе деньги разобщают семьи, создавая избранные «круги».

В восемнадцать лет, когда Энсон уехал в Нью-Хейвен, он был росл и крепко скроен, со здоровым румянцем во все лицо, благодаря правильному образу жизни, который он вел в школе. Волосы у него были светлые и смешно топорщились на голове, нос имел сходство с клювом — из-за этих двух черт был он далеко не красавцем, — но он обладал внутренним обаянием и уверенно-грубоватыми манерами, и люди из высшего сословия, встречая его на улице, сразу же, не обмолвившись с ним ни единым словом, признавали в нем молодого богача, который учился в одной из лучших школ Америки. Однако именно это превосходство помешало его успехам в университете — независимость характера ошибочно приняли за эгоизм, а нежелание принять распорядок Йельского университета с требуемой почтительностью как бы принижало всех, которые отдавали этому распорядку должное. Поэтому задолго до конца учения он начал готовиться к жизни в Нью-Йорке.

Нью-Йорк был для него родной стихией — там его собственный дом с прислугой, какую «ныне уже не сыщешь», и его семейство, где он, благодаря веселому нраву и умению устраивать любые дела, вскоре стал играть главенствующую роль, и настоящий мужской мир спортивных клубов, и порой бесшабашные кутежи с лихими девчонками, о которых в Нью-Хейвене знали лишь понаслышке. Его виды на будущее были вполне заурядны — в число их входила даже некая безупречная воображаемая красавица, на которой он когда-нибудь женится, но они отличались от видов большинства молодых людей тем, что не были подернуты туманной дымкой, которая известна под различными наименованиями, вроде «идеализма» или «иллюзий». Энсон безоговорочно принимал мир грандиозных финансов и грандиозных прихотей, разводов и мотовства, снобизма и исключительных привилегий.

Большинство из нас кончает жизнь компромиссом — ну а для него факт рождения на свет уже сам по себе был компромисс.

Впервые мы встретились с ним в конце лета 1917 года, когда он только что окончил Йельский университет и, подобно всем нам, был захлестнут организованно подогреваемой военной истерией. В зеленовато-синей форме морского летчика он прибыл в Пенсейколу, где оркестр в отеле играл «Прости же, моя дорогая», а мы, молодые офицеры, танцевали с девушками. Он всем сразу понравился, и хотя якшался с пьянчугами и был не очень хорошим летчиком, даже наши инструкторы относились к нему с известным уважением. Он зачастую подолгу разговаривал с ними уверенным, убедительным голосом — в результате этих разговоров ему обычно удавалось выгородить себя или, гораздо чаще, какого-нибудь другого офицера, которому грозила неминуемая неприятность. Он был общителен, развязен, неистово жаден до удовольствий и всех нас поверг в удивление, когда вдруг влюбился в несовременную и очень благопристойную девушку.

Звали ее Паула Леджендр, и была она темноволосая, строгая красавица родом откуда-то из Калифорнии. Зимой ее семья жила в ближнем пригороде, и она, несмотря на свои строгие правила, пользовалась необычайным успехом. Существует широкий круг людей, чье самомнение отталкивает их от насмешливых женщин. Но Энсон был не из таких, и я не мог понять, каким образом ее «прямотушие» именно так можно это охарактеризовать — привлекло его острый и довольно язвительный ум.

Но как бы то ни было, они полюбили друг друга — и он ей покорился. С тех пор он уже не участвовал в вечерних попойках в баре «Де Сотто», и всякий раз, как их видели вместе, они бывали увлечены долгими, серьезными беседами, которые, вероятно, длились уже много недель. Потом как-то он рассказал мне, что эти беседы с глазу на глаз не касались какого-либо определенного предмета, а выражались с обеих сторон в незрелых и даже бессмысленных высказываниях эмоциональное содержание, которое все более их насыщало, постепенно рождалось не из слов, а из их необычайной серьезности. Это был своего рода гипноз. Часто беседы их прерывались, уступая место тому пустому настроению, которое мы называем весельем; когда же им вновь удавалось остаться вдвоем, эти беседы возобновлялись, торжественно, в приглушенной тональности, словно под некий аккомпанемент, который давал обоим единение чувства и мысли. Вскоре они стали досадовать на малейшую помеху, отринув всякое легкомыслие по отношению к жизни и даже весьма умеренный цинизм своих современников. Они бывали счастливы, лишь беседуя наедине, и серьезность этих бесед озаряла их, подобно янтарному отблеску костра, пылающего под открытым небом. Но в конце концов возникла помеха, на которую они не могли досадовать, — в их отношения вмешалась страсть.

Как ни странно, Энсон увлекался этими беседами не меньше, чем она, и был столь же глубоко ими захвачен, но в то же время сознавал, что сам он часто бывает неискренен, тогда как она непосредственна и прямотушна. К тому же поначалу он презирал непосредственность ее чувств, но под воздействием его любви девушка обрела душевную глубину и так расцвела, что он уже не мог более ее презирать. Он понимал, что, если ему удастся проникнуть в уютную, спокойную жизнь Паулы, он будет счастлив. Долгие беседы в прошлом избавили их от всякой принужденности — он научил ее кое-чему из того, что сам усвоил от более легкомысленных женщин, и она восприняла это с восторженной готовностью. Однажды, после танцевального вечера, они решили пожениться, и он подробно сообщил о ней в письме к своей матери. На другой день Паула сказала ему, что она богата, владея собственным капиталом почти в миллион долларов.

III

С таким же точно успехом они могли бы сказать: «Оба мы нищие: станем же бедствовать вместе», — ничуть не менее заманчивым представлялось им совместное богатство. Они равно чувствовали себя причастными к некой волнующей тайне, И все же,

когда Энсон получил в апреле отпуск и Паула с матерью сопровождали его на Север, на нее произвели глубокое впечатление известность его семьи в Нью-Йорке и невообразимая роскошь их жизни. Оставшись впервые наедине с Энсоном в комнатах, где он играл еще мальчиком, она ощутила приятной волнение, словно под покровительством и защитой могущественной силы. Фотографии Энсона в черной шапочке, когда он был первоклассником, Энсона верхом на лошади вместе с девицей в некое таинственно позабытое лето, Энсона среди веселой гурьбы шаферов и подружек невесты на чьей-то свадьбе вызвали у нее ревность к его прошлой жизни, задолго до знакомства с нею, и столь непререкаемо властно личное его обаяние завершало и определяло широту его господства над всем этим, что ее осенила мысль поскорее вступить с ним в брак и вернуться в Пенсейколу его законной супругой.

Но о скором браке и речи не было — даже помолвку приходилось хранить в тайне до конца войны. Когда она сообразила, что отпуск его истекает через два дня, ее неудовлетворенность выразилась в жажде возбудить у него такое же нетерпение, какое испытывала она сама. В тот вечер им предстояло обедать в загородной гостинице, и она твердо решила настоять на своем.

В отеле «Риц» поселилась и двоюродная сестра Паулы, желчная злючка, которая любила Паулу, но относилась к ее многообещающей помолвке не без зависти, а поскольку Паула была еще не одета, эта двоюродная сестра, которая сама не была приглашена на званый обед, приняла Энсона в гостиной их номера.

Энсон перед этим, в пять вечера, изрядно выпил с друзьями, причем попойка продолжалась никак не менее часа. Он покинул Йельский клуб вовремя, и шофер его матери отвез его в «Риц», но он, обычно способный выпить очень много, на сей раз не выдержал, и в жаркой гостиной с паровым отоплением его вдруг развезло. Он сам это сознавал, и ему было одновременно смешно и совестно.

Двоюродной сестре Паулы уже минуло двадцать пять лет, но она отличалась удивительной наивностью и далеко не сразу сообразила, в чем дело. Она видела Энсона впервые и была крайне удивлена, когда он промямлил нечто маловразумительное и едва не свалился со стула, но до появления Паулы ей и в голову не пришло, что запах, который, как ей казалось, исходил от вычищенного кителя, в действительности был запахом виски. Зато Паула все поняла, едва переступила порог; единственной ее мыслью было увести Энсона, прежде чем он попадет на глаза ее матери, и двоюродная сестра, перехватив ее взгляд, тоже наконец поняла все.

Когда Паула и Энсон спустились к лимузину, который ожидал их у подъезда, там оказались двое незнакомцев, спавшие мертвым сном: то были приятели Энсона, с которыми он и пьянствовал в Йельском клубе, они тоже собрались на званый обед. Он совсем позабыл, что оставил их в автомобиле. По дороге в Хемпстед они проснулись и начали горланить песни. Некоторые песни были непристойны, и хотя Паула старалась примириться с мыслью, что и Энсон не слишком разборчив в выражениях, она плотно сжала губы от стыда и неудовольствия.

А ее двоюродная сестра, которая осталась в отеле, смущенная и взволнованная, пораздумав немного, вошла в спальню миссис Леджендр со словами:

— Ну не смешон ли этот человек?

— Кто смешон?

— Да вот... этот мистер Хантер. Право, он вел себя так смешно.

Миссис Леджендр бросила на нее пристальный взгляд.

— Что же в нем смешного?

— Да ведь он назвался французом. А я и не знала, что он француз.

— Какие глупости. Ты чего-то недопоняла. — Она улыбнулась. — Это была шутка.

Двоюродная сестра Паулы упрямо покачала головой.

— Нет. Он сказал, что воспитывался во Франции. И еще сказал, что не знает по-английски и поэтому не может со мной объясняться. Он и впрямь не мог!

Миссис Леджендр с досадою отвернулась, а ее племянница присовокупила задумчиво:

— Возможно, все дело в том, что он был пьян.

Сказав это, она вышла из комнаты.

Расписанный ею курьез был сущей правдой. Энсон, обнаружив, что голос у него хриплый, а язык едва ему повинует, прибежал к хитроумной уловке и заявил, что не говорит по-английски. Много лет спустя он любил рассказывать именно про этот случай и неизменно разражался бурным смехом при одном лишь воспоминании.

В ближайший час миссис Леджендр пять раз пыталась дозвониться в Хемпстед по телефону. Когда наконец это удалось, она вынуждена была ждать добрых десять минут, прежде чем по проводам донесся до нее голос Паулы.

— Твоя двоюродная сестрица Джоу сказала мне, что Энсон был нетрезв.

— О нет...

— О да. Джоу положительно утверждает, что он нетрезв. Он сказал ей, будто он француз, упал со стула, и вообще было очень заметно, что он действительно нетрезв. Я не хочу, чтобы он провожал тебя домой.

— Мама, все будет в порядке! Пожалуйста, не волнуйся насчет...

— Но как же я могу не волноваться! Воображаю, какой это ужас. Дай слово, что ты не позволишь ему себя проводить.

— Я постараюсь, мама...

— Я решительно требую, чтобы он тебя не провожал.

— Хорошо, мама. До свидания.

— Смотри же, Паула, непременно сделай, как я говорю. Попроси кого-нибудь другого отвезти тебя домой.

Паула неторопливо отняла трубку от уха и положила на рычаг. Лицо ее покраснело от бессильной досады. Энсон храпел в спальне наверху, а званый обед в нижнем зале медленно продвигался к концу.

Перед этим за час езды на автомобиле Энсон несколько протрезвел. В Хемпстед он приехал, будучи лишь навеселе, — и Паула надеялась, что вечер все же не испорчен окончательно, но два коктейля, непредусмотрительно выпитые перед обедом, довершили катастрофу. Он обратился к обществу с громкой и вызывающей речью, которая длилась добрых четверть часа, а потом умолк и свалился под стол — совсем как в старом кинофильме, с тем лишь отличием, что тут это выглядело отвратительно и ничуть не забавно. Ни одна из молодых девиц, сидевших за столом, словом не обмолвилась об этом происшествии — все сочли за лучшее обойти его молчанием. Дядя Энсона и еще двое мужчин отнесли его наверх, а вскоре Паулу вызвали к телефону.

Через час Энсон проснулся со смятением в душе, глаза его заволакивал туман, сквозь который он не сразу различил дядю Роберта, стоявшего у дверей.

— Ну как, полегчало?

— Что?

— Полегчало, старина?

— Мне ужасно плохо, — ответил Энсон.

— Постараемся влить в тебя еще сельтерской с бромом. Попробуй выпить, тебе полезно поспать.

Энсон с трудом спустил ноги на пол и встал.

— Я уже в норме, — сказал он глухим голосом.

— Не принимай эту историю близко к сердцу.

— Если ты дашь мне стаканчик коньяку, я, пожалуй, спущусь вниз.

— Ну нет...

— Да, это самое лучшее. Я уже в норме... Наверно, я всех там шокировал.

— Они знают, что ты под мухой, — сказал дядя с упреком. — Но пускай это тебя не беспокоит. Вот Шайлер даже не добрался сюда. Упал замертво в гардеробной клуба «Линкс».

Безразличный ко всем мнениям, кроме мнения Паулы, Энсон попытался спасти остаток вечера, но когда он, приняв холодную ванну, появился в зале, большинство гостей уже разъехалось. Паула тотчас встала, намереваясь отправиться домой.

В лимузине они вновь поговорили всерьез, как бывало. Она призналась, что ей и раньше было известно об его равнодушии к спиртному, но такого она никак не ожидала — и теперь, пожалуй, можно считать, что, видимо, они не подходят друг для друга. Их понятия о жизни слишком различны, ну и все прочее. Когда она высказалась, Энсон заговорил в свою очередь, причем совершенно трезво. Но Паула сказала, что должна хорошенько подумать; сегодня вечером она не может принять никакого решения; она несколько не сердится, но глубоко огорчена. И она не может позволить ему сопровождать ее в отель, но прежде чем выйти из автомобиля, она наклонилась и печально поцеловала его в щеку.

На другой день Энсон имел долгий разговор с миссис Леджендр в присутствии Паулы, которая молча слушала. Было условлено, что Паула известное время поразмыслит об этом случае, и если мать и дочь сочтут за благо, они приедут к Энсону в Пенсейколу. Он, со своей стороны, принес извинения, искренне, но с достоинством, — на том дело и кончилось: имея в руках все козыри, миссис Леджендр не сумела использовать свое преимущество. Он не дал никаких обещаний, не стал унижаться, а лишь произнес несколько многозначительных сентенций о жизни, благодаря чему оставил за собой несомненное моральное превосходство. Когда через три недели они вернулись на Юг, ни Энсон, довольный таким оборотом дела, ни Паула, испытывавшая облегчение оттого, что они снова вместе, не сознавали, что их духовная близость утрачена навсегда.

IV

Он покорял и привлекал ее, но в то же время возбуждал в ней тревожное чувство. Смушенная тем, что он держался решительно и при этом всячески потворствовал своим прихотям, был чувствителен и при этом грубо-циничен нежная душа Паулы не могла примириться с чертами, столь несовместимыми, — она теперь видела в нем двух разных, сменяющих друг друга людей. Когда она бывала с ним наедине, или на официальных приемах, или, случайно, в присутствии подчиненных, она бесконечно гордилась его сильной, обаятельной личностью, его блестящим, проникновенным, отечески отзывчивым умом. А в другом обществе ей становилось не по себе, когда прежняя благородная непроницаемость без всяких претензий на аристократизм являла свой второй лик. Этот лик бывал груб, насмешлив, вызывающе пренебрежителен ко всему, кроме наслаждений. Иной раз это вызывало отвращение в ее душе и даже побудило ненадолго искать прибежища во встречах с одним старым поклонником, но тщетно — после четырех месяцев чарующей живости Энсона все остальные мужчины казались ей бесцветными и худосочными.

В июле он получил приказ отбыть за границу, и связывавшие их нежность и взаимное влечение достигли предела. Паула подумывала о свадьбе в самый канун его отъезда — она отказалась от этой мысли лишь потому, что теперь от него всегда пахло коктейлями, но после расставания буквально заболела от горя. Когда он уехал, она стала писать ему длинные покаянные письма, сожалея о днях любви, которые они упустили, выжидая напрасно. В августе аэроплан Энсона был сбит и упал в Северное море. Целую ночь Энсон плавал по волнам, а потом его подобрал эсминец и доставил в госпиталь с крупозным воспалением легких; вскоре было подписано перемирие, и Энсона наконец отправили на родину.

И вот после того, как они вновь обрели утерянные возможности и перед ними не стояли никакие материальные препятствия, подспудные сплетения характеров разделили их, как стена, иссушали их поцелуи и слезы, не давали им понять друг друга, заглушали сокровенное общение их душ. И, наконец, прежняя близость стала возможной лишь в письмах, когда меж ними ложилось расстояние. Однажды некий светский хроникер битых два часа дожидался в доме Хантеров подтверждения их помолвки. Энсон эту помолвку отрицал; и все же в утреннем выпуске газеты на первой полосе появился репортаж — их «постоянно видели

вместе в Саутгемптоне, в Хот-Спрингс и в парке „Такседо“. Но серьезные беседы переросли в затянувшуюся ссору, и дело едва не расстроилось совсем. Энсон напился вдрызг и не пришел на свидание, после чего Паула потребовала от него, чтобы он держался в определенных рамках. Его отчаянье оказалось бессильным перед ее гордостью и собственным его знанием самого себя: помолвка была окончательно расторгнута.

«Любовь моя, — писали они теперь друг другу, — единственная любовь моя. Когда я просыпаюсь среди ночи и сознаю, что в конце концов это можно было предотвратить, мне хочется умереть. Я просто не в состоянии больше жить на свете. Быть может, летом, когда мы увидимся, то обсудим положение вещей и примем иное решение — в тот день мы были так взволнованы и огорчены, и мне страшно подумать, что придется прожить без тебя всю свою жизнь. Ты ссылаешься на пример других. Но разве ты не знаешь, что другие для меня попросту не существуют, только ты...»

Однако Паула, разъезжая по Восточным штатам, порой упоминала в письмах про свои беззаботные развлечения, желая разжечь его любопытство. А Энсон был слишком проницателен, дабы вообще испытывать любопытство. Когда он находил в ее письме упоминание о каком-нибудь мужчине, уверенность в нем только крепла, смешиваясь с легким презрением, — он всегда был выше подобных глупостей. Но он не терял надежды когда-нибудь сочетаться с ней браком.

Меж тем он с головой окунулся в суету и блеск послевоенного Нью-Йорка, часто заглядывал в конторы маклеров, вступил в пять или шесть клубов, танцевал до поздней ночи и вращался разом в трех мирах — в своем собственном мире, в мире выпускников Йельского университета и в том полусвете, который одним концом простирается через Бродвей. Но ежедневно он посвящал восемь часов усердной и неизменной работе в конторе на Уолл-стрит, где сочетание влиятельных семейных связей, острого ума, а также бьющей через край физической энергии почти сразу же помогли ему выдвинуться далеко вперед. У него была поистине редкостная голова, как бы со специальными перегородками внутри; порой он заявлялся в контору, проспав ночью менее часа, но подобные случаи бывали не часто. К 1920 году его доход, состоявший из гонораров и комиссионных уже превышал двенадцать тысяч долларов.

По мере того как университетские традиции отодвигались в прошлое, он становился все более заметной личностью среди своих соучеников в Нью-Йорке, еще заметней, чем некогда в университете. Жил он в роскошном особняке и имел возможность открывать молодым людям доступ в другие особняки, ничуть не менее роскошные. Более того, жизнь его была, видимо, полностью устроена, тогда как большинству приходилось начинать все сначала, подвергаясь серьезному риску. Они стали обращаться к Энсону, когда искали развлечения или покровительства, и он шел навстречу, охотно помогая другим и устраивая их дела.

Теперь из писем Паулы исчезли упоминания о мужчинах, они были проникнуты нежностью, ранее им не свойственной. Из разных источников до него дошли сведения, что у нее появился «серьезный поклонник», Лоуэлл Тейер, богатый и видный бостонец, и хотя Энсон был по ее пору уверен, что она любит только его, при мысли, что он может ее потерять, ему все же становилось не по себе. Кроме одного короткого дня, она не была в Нью-Йорке без малого пять месяцев, и чем шире распространялись слухи, тем сильнее желал он с нею увидеться. В феврале он взял отпуск и поехал во Флориду.

Палм-Бич, пышный и изобильный, распростерся меж искрящимся сапфиром озера Уэрт, где во множестве покачивались на якорях яхты, превращенные в плавучие виллы, и безбрежным бирюзовым простором Атлантического океана. Громады отелей «Волнолом» и «Королевская пальма» вздымались, как два горба, над светлой песчаной поверхностью, а вокруг разместились танцевальный зал, игорный дом Брэдли да с десятков дамских магазинов и галантерейных лавок, где заламывали цены втрое выше, чем в Нью-Йорке. На решетчатой веранде «Волнолома» сотни две женщин двигались направо, потом налево, кружились, скользили по полу, выполняя знаменитые по тем временам гимнастические упражнения, и

две тысячи браслетов со звоном скользили под музыку, через такт, то вверх, то вниз по двум сотням рук.

В клубе «Вечнозеленая поляна» после наступления темноты Паула, Лоуэлл Тейер, Энсон и случайно подвернувшийся четвертый партнер играли в бридж только что распечатанными картами. Энсону показалось, что ее милое, сосредоточенное лицо бледно и устало, — она ведь начала выезжать четыре или даже пять лет назад. А он знал ее три года.

— Две пики.

— Не угодно ли сигарету?... Ах, прошу прощения. Я пас.

— И я.

— Шесть в пиках.

В зале было более десятка карточных столиков, над которыми плавал густой табачный дым. Энсон поймал взгляд Паулы и упорно не отпускал его, хотя Тейер тоже смотрел на них...

— Какую масть объявили? — спросил Энсон небрежно.

Нежная роза с Вашингтон-сквер,

пели молодые люди, сидевшие по углам,

Я увядаю в глубинах пещер,

Где свет дневной безотраден и сер...

Дым за клубился, как туман, и через распахнувшуюся дверь в залу ворвались снаружи вихри сырого воздуха. Щеголи с хризантемами в петлицах мелькали у столиков, разыскивая мистера Конана Дойля среди высокомерных англичан, заполнявших холл.

— Это же ясно, как день.

— ... Ясно, как день.

— ... Как день.

После окончания роббера Паула внезапно встала из-за столика и заговорила с Энсоном тихим, взволнованным голосом. Едва взглянув на Лоуэлла Тейера, они вышли за дверь, спустились по длинной каменной лестнице и через минуту уже шли, рука в руке, по залитому лунным светом берегу.

— Счастье мое, счастье мое...

Они обнялись жарко, иступленно, под покровом вечерней темноты... Потом Паула отстранилась, чтобы уста его могли вымолвить то, что она так хотела услышать, — она чувствовала, как слова эти готовы были вырваться наружу, когда они поцеловались еще раз... И опять она высвободилась из его объятий, внимая, но он вновь привлек ее к себе, и тут она поняла, что он не сказал ничего, только: «Счастье мое! Счастье мое!» — тем глухим, печальным шепотом, от которого ей всегда хотелось плакать. Покорно, безропотно она подчинилась ему, смирив свои чувства, слезы струились по ее лицу, а душой она непрерывно зывала: «Сделай мне — о Энсон, дорогой, сделай же мне предложение!»

— Паула... Паула!

Слова эти терзали ей сердце, словно грубые руки, и Энсон, почувствовав, что она вся дрожит, понял, что надо умерить пылкость. Незачем говорить что-либо еще, подвергать их судьбы неведомым жизненным превратностям. К чему это, если он может просто удержать ее так долго, как ему заблагорассудится, еще на год — или навсегда? Он ведь заботился о них обоих, и о ней больше, чем о себе самом. На мгновение, когда она вдруг сказала, что ей пора возвращаться в отель, он заколебался, подумав сперва: «В конце концов, сейчас самый подходящий миг», — а потом: «Нет, лучше повременить — ведь она моя...»

Он совсем забыл, что Паула тоже была внутренне опустошена после трехлетнего напряжения. Ее чувства навсегда канули в ночь.

На другое утро он вернулся в Нью-Йорк, испытывая какую-то тревожную

неудовлетворенность. В конце апреля совершенно неожиданно он получил из Бар-Харбор телеграмму, в которой Паула сообщала о своей помолвке с Лоуэллом Тейером и о том, что бракосочетание состоится в Бостоне безо всяких отлагательств. То, в свершение чего он никогда не мог поверить, все же свершилось.

Этим утром Энсон выпил немалое количество виски, потом отправился в контору и работал там без малейшего перерыва, — он боялся, что, если прервется, произойдет что-то ужасное. Вечером он, как обычно, ушел из дома, никому не сказав о полученном известии; он был сердечен, весел, внимателен. Но в одном он оказался бессилён — целых три дня, где бы он ни был, в чьем бы обществе ни проводил время, он иногда вдруг закрывал лицо руками и плакал навзрыд, как ребенок.

V

В 1922 году Энсон вместе с младшим компаньоном съездил за границу для проверки капиталовложений в Лондоне, и после этой поездки он, как было уже решено, стал совладельцем фирмы. Ему исполнилось двадцать семь лет, он был уже несколько грузен, но не толст в подлинном смысле этого слова и выглядел старше своих лет. Старики и молодежь любили его и оказывали ему всяческое доверие, а мамыши бывали спокойны, отдавая своих дочерей на его попечение, потому что он имел привычку, придя в дом, завязывать общение с самыми пожилыми и патриархальными членами семейства. «Мы с вами, — словно говорил он, — люди солидные. Мы знаем, что к чему».

Он инстинктивно и снисходительно угадывал слабости мужчин и женщин, вследствие чего, подобно священнику, особенно заботился о соблюдении внешних приличий. Характерно, что каждое воскресное утро он давал уроки в фешенебельной епископальной воскресной школе — даже когда, после ночного кутежа, он едва успевал принять холодный душ и переодеться в черную визитку.

После смерти отца он фактически стал главой семьи и, в сущности, вершил судьбы младших братьев и сестер. По причине некоторых осложнений власть его не распространялась на отцовское состояние, которым распоряжался дядя Роберт, заядлый лошадиник и добродушный пьянчуга, часто проводивший время с друзьями на ипподроме.

Дядя Роберт и его жена Эдна очень дружили с Энсоном в пору его юности, и дядя был разочарован, когда племянник проявил высокомерное пренебрежение к конному спорту. Он устроил его в клуб, доступный лишь для избранных, поскольку допускали в него только тех, чьи предки «участвовали в созидании Нью-Йорка» (или, другими словами, успели разбогатеть до 1880 года) — и когда Энсон, принятый туда голосованием, все же предпочел Йельский клуб, дядя Роберт имел с ним пренеприятное объяснение. Но когда в довершение ко всему Энсон отказался от услуг консервативной и несколько захудалой посреднической фирмы самого Роберта Хантера, между ними началось серьезное охлаждение. Подобно учителю начальной школы, он выучил племянника всему, что знал сам, и теперь для него не стало места в жизни Энсона.

А в жизни этой было многое множество друзей, причем почти каждому Энсон оказал какую-либо исключительно важную услугу, и почти каждого ему случалось сконфузить неожиданным взрывом грубейшей брани или же своим обыкновением пьянствовать всегда и всюду, где только взбрела охота. Он досадовал, когда кто-то другой сбивался с пути, но к собственным порокам всегда относился со спокойным юмором. Порой с ним случались престранные вещи, о которых он потом рассказывал с заразительным смехом.

В ту весну я служил в Нью-Йорке и часто завтракал с ним в Йельском клубе, где состояли и наши студенты до тех пор, пока университет не выстроил для нас собственного клуба. В свое время я узнал из газет о замужестве Паулы, и как-то раз, когда я спросил о ней, что-то побудило его рассказать мне все. После этого случая он часто приглашал меня к себе домой на семейные обеды, держался так, будто нас связывают какие-то особые отношения, словно вместе с его доверием частица этих гложащих душу воспоминаний перешла и ко мне.

Я обнаружил, что, несмотря на доверчивость матерей, его отношение к девушкам не всегда оказывалось чисто покровительственным. Это уж было заботой девушки, — если она не обнаружит достаточной твердости, пускай пеняет на себя, даже когда имеет дело с ним.

«Жизнь, — объяснял он иногда, — превратила меня в циника».

Под жизнью он разумел Паулу. Иногда, особенно во время попоек, мысли его несколько путались и он считал, что она бесчувственно его покинула.

Из-за этого «цинизма» или, вернее, сознания, что девицы, легкомысленные от природы, не достойны снисходительности, и начался его роман с Долли Каргер. В те годы это был не просто роман, а, пожалуй, событие, которое глубоко затронуло его и серьезно повлияло на его отношение к жизни.

Долли была дочерью печально известного «журналиста», который взял жену из высшего общества. Сама Долли состояла в Благотворительном союзе благородных девиц, бывала на приемах в отеле «Плаза», и лишь немногие семьи, вроде Хантеров, могли задаваться вопросом, принадлежит ли она к их кругу или нет, потому что портрет ее частенько появлялся в газетах и ей оказывали больше завидного внимания, нежели многим девушкам, которых, несомненно, считали своими. Была она черноволоса, с алыми губками и ярким, приятным цветом лица, который она весь первый год старалась приглушить серовато-розовой пудрой, потому что яркий цвет был тогда не в моде — предпочтение отдавалось бледности викторианских времен. Она носила строгие черные костюмы, часто стояла, засунув руки в карманы и слегка наклонясь вперед с насмешливо-скромным выражением лица. Она превосходно танцевала — танцы ей нравились больше всего на свете больше всего, если не считать влюбленностей. С десяти лет она была постоянно влюблена, причем обычно в какого-нибудь мальчика, который не отвечал ей взаимностью. Те же, которые отвечали, — а таких было множество, — надоедали ей после первой встречи, тогда как к равнодушным она хранила в сердце самые теплые чувства. Встречаясь с ними, она неизменно возобновляла свои попытки, иногда с успехом, но чаще неудачно.

Этой вечной искательнице недостижимого никогда не приходило в голову, что между мужчинами, отказывавшими ей в своей любви, было некое сходство — все они обладали безошибочным чутьем, прозревая ее слабость, слабость не чувства, а характера. Энсон понял это с первой же встречи, когда после замужества Паулы не прошло и месяца. Он очень много пил и целую неделю притворялся, будто влюблен в нее. Потом он внезапно ее бросил и позабыл, чем незамедлительно покорила ее сердце.

Подобно многим девушкам того времени, Долли была слабодушна и безудержно сумасбродна. Пренебрежение к условностям, свойственное еще недавно старшему поколению, было лишь одним из выражений послевоенной склонности молодежи скомпрометировать старомодные манеры — у Долли это получалось менее современно и притом весьма неприглядно, она видела в Энсоне те две крайности, которые привлекают чувственно бессильную женщину, — слепое потворство своим прихотям в сочетании с силой, в которой можно обрести опору. В его характере она ощущала сибаритство наряду с несокрушимой твердостью, и обе эти черты отвечали ее природным наклонностям.

Она предвидела, что ей будет нелегко, но ошиблась в причине — она полагала, будто Энсон и его родные желают, чтобы он сделал более блестящую партию — зато сразу догадалась, что ее преимущество в его неравнодушии к спиртному.

Они встречались на больших молодежных танцевальных вечерах, но по мере того, как росла ее страсть, стали видеться все чаще и чаще. Подобно всем матерям, миссис Каргер полагала, что Энсон заслуживает полнейшего доверия, отпускала с ним Долли в отдаленные загородные клубы и укромные увеселительные заведения, не особо допытываясь, что они там делают, и верила рассказам дочери, когда они возвращались поздней ночью. Поначалу эти рассказы были правдивы, но вскоре Долли уже не помышляла попросту пленить Энсона, ее захлестнул нарастающий поток чувств. Поцелуи на задних сиденьях такси и частных автомобилей уже ее не удовлетворяли; и тогда они выкинули престранную штуку.

На время они отказались от своего прежнего мира и обрели другой, скрытый от

посторонних мир, в котором пьянство Энсона и вольный образ жизни Долли были не так заметны, вызывая гораздо меньше толков. Мир этот оказался весьма разнороден — несколько товарищей Энсона по Йельскому университету со своими женами, двое или трое молодых маклеров и перекупщиков акций да горстка людей без определенных занятий, которые недавно окончили университет, имели деньги и жаждали развлечений. Хотя этот мир был не слишком велик и просторен, зато люди здесь предоставляли им свободу, какую едва ли могли позволить самим себе. Более того, мир этот вращался вокруг них и позволял Долли держаться небрежно-снисходительно — удовольствие, которое Энсон, самоуверенный с детства и всю жизнь проявлявший снисходительность, не мог разделить.

Он не был в нее влюблен и зачастую прямо говорил ей это в долгую, бурную зиму их романа. Весной он почувствовал усталость — в нем возникло желание обновить свою жизнь из какого-либо иного источника — более того, он понимал, что должен либо порвать с ней немедленно, либо принять на себя ответственность за то, что соблазнил ее. Благоклонность ее родных ускорила решение, — однажды вечером, когда мистер Каргер скромно постучал в дверь библиотеки, дабы сказать, что оставил в столовой бутылку хорошего, старого коньяка, Энсон почувствовал, что жизнь берет его в тиски. В ту же ночь он написал Долли короткую записку, сообщая, что уезжает в отпуск и, учитывая все привходящие обстоятельства, им разумнее больше никогда не видеться.

Это было в июне. Его родные заперли дом и уехали за город, поэтому он временно поселился в Йельском клубе. Я не раз слышал об этом романе с Долли по мере его развития — рассказы, приправленные солеными шуточками, потому что он презирал изменчивых женщин и не отводил им места в общественной системе, в которую верил, — и в тот вечер, когда он мне сказал, что окончательно решил с нею порвать, я очень обрадовался. Мне случалось встречать Долли то тут, то там, и всякий раз я испытывал жалость при виде ее беспомощной борьбы, а также стыд, оттого что я так много про нее знаю, не имея на это никакого права. Она была, что называется, «премиленькая крошка», но чувствовалась в ней некая дерзость, которая не оставляла меня равнодушным. Ее поклонение божеству расточительности было бы не так заметно, будь она менее решительна, — она наверняка растратит себя, — но я обрадовался, что гибель ее произойдет не у меня на глазах.

Энсон намеревался оставить прощальную записку у нее дома на следующее утро. Это был один из немногих домов, не пустовавших тогда в районе Пятой авеню, и он знал, что Каргеры, введенные в заблуждение рассказами Долли, уехали за границу, дабы предоставить дочери свободу действий. Выйдя из Йельского клуба на Мэдисон-авеню, он встретил почтальона и вернулся, чтобы просмотреть корреспонденцию. Первое же письмо, которое попало ему на глаза, было написано рукой Долли.

Он заранее знал содержание — одинокий и трагический монолог, полный упреков, уже не раз слышанных, бесконечных восклицаний, всяких «если бы я только могла подумать» — всех давних интимных признаний, которые он сделал Пауле Леджендр, казалось, уже сто лет назад. Перелистав несколько счетов, он снова дошел до этого письма и вскрыл конверт. К его удивлению, это была короткая, сухая записка, в которой Долли уведомляла, что не сможет поехать с ним за город на субботу и воскресенье, потому что к ней неожиданно приехал из Чикаго Перри Хэлл. В конце было сказано, что виноват во всем сам Энсон: «...если бы я чувствовала, что ты любишь меня так же сильно, как я тебя, я поехала бы с тобою в любой миг хоть на край света, но Перри так мил и так хочет, чтобы я вышла за него замуж».

Энсон презрительно усмехнулся — ему уже приходилось иметь дело с подобными обманными посланиями. Более того, он знал, что Долли придумала этот план, вероятно, сама вызвала своего верного поклонника Перри, рассчитав время его приезда, — и даже придумала записку с расчетом вызвать в нем ревность, но при этом не оттолкнуть его от себя. Как и в большинстве компромиссов, здесь не было ни решительности ни упорства, а только робкое отчаянье.

Вдруг он рассердился. Он сел в вестибюле и снова перечитал записку. Потом подошел к телефону, позвонил Долли и сказал громким, властным голосом, что получил записку и

заедет к ней в пять часов, как и было условлено. Не дослушав до конца ее притворно неуверенный ответ: «Пожалуй, я смогу уделить тебе не более часа», — он повесил трубку и отправился к себе в контору. По дороге он изорвал свое письмо в мелкие клочки и швырнул их на мостовую.

Он не ревновал, — Долли для него ровно ничего не значила, — но ее трогательная уловка всколыхнула в нем все упорство и самовлюбленность. Это была дерзость со стороны существа, стоявшего ниже его в умственном развитии, и он не мог такого стерпеть. Если ей угодно знать, кто ее повелитель, она скоро узнает это.

Он был у ее порога в четверть шестого. Долли встретила его одетая так, будто собиралась уходить, и он молча выслушал все ту же тираду: «Я могу уделить тебе не более часа», — которую она произнесла по телефону.

— Надень шляпу, Долли, — сказал он, — и пойдем прогуляемся.

Они дошли по Мэдисон-авеню до угла Пятой улицы, была жара, и рубашка на располневшем Энсоне взмокла. Он говорил мало, выругал ее, воздержался от любовных нежностей, но не прошли они и трех кварталов, как она уже снова безраздельно принадлежала ему, просила прощения за свою записку, обещала, во искупление вины, совсем не видаться с Перри, обещала решительно все. Она думала, что он пришел к ней, побуждаемый первыми проблесками любви.

— Мне жарко, — сказал он, когда они дошли до угла Семьдесят Первой улицы. — На мне зимний костюм. Если я зайду домой переодеться, ты подождешь меня в холле? Всего одну минуту.

Она была счастлива; признание, что ему жарко, всякое доверие с его стороны наполняло ее восторгом. Когда они подошли к дверям, забранным железной решеткой, и он вынул из кармана ключ, она ощутила неудержимую радость.

В холле было темно, и когда он поднялся на лифте, Долли отдернула портьеры и взглянула сквозь матовые узоры стекла на дома, стоявшие по другую сторону улицы. Она слышала, как лифт остановился, и, желая пошутить, нажала кнопку вызова. Потом, повинаясь почти сознательному стремлению, вошла в лифт и отправилась на тот этаж, где, по ее соображениям, была его комната.

— Энсон, — окликнула она его с коротким смешком.

— Минутку, — отозвался он из своей спальни... И после недолгого молчания произнес: — Можешь войти.

Он уже переоделся и застегивал жилет.

— Вот моя комната, — сказал он непринужденно. — Как ты ее находишь?

Она заметила фотографию Паулы на стене и разглядывала ее не отрываясь, точно так же, как сама Паула пять лет назад разглядывала фотографии девочек, которыми Энсон увлекался в детстве. Она кое-что знала о Пауле, и иногда ее мучили отрывочные подробности, уже известные ей.

Вдруг она подошла к Энсону вплотную, воздев руки. Они обнялись. За окном, выходящим на внутренний двор, уже спускались сумерки, хотя на скате крыши по ту сторону двора еще ярко отсвечивало солнце. Через полчаса в комнате станет совсем темно. Неожиданный порыв захлестнул обоих, у них перехватило дыхание, и они еще теснее прижались друг к другу. Это было неминуемо, неизбежно. Не разжимая объятий, они подняли головы — взгляды их одновременно упали на фотографию Паулы, которая смотрела на них со стены.

Энсон неожиданно уронил руки, отошел к письменному столу, вынул связку ключей и стал отпирать ящик.

— Хочешь выпить? — спросил он хрипло.

— Нет, Энсон.

Он налил себе полбокала виски, выпил залпом, потом отворил дверь в холл.

— Пойдем, — сказал он.

Долли мешкала в нерешительности.

— Энсон... я все-таки поеду с тобой за город сегодня вечером. Ведь ты все понимаешь, правда?

— Конечно, — отвечал он резко.

В машине Долли они отправились на Лонг-Айленд, чувствуя близость, какой до тех пор не испытывали. Они заранее знали, чем это кончится, — ведь теперь лицо Паулы уже не будет напоминать им о том, что в их отношениях чего-то недостает, и когда они окажутся наедине в ночной тиши Лонг-Айленда, им это будет безразлично.

Усадьба в Порт-Вашингтоне, где они намеревались провести субботу и воскресенье, принадлежала двоюродной сестре Энсона, которая вышла замуж за владельца медных копеек из Монтаны. Их долгий путь начался от привратничкой, дальше дорога вилась меж посаженных здесь привозных тополей к огромному розоватому особняку в испанском стиле. Энсон уже не однажды бывал здесь.

После обеда они потанцевали в клубе «Линкс». Около полуночи Энсон уверился, что его родственники не уедут из клуба раньше двух, — тогда, слегка дрожа от волнения, они сели в автомобиль, взятый у одного из знакомых, и поехали в Порт-Вашингтон. Возле привратничкой Энсон остановил машину и сказал ночному сторожу:

— Ты когда пойдешь в обход, Карл?

— Прямо сейчас.

— Значит, ты будешь здесь к приезду всех остальных?

— Да, сэр.

— Ладно. Слушай же: когда чей-нибудь автомобиль, все равно чей, свернет в ворота, сразу дай мне знать по телефону. — Он сунул Карлу в руку пятидолларовую бумажку. — Ты меня понял?

— Да, мистер Энсон. — Человек старой закалки, он не улыбнулся и даже не моргнул глазом. Но Долли все-таки отвернула лицо в сторону.

Ключ был у Энсона. Войдя в дом, он наполнил два бокала — Долли свой даже не пригубила, — потом проверил, на месте ли телефон, и убедился, что звонок будет хорошо слышен из их комнат; обе были в нижнем этаже.

Через пять минут он постучался к Долли.

— Это ты, Энсон?

Он вошел и притворил за собой дверь. Долли лежала в постели, она нетерпеливо приподнялась, опершись локтем о подушку; он сел рядом и обнял ее.

— Энсон, милый.

Он не ответил.

— Энсон... Энсон! Я люблю тебя... Скажи, что и ты меня любишь. Скажи же скажи скорей, ну? Даже если это неправда!

Он не слушал. У нее над головой, на стене, ему и здесь чудилась фотография Паулы.

Он встал и подошел к стене. Рамка тускло поблескивала в трехкратно отраженном свете луны — а в ней, словно расплывчатое пятно, виделось лицо, которое, как он понял, было ему незнакомо. Сдерживая подступающие рыдания, он отвернулся и с отвращением посмотрел на худенькую девушку, лежавшую в постели.

— Все это вздор, — сказал он глухо. — Я сам не знаю, как это взбрело мне в голову. Я не люблю тебя, так что ты уж лучше подожди, пока кто-нибудь другой тебя полюбит. А я тебя совсем не люблю, понятно?

Он осекся и торопливо вышел из комнаты. Вернувшись в гостиную, он непослушными руками наливал себе выпить, как вдруг дверь открылась, и вошла его двоюродная сестра.

— Послушай, Энсон, мне сказали, что Долли нездоровится, — начала она озабоченно. — Мне сказали...

— Пустое, — перебил он ее, повысив голос, так, чтобы Долли могла его слышать из своей комнаты. — Просто она устала. Она уже легла.

Долгое время после этого Энсон верил, что милостивый господь иногда вмешивается в человеческие дела. Но Долли Каргер, которая всю ночь пролежала без сна, вперив взгляд в

потолок, с тех пор уже никогда ни во что не верила.

VI

Осенью, когда Долли вышла замуж, Энсон был в Лондоне, куда уехал по делам. Как и Паула, она вступила в брак неожиданно, но это подействовало на него иначе. Поначалу история показалась ему забавной и при мысли об этом хотелось смеяться. Потом это стало его удручать — он почувствовал себя стариком.

Во всем этом было что-то однообразное — а ведь Паула и Долли принадлежали к разным поколениям. Он чувствовал себя подобно сорокалетнему мужчине, который узнал, что дочь его старой возлюбленной вышла замуж. Он послал поздравительную телеграмму, как некогда Пауле, но теперь поздравления его были искренни — он совсем не верил, что Паула будет счастлива.

Вернувшись в Нью-Йорк, он стал одним из главных хозяев фирмы, и в связи с возросшей ответственностью у него теперь оставалось гораздо меньше досуга. Отказ страховой компании выдать ему полис на страхование жизни произвел на него такое впечатление, что он целый год не пил и утверждал, что здоровье его заметно укрепилось, хотя, я полагаю, скучал по дружескому застолию, где он, в духе Бенвенуто Челлини, обычно повествовал о своих похождениях, когда ему едва исполнилось двадцать лет, и разговоры эти так много значили в его жизни. Но он по-прежнему посещал Йельский клуб. Он был там выдающейся личностью, знаменитостью, и склонность его ровесников, вот уже семь лет как вышедших из университета, перебраться в более трезвенные заведения при нем заметно слабела.

Он в любой день находил время и душевные силы оказать любую помощь всякому, кто об этом просил. То, что он прежде делал из гордости и чувства собственного превосходства, превратилось в привычку и пристрастие. Всегда что-нибудь случалось — то неприятности у младшего брата в Нью-Хейвене, то ссора друга с женой, которых нужно было помирить, то предстояло пристроить на работу одного и помочь выгодно поместить деньги другому. Но особенно успешно он помогал преодолевать трудности недавно сочетавшимся супружеским парам. Молодожены боготворили его, и жилища их были для него едва ли не священные, он знал историю их любви, советовал, где и как жить, помнил по именам их малюток. К юным женам он относился с осторожностью: никогда не злоупотреблял тем доверием, которое мужья — что было весьма странно, если учесть его нескрываемую распущенность — постоянно ему оказывали.

Он стал вчуже радоваться счастливым бракам и почти так же сильно печалился о тех, которые не удавались. Что ни год, он становился свидетелем краха, который сам породил. Когда Паула развелась с мужем и почти сразу же вышла за другого бостонца, он целый день разговаривал со мной только о ней. Ему уж никого не полюбить так, как он любил Паулу, но он настойчиво уверял, что теперь она ему безразлична.

— Я никогда не женюсь, — сказал он в заключение. — Слишком много я насмотрелся на такие дела и знаю, что счастливый брак — величайшая редкость. К тому же я слишком стар.

Но он все-таки верил в брак. Как все мужчины, отпрыски счастливого, безоблачного союза, он верил истово — ничто из того, что ему довелось видеть, не могло поколебать этой веры, весь его цинизм при этом словно сдувало ветром. Но не менее искренне он верил в то, что он слишком стар. В двадцать восемь лет он хладнокровно примирился с мыслью о браке без романтической любви; он решительно остановил свой выбор на девушке из Нью-Йорка, принадлежавшей к его кругу, миловидной, умной, достойной, безупречной во всех отношениях — и распустил слух, будто влюблен в нее. Слова, которые он говорил Пауле с полнейшей искренностью, а другим девушкам — с подлинным изяществом, теперь он вообще не мог вымолвить без улыбки или с необходимой в подобных случаях убедительностью.

— Когда мне стукнет сорок, — говорил он друзьям, — я созрею для женитьбы. И тогда я найду себе какую-нибудь хористочку, как все прочие.

Однако же он упорно стремился преуспеть в своем намерении. Мать хотела, чтобы он женился при ее жизни, и теперь это было ему вполне по средствам — он приобрел постоянное место на бирже и имел двадцать пять тысяч годовых. Мысль была удачная: если его друзья, — а он по большей части проводил свободное время в том кругу, из которого вышли они с Долли, — по вечерам замыкались в домашней обстановке, он уже не наслаждался своей свободой. Порой он думал, что, пожалуй, зря не женился на Долли. Ведь даже Паула не любила его столь страстно, а теперь он все более убеждался, как редко на протяжении одной жизни можно встретить истинное чувство.

В то самое время, когда им начало овладевать такое настроение, до него дошла тревожная весть. Его тетушка Эдна, которой не было еще и сорока лет, открыто вступила в связь с одним юношей, запойным пьянчугой и заядлым распутником, неким Кэрри Слоуном. Об этом знали решительно все, за исключением Энсонова дяди Роберта, который вот уже пятнадцать лет долгие часы проводил за разговорами в клубе и безоглядно верил своей жене.

Весть эта достигала ушей Энсона вновь и вновь, порождая в нем все более сильную досаду. Былая привязанность к дяде частично воскресла в его душе, причем чувство это было не просто личным, а как бы знаменовало возврат к семейной солидарности, на которой зиждилась вся его гордость. Чутьем он угадал самое существенное во всей этой истории, а именно, что нужно охранить дядю от удара. Только теперь ему впервые довелось непрошено вмешаться в чужие дела, но он хорошо знал нрав своей тетушки Эдны и чувствовал, что успешней справится с этим, нежели окружной судья или сам дядя Роберт.

Дядя в это время пребывал в Хот-Спрингс. Энсон добрался до первоисточника слухов, убедился, что ошибки быть не может, после чего поехал к тетушке Эдне и пригласил ее позавтракать с ним на другое утро в ресторане отеля «Плаза». Что-то в его тоне, вероятно, ее испугало, потому что она согласилась не сразу, но он настоял на своем, предлагая выбрать любой день, так что в конце концов она уже не могла найти предлога для отказа.

Она пришла в назначенное время в вестибюль «Плазы», очаровательная, хотя уже слегка поблекшая сероглазая блондинка в мантии из русских соболей. Пять массивных колец с бриллиантами и изумрудами холодно сверкали на ее тонких пальцах. Энсону пришло в голову, что благодаря практической сметке его отца, а не дяди Роберта, были нажиты эти роскошные меха и драгоценности, целое богатство, которое поддерживало ее угасающую красоту.

Хотя Эдна сразу почувствовала его враждебное отношение к себе, прямого его захватила ее врасплох.

— Эдна, я изумлен твоим поведением в последнее время, — сказал он твердо и открыто. — Поначалу я просто отказывался верить.

— Чему именно? — спросила она с резкостью.

— Незачем притворяться передо мною, Эдна. Я говорю о Кэрри Слоуне. Помимо всех прочих соображений, я полагаю, что ты не вправе поступать с дядей Робертом...

— Послушай, Энсон, — начала она сердито, но он перебил ее повелительным тоном.

— ...и с твоими детьми подобным образом. Вот уже восемнадцать лет, как ты замужем, и в твоем возрасте пора бы поумнеть.

— Ты не смеешь так со мной разговаривать. Ты...

— Нет, смею. Дядя Роберт всегда был мне верным другом. — Энсон был растроган до глубины души. Он искренне отчаивался за дядю и троих малолетних братьев и сестер.

Эдна встала, не притронувшись к своему многослойному коктейлю.

— Трудно придумать что-либо глупее...

— Ладно, если тебе не угодно меня слушать, я поеду к дяде Роберту и расскажу ему правду — все равно рано или поздно он об этом узнает. А затем я отправлюсь к старому Мозесу Слоуну.

Эдна снова тяжело опустилась на стул.

— Говори потише, — взмолилась она. Глаза ее затуманились слезами. — У тебя такой громкий голос. Право, ты мог бы выбрать не столь людное место, чтобы предъявить мне эти безумные обвинения.

Он промолчал.

— Ах, я знаю, ты никогда меня не любил, — продолжала она. — И вот теперь ты пользуешься какой-то нелепой сплетней, чтобы лишить меня единственного достойного друга, которого я приобрела впервые за всю свою жизнь. Что я тебе сделала, чем навлекла на себя такую ненависть?

Энсон по-прежнему выжидал. Он знал, что сейчас она начнет взывать к его рыцарским чувствам, к состраданию и, наконец, к его несравненной житейской мудрости — а когда он прервет все эти излияния, она пустится на откровенность, и тогда между ними произойдет решительная схватка. Молчаливый, непроницаемый, постоянно прибегая к своему испытанному оружию, которым было его праведное негодование, он запугал ее, довел до отчаянного неистовства еще прежде, чем завтрак кончился. В два часа она вынула зеркальце и носовой платок, утерла со щек следы пролитых слез и припудрила морщинки на лице. Она предложила еще раз поговорить с ним у себя дома в пять вечера.

Когда он приехал, она лежала в шезлонге, покрытом на летнее время кретоном, и в глазах ее, казалось, еще стояли слезы, которые он вызвал за завтраком. А потом он ощутил тревожное, мрачное присутствие Кэрри Слоуна у холодного камина.

— Что это вам взбрело в голову? — сразу же напустился на него Слоун. Насколько я понял, вы пригласили Эдну к завтраку и стали угрожать ей, ссылаясь на какую-то пустую сплетню.

Энсон выпрямился.

— У меня есть основания полагать, что это не просто сплетня.

— Я слышал, вы намерены преподнести ее Роберту Хантеру и моему папаше.

Энсон кивнул.

— Либо вы все прекратите — либо я так и сделаю, — сказал он.

— А какое вам, черт вас побери, Хантер, дело до этого?

— Держите себя в руках, Кэрри, — сказала Эдна встревоженно. — Надо только объяснить ему, как нелепо...

— Прежде всего, это порочит мое доброе имя, — перебил ее Энсон. — Вот и все, что касается вас, Кэрри.

— Эдна не член вашей семьи.

— Совсем напротив, смею заверить! — Он сердился все больше. — Позвольте... Этот дом и эти кольца, которые она носит, достались ей благодаря редкому уму моего отца. Когда дядя Роберт женился на ней, у нее гроша ломаного за душою не было.

Все разом поглядели на кольца так, словно они играли важную роль в создавшемся положении.

— Думается мне, что перед нами не единственные кольца на свете, — сказал Слоун.

— Ах, это же нелепо! — вскричала Эдна. — Энсон, да выслушаешь ли ты меня наконец? Я узнала, с чего началась вся эта глупая история. Я уволила горничную, а она пошла прямо к Чиличевым — эти русские всегда выспрашивают разные подробности у слуг, а потом вкладывают в них лживый смысл. — Она сердито стукнула кулаком по столу. — И это после того, как Роберт отдал им наш лимузин на целый месяц прошлой зимой, когда мы ездили на юг...

— Видите? — спросил Слоун с живостью. — Горничная дала маху. Она знала, что мы с Эдной друзья, и насплетничала Чиличевым. А у них в России считается, что если мужчина и женщина...

Он стал распространяться на эту тему и даже подверг анализу общественные отношения у кавказских народностей.

— Если дело обстоит именно так, лучше всего объяснить обстоятельства дяде Роберту, — сказал Энсон сухо, — чтобы, когда слухи дойдут до него, он был

заблаговременно предупрежден об их ложности.

Взяв ту же тактику, которой он держался с Эдной еще во время завтрака, он предоставил им возможность немедленно объяснить все. Он достоверно знал, что они виноваты, и вскоре перейдут черту, разделяющую объяснение и самооправдание и обвинят себя сами гораздо неоспоримей, чем это удалось бы ему. Около семи вечера они предприняли отчаянный шаг и сказали всю правду — пренебрежение со стороны Роберта Хантера, пустая жизнь Эдны, случайный флирт, из которого вспыхнула пламенная страсть, — но, подобно многим правдивым историям, эта, к несчастью, была стара, как мир, и ее одряхлевшее тело беспомощно билось о непроницаемую броню воли Энсона. Угроза пойти к отцу Слоуна обрекла их на беспомощность, поскольку старик, перекупщик хлопка из Алабамы, ныне ушедший на покой, был закоренелым фундаменталистом² и держал сына в руках, определив ему весьма скудное содержание и пригрозив, что при следующей же выходке перестанет выплачивать это содержание навсегда.

Они пообедили в маленьком французском ресторанчике, где продолжили пререкания, — был миг, когда Слоун даже пригрозил насилием, но в скором времени оба уже молили его хоть немного повременить. Но Энсон оставался непоколебим. Он видел, что Эдна теряет уверенность, и нельзя никак допустить, чтобы дух ее укрепило хотя бы краткое возобновление их страсти.

В два часа в маленьком ночном клубе на Пятьдесят Третьей улице нервы Эдны наконец не выдержали, и она стала просить отвезти ее домой. Слоун весь вечер неумеренно пил, потом слюняво расчувствовался, опершись локтями о стол, и даже слегка всплакнул, закрыв лицо руками. Энсон тотчас поставил им свои условия. Слоун должен на полгода покинуть город не позже, чем через двое суток. Когда он вернется, роман не будет возобновлен, но к концу года Эдна может, если на то будет ее желание, попросить у Роберта Хантера развода и прибегнуть к обычной в подобных случаях процедуре.

Тут он помолчал, созерцая их безмолвные лица перед тем, как сказать последнее, решающее слово.

— Конечно, есть и другой путь, — произнес он, растягивая слова, — если Эдна готова бросить своих детей, я решительно ничем не могу помешать вам бежать вдвоем куда угодно.

— Я хочу домой! — снова возопила Эдна. — Ах, неужто тебе мало того, что ты сделал с нами за один-единственный день?

На улице было темно, лишь с Шестой авеню, на углу, струился тусклый, мерцающий свет. И в этом свете любовники последний раз взглянули друг другу в лица, искаженные, словно трагические маски, сознавая, что время упущено и у них не достанет сил отворотить вечную разлуку. Слоун вдруг кинулся прочь и скрылся в конце улицы, а Энсон тряхнул за плечо спящего шофера такси.

Время близилось к четырем утра, после поливки по тротуарам Пятой авеню, в призрачном свете, неспешно струилась вода, и две ночные шлюхи, словно бесплотные тени, маячили у темного фасада храма святого Фомы. Вот промелькнула ограда пустынного Центрального парка, где Энсон так часто играл мальчишкой, а дальше простирались перекрестные улицы под возрастающими номерами, которые значили не меньше названий. Это мой город, думал он, здесь мое семейство процветает вот уже полтора столетия. Никакие перемены не могут повлиять на прочность его положения, поскольку всякая перемена сама по себе неизбежно укрепляет ту связь, посредством коей он и все, носящие его фамилию, достигли единения с духом Нью-Йорка. Находчивость и сила воли — ведь будь он менее тверд, угрозы его не значили бы ровным счетом ничего — смыли пятно, едва не покрывшее позором имя его дяди, репутацию всей семьи и даже этой дрожащей женщины, которая сидела рядом с ним в автомобиле.

² Фундаментализм — крайне консервативное учение в протестантстве, требующее беспрекословного приятия всего Священного писания в качестве основы веры.

Наутро труп Кэрри Слоуна нашли на нижнем уступе опоры под мостом Куинсборо. Во тьме, охваченный смятением, он принял чернеющий внизу уступ за темную воду, но через мгновение ему было уже все равно — разве только он надеялся умереть с последней мыслью об Эдне и выкрикнуть ее имя, беспомощно барахтаясь в воде.

VII

Энсону и в голову не пришло обвинить себя в этом происшествии — стечение обстоятельств, которое привело к такому концу, отнюдь от него не зависело. Но правый неизбежно страдает наряду с виноватым, и он обнаружил, что его самая старая и в известном смысле очень дорогая для него дружба оборвалась. Он так и не узнал, какую лживую историю преподнесла мужу Эдна, но в доме дяди его более не принимали.

В самый канун рождества миссис Хантер переселилась в рай для избранных чад епископальной церкви, и Энсон официально стал главой семьи. Тетка, вот уже много лет жившая у них на положении старой девы, вела хозяйство и беспомощно пыталась блюсти добродетель младших сестер. Все дети были менее самостоятельны, нежели Энсон, и не обладали особыми достоинствами или недостатками. Смерть миссис Хантер ненадолго отсрочила выезд в свет одной дочери и замужество другой. Помимо того, смерть ее нанесла им всем некий серьезный материальный урон, поскольку теперь мирному, бездумному преуспеянию Хантеров пришел конец.

Во-первых, капитал уже дважды пострадал от налогов, переходя по наследству, и в скором будущем подлежал разделу между шестью наследниками, а потому не мог более считаться истинно солидным. Энсон замечал за своими младшими сестрами склонность уважительно отзываться о семьях, которые никому не были известны каких-нибудь двадцать лет назад. Его чувство первенства не находило у них отклика — порой они проявляли пошлый снобизм, но и только. Во-вторых, им осталось прожить в коннектикутской усадьбе последнее лето; слишком громкие протесты раздавались в семье: «Кому охота губить лучшие месяцы года в глуши этого мертвого захолустья?» Он уступил с крайней неохотой осенью дом будет продан, а на следующее лето они арендуют усадьбу поменьше в округе Уэстчестер. Это был шаг вниз от дорогостоящей простоты, которую так ценил его отец, и хотя он сочувствовал возмущению, вместе с тем оно вызывало в нем неудовольствие; при жизни матери он ездил туда на субботу и воскресенье, по крайней мере, два раза в месяц — даже в самый разгар летних увеселений.

Но все же сам он был неотделим от этих новых веяний, и его могучий инстинкт жизни в двадцать лет отвратил его от пустых, мертвых обрядов этого бесплодного, праздного класса. Он не понимал всего с полной ясностью, и все же чувствовал, что в обществе существует некая норма, установленный образец. Но нет никакой общественной нормы, и едва ли была когда-либо истинная норма в Нью-Йорке. Те немногие, которые все еще сохраняли платежеспособность и рвались проникнуть в избранный круг, достигали цели лишь для того, чтобы обнаружить свою общественную несамостоятельность или же, что еще тревожнее, свое подчинение той богеме, от которой они когда-то бежали, а теперь она возвысилась над ними.

В двадцать девять лет Энсон все острее ощущал свое одиночество. Он не сомневался, что уже никогда не женится. Свадьбы, где он был шафером или дружкой, не имели числа — дома у него целый ящик был набит галстуками, которые он надевал по случаю той или иной свадьбы, и галстуками, уцелевшими после романов, которые не продолжались и года, память о супружеских парах, которые навсегда ушли из его жизни. Булавки для галстуков, золоченые карандашники, запонки, подарки от целого поколения женихов побывали в его шкапулке и затерялись — но с каждым свадебным торжеством ему становилось все трудней и трудней вообразить себя самого на месте жениха. Под сердечностью, которую он выказывал на всех этих свадьбах, скрывалась отчаянная безнадежность.

На пороге тридцатилетия он был глубоко удручен тем, что эти свадьбы, особенно в

последнее время, отнимали у него друзей. С огорчением замечал он, как распадаются и рвутся многие дружеские связи. Товарищи по университету — а именно к ним он был особенно привязан и в их среде чаще всего проводил досуг старательно его избегали. В большинстве своем они погрязли в семейных заботах, двое умерли, один жил за границей, еще один переехал в Голливуд, где сочинял сценарии для фильмов, которые Энсон неизменно смотрел.

Однако в большинстве они вели весьма запутанную семейную жизнь и состояли членами каких-нибудь тихих пригородных клубов, куда ездили по сезонным билетам, и отчуждение с ними он ощущал особенно остро.

На заре их супружеской жизни он всем был нужен; они спрашивали у него совета насчет своих скудных финансов, он рассеивал их сомнения, стоит ли заводить ребенка, имея всего лишь две комнаты с ванной, тем более что он воплощал в себе огромный внешний мир. Но теперь денежные затруднения остались позади, и ребенок, рождения которого ожидали с таким страхом, претворился во всепоглощающую семью. Они всегда были рады повидать старину Энсона, но при этом щегольски наряжались и стремились произвести на него впечатление своей нынешней значительностью, а житейские неприятности оставляли при себе. Он стал им не нужен.

За несколько недель до дня его тридцатилетия женился самый давний и близкий из друзей Энсона. Сам Энсон был, как обычно, шафером, как обычно, подарил новобрачным серебряный чайный сервиз и, как обычно, проводил их в свадебную «одиссею». Дело было в пятницу, в жаркий майский день, и, уходя с пристани, он понял, что наступает суббота и до утра понедельника он совершенно свободен.

— Куда же идти? — спросил он себя.

В Йельский клуб, разумеется; до обеда сыграть в бридж, потом выпить с кем-нибудь четыре-пять крепких коктейлей и скоротать приятный, праздный вечерок. Он жалел, что там не будет сегодняшнего жениха, — в такие вечера они всегда любили изрядно хватить: любили завлекать женщин и избавляться от них, умели уделить всякой девушке по заслугам от своего утонченного гедонизма. Их общество сложилось давно: определенных девушек возили в определенные места и, развлекая их, тратили умеренную сумму; выпивали, но не слишком много, а утром в определенное время вставали и отправлялись по домам. При этом избегали всяких студентов, прихлебателей, возможных невест, драк, излишних чувств и неблагоприятных поступков. Вот так это и делалось. Все прочее считали пустым мотовством.

Наутро никогда не приходилось горько сожалеть — не было принято никаких бесповоротных решений, а если случалось хватить лишнего, то, не говоря ни слова, на несколько дней зарекались пить и ждали, пока скука и истрепанные нервы не повлекут их в то же самое общество.

Вестибюль Йельского клуба был безлюден. В баре три совсем юные студенточки взглянули на пего мельком и безо всякого интереса.

— Привет, Оскар, — сказал он бармену. — Мистер Кэхилл сегодня не заглядывал?

— Мистер Кэхилл уехал в Нью-Хейвен.

— А... вот как?

— На футбольный матч. Туда многие едут.

Энсон снова заглянул в вестибюль, поразмыслил немного, потом вышел на улицу и направился к Пятой авеню. Из широкого окна клуба, где он состоял членом, но не бывал уже лет пять, на него глядел какой-то седоволосый человек с водянистыми глазами. Энсон поспешно отвернулся — вид этого старца, сидящего праздно, в гордом одиночестве, действовал на него угнетающе. Он остановился, повернул назад и пошел на Сорок Седьмую улицу, где жил Тик Уорден. Тик с женой некогда были его самыми близкими друзьями — к ним он часто заходил с Долли Каргер в разгар романа с нею. Но потом Тик пристрастился к спиртному, и его жена всюду говорила, что Энсон дурно на него влияет. Слова эти дошли до Энсона со значительным преувеличением — а когда дело наконец выяснилось, хрупкое

очарование дружеской близости было нарушено раз и навсегда.

— Мистер Уорден дома? — осведомился он.

— Они уехали за город.

Это неожиданно ранило его душу. Они уехали за город и не дали ему знать. Еще года два назад он точно знал бы число и час их отъезда, непременно пришел бы выпить с ними на прощанье и условился их навестить по приезду. А теперь вот они уехали без предупреждения.

Энсон посмотрел на часы и решил было провести субботу и воскресенье в домашнем кругу, но оставался лишь местный поезд, который будет тащиться по этой нестерпимой жаре добрых три часа. А завтрашний день провести за городом и воскресенье тоже — право, ему вовсе не улыбалось играть на веранде в бридж с благовоспитанными юнцами, а после обеда танцевать в захолустной гостинице, ничтожном подобии развлекательного заведения, которое его отец когда-то ценил не по заслугам.

— Нет уж... — сказал он себе. — Нет.

Он был горделивый, видный собою молодой человек, уже несколько располневший, но иных следов беспутная жизнь на нем не оставила. Он мог бы показаться неким столпом — порой, отнюдь не столпом общества, порой не иначе, как таковым, — столпом законности, религиозности. Несколько минут он неподвижно стоял на тротуаре перед жилым домом на Сорок Седьмой улице; пожалуй, впервые в жизни ему решительно нечего было делать.

Потом он бодро зашагал по Пятой авеню, словно вдруг вспомнил, что у него там назначено важное свидание. Необходимость притворяться есть одна из немногих характерных черт, которые объединяют нас с собаками, и, думается мне, Энсон в тот день походил на породистого пса, какового постигло разочарование у знакомой двери. Он отправился к Нику, некогда знаменитому бармену, который прежде часто обслуживал дружеские вечеринки, а теперь продавал безалкогольное шампанское в погребе, каких много в подвальных лабиринтах отеля «Плаза».

— Ник, — спросил он, — что же это кругом творится?

— Как вымерли все, — ответил Ник.

— Приготовь мне коктейль из виски с лимоном. — Энсон протянул через стойку пинтовую бутылку. — А знаешь, Ник, девушки бывают разные: у меня была одна крошка в Бруклине, так она на прошлой неделе вышла замуж и мне даже не сообщила.

— Да неужели? Ха-ха-ха, — сказал Ник уклончиво. — Стало быть, поднесла сюрпризец.

— Вот именно, — сказал Энсон. — Накануне я с ней развлекался.

— Ха-ха-ха, — отозвался Ник. — Ха-ха-ха.

— Помнишь, Ник, ту свадьбу в Хот-Спрингс, когда я заставил официантов и весь оркестр распевать «Боже, храни короля»?

— Где же это было, мистер Хантер? — спросил Ник задумчиво и с сомнением. Кажется, на...

— В следующий раз они снова предложили свои услуги, а я никак не мог припомнить, сколько им заплатил, — продолжал Энсон.

— ...кажется, на свадьбе мистера Тренхолма.

— Такого я не знаю, — сказал Энсон решительно. Ему было обидно, что чья-то незнакомая фамилия вторглась в его воспоминания; Ник это заметил.

— Не-е... — поправился он. — Я ошибся. Это был кто-то из ваших Брейкинс... то бишь, Бейкер...

— Буян Бейкер, — подхватил Энсон с живостью. — А когда все было кончено, они затолкали меня в катафалк, завалили цветами и увезли.

— Ха-ха-ха, — отозвался Ник. — Ха-ха-ха.

Но Ник не мог долго притворяться старым, верным слугою семьи, и Энсон снова поплелся в вестибюль. Он осмотрелся, встретился глазами с незнакомым портье за конторкой, взглянул на цветок, оставшийся от утренней свадьбы в медной плевательнице.

Потом вышел и медленно побрел напрямик, через Колумбус Серкл, в ту сторону, где садилось кроваво-красное солнце. Вдруг он круто повернул назад, снова вошел в отель и скрылся в телефонной будке.

Позднее он говорил, что в тот день трижды пытался дозвониться до меня и решительно до всякого из своих знакомых, кто мог оказаться в Нью-Йорке, вплоть до мужчин и женщин, с которыми не виделся много лет, и до некоей натурщицы, подружки студенческой поры, чей выпцветший номер сохранился в его записной книжке, — с Центральной телефонной станции ему сообщили, что коммутатор давно уже ликвидирован. Наконец в своих поисках он преодолел даже городскую черту и имел несколько неприятных разговоров с норовистыми дворецкими и горничными. Такого-то нет, он уехал на прогулку, купаться, играть в гольф, отплыл в Европу еще на прошлой неделе. Прикажете передать, кто звонил?

Ему нестерпима была мысль провести этот вечер вне общества — заветные планы насладиться праздностью теряют всякую прелесть, когда поневоле остаешься в одиночестве. Конечно, всегда можно отыскать подходящих девиц, но те, которых он знал, вдруг куда-то исчезли, а провести вечер в Нью-Йорке с незнакомой продажной женщиной даже не приходило ему в голову — он счел бы это постыдной тайной, утешью, достойной какого-нибудь коммивояжера в чужом городе.

Энсон оплатил счет за разговоры — телефонистка безуспешно пыталась подшутить над величиной суммы — и вторично в этот день решил покинуть отель «Плаза», идя куда глаза глядят. У вращающейся двери стояла боком к свету женщина, очевидно, беременная, — когда дверь поворачивалась, на плечах ее колыхалась тонкая бежевая накидка, и всякий раз она нетерпеливо поворачивала голову, словно устала ждать. При первом же взгляде на нее что-то мучительно знакомое потрясло его до глубины души, но только приблизясь к ней на пять шагов, он понял, что перед ним Паула.

— Господи, это же Энсон Хантер!

Сердце его упало.

— Господи, это же Паула...

— Право же, это просто поразительно. Я никак не могу поверить, Энсон!

Она схватила его за обе руки, и он, увидев такую свободу обращения, понял, что воспоминания, связанные с ним, утратили для нее горечь. Но не для него он ощутил, как прежнее чувство, которое он некогда к ней питал, вновь закрадывается в душу, причем возвращается и та нежность, с какой он относился к ее жизнерадостности, которую боялся омрачить.

— Мы проводим лето в Райе. Питу пришлось приехать по делам сюда, на Восток, — ты, конечно же, знаешь, что я теперь миссис Питер Хэгerti, — ну так вот, мы взяли с собой детей и арендовали дом здесь, поблизости. Ты непременно должен к нам навеститься.

— Но удобно ли это? — спросил он напрямик. — И когда я могу заглянуть?

— Когда хочешь. А вот и Пит.

Дверь повернулась, пропуская рослого мужчину лет тридцати со смуглым лицом и коротко подстриженными усами. Безупречная осанка выгодно отличала его от Энсона, чья полнота была особенно заметна под узкой визиткой.

— Напрасно ты стоишь, — сказал Хэгerti жене. — Давайте-ка присядем вон там.

Он указал на кресла в вестибюле, но Паула медлила в нерешительности.

— Лучше я поеду домой, — сказала она. — Энсон, почему бы... почему бы тебе не пообедать у нас сегодня вечером? Правда, мы только-только устраиваемся, но если тебя это не смущает...

Хэгerti сердечно поддержал приглашение.

— Останетесь у нас до утра.

Их автомобиль ожидал у подъезда отеля, и Паула утомленно опустила на шелковые подушки.

— Мне так много нужно тебе сказать, — проговорила она, — что это, кажется, безнадежно.

— Я хочу знать, как ты живешь.

— Ну, — она улыбнулась Хэгерти, — это тоже разговор долгий. У меня трое детей — от первого брака. Старшему пять лет, среднему четыре, младшему три. Она улыбнулась снова. — Как видишь, я не теряла времени понапрасну, не так ли?

— Все мальчики?

— Мальчик и две девочки. А потом — потом много было всякого, год назад в Париже я развелась и вышла замуж за Пита. Вот и все — могу только добавить, что я бесконечно счастлива.

В Райе они подъехали к большому дому близ Приморского клуба, и навстречу выбежали трое темноволосых, худеньких ребяташек, которые вырвались от английской гувернантки и бросились к автомобилю с невнятными криками. Рассеянно и с трудом Паула обняла каждого по очереди, но они приняли эту ласку сдержанно, поскольку им, видимо, было ведено не виснуть на маме. Даже рядом с их свежими личиками кожа Паулы ничуть не казалась увядшей, — при всей ее физической вялости она выглядела моложе, чем в день их последней встречи в Палм-Бич семь лет назад.

За обедом она была немногословна, а потом, слушая радио, лежала на диване с закрытыми глазами, и Энсон уже подумывал, не стеснительно ли его присутствие в столь позднее время. Но в девять часов, когда Хэгерти встал и любезно сказал, что оставит их ненадолго вдвоем, она понемногу разговорилась и стала рассказывать о своем прошлом.

— Первый мой ребенок, — сказала она, — та старшая девчушка, которую мы зовем Милочкой, — я чуть не умерла, когда узнала, что мне предстоит ее родить, ведь Лоуэлл был для меня совсем чужим. Мне даже не верилось, что у меня может быть ребенок. Я написала тебе письмо, но тут же его изорвала. Ах, Энсон, ты так дурно со мной поступил.

Снова меж ними началось прежнее общение, которое то сближало, то разделяло их. В душе Энсона вдруг ожили воспоминания.

— Ведь ты, кажется, был помолвлен? — спросила она. — С девушкой по имени Долли, не помню ее фамилии.

— Я никогда не был помолвлен. Собирался один раз, но никогда не любил никого, кроме тебя, Паула.

— Полно тебе, — отозвалась она. И продолжала после короткого молчания: Теперь мне впервые хочется иметь ребенка. Понимаешь, я влюблена — наконец-то.

Он не ответил, потрясенный ее предательской забывчивостью. Должно быть, она заметила, что это «наконец-то» задело его за живое, а потому добавила:

— Ты меня тогда очаровал, Энсон, ты мог сделать со мной все, что угодно. Но мы никогда не были бы счастливы. Я слишком глупа для тебя. Я не люблю все усложнять, как ты. — Паула снова помолчала. — Ты никогда не обзаведешься семьей, — сказала она.

Эти слова поразили его, как удар в спину, — из всех обвинений этого он решительно не заслуживал.

— Я мог бы обзавестись семьей, будь женщины иными, — сказал он. — Если бы я не видел их насквозь, если бы женщины не терзали нас за других женщин, если бы у них была хоть капля гордости. Если бы только я мог уснуть на время и проснуться в кругу настоящей семьи — да ведь я для этого и создан, Паула, женщины всегда это чувствовали, потому-то я им и нравился. Просто я уже не могу выносить все, что этому предшествует.

Хэгерти вернулся около одиннадцати; когда они выпили виски, Паула поднялась и сказала, что ей пора спать. Она подошла к мужу.

— Где ты был, дорогой? — спросила она.

— Мы выпили по стаканчику с Эдом Сондерсом.

— Я беспокоилась. Думала, может, ты сбежал от меня.

Она прильнула головой к его груди.

— Он такой милый, правда, Энсон? — спросила она.

— Необычайно, — отозвался Энсон со смехом. Она подняла голову и взглянула на мужа.

— Ну, я готова, — сказала она. Потом обернулась к Энсону. — Хочешь увидеть наш семейный гимнастический трюк?

— Да, — сказал он, притворяясь заинтересованным.

— Ладно. Алле-гоп!

Хэгерти легко подхватил ее на руки.

— Это называется наш семейный акробатический трюк, — сказала Паула. — Он относит меня наверх. Ну разве не мило с его стороны?

— Да, — сказал Энсон.

Хэгерти слегка наклонил голову и коснулся щекою лица Паулы.

— И я его люблю, — сказала она. — Ведь я тебе уже говорила об этом, правда, Энсон?

— Да, — сказал он.

— Он самый славный на свете, — ведь правда, мой дорогой? Ну, спокойной ночи. Алле-гоп! Видишь, какой он сильный?

— Да, — сказал Энсон.

— Я там положила тебе пижаму Пита. А теперь сладких сновидений — увидимся за завтраком.

— Да, — сказал Энсон.

VIII

Старшие компаньоны фирмы настаивали, чтобы Энсон уехал на лето за границу. Вот уже целых семь лет он, в сущности, не отдыхал, говорили они. Он засиделся на месте, надо переменить обстановку. Но Энсон упорно отнекивался.

— Если я уеду, — заявил он, — то не возвращусь никогда.

— Но это же глупо, старина. Вернешься через три месяца, и всю твою хандру как рукой снимет. Будешь здоров, как прежде.

— Нет. — Он упрямо качал головой. — Если я прерву работу, то уже больше к ней не вернусь. Прервать работу означает сдаться, а это конец всему.

— Давай все же рискнем. Если хочешь, уезжай на полгода, — мы не боимся, что ты нас покинешь. Без работы жизнь будет тебе не мила.

Они взяли на себя все хлопоты, связанные с поездкой. Ведь они любили Энсона, — его любили все, — и свершившаяся с ним перемена нависла над фирмой, как туча.

Рвение, которое неизменно сопровождало всякому делу, участливое отношение к равным и подчиненным, неизменная заразительная бодрость — за последние четыре месяца нервное перенапряжение заглушило эти черты, и они сменились унылой суетливостью сорокалетнего человека. При заключении всякой сделки он стал теперь лишь обузой и бременем.

— Если я уеду, то не вернусь никогда, — сказал он. За три дня до его отплытия Паула Леджендр-Хэгерти умерла во время родов. Я тогда часто его видел, потому что мы собирались вместе плыть через океан, но впервые за долгие годы нашей дружбы он ни словом не обмолвился со мною о своих чувствах, и сам я не замечал в нем ни малейших признаков душевного волнения. Больше всего его заботило, что ему уже тридцать лет, — во всяком разговоре он искал случая напомнить об этом, а потом умолкал, словно полагая, что слова эти вызывают у собеседника череду мыслей, которые красноречиво говорят сами за себя. Подобно его компаньонам, я был поражен происшедшей в нем переменой и обрадовался, когда пароход «Париж» пустился в путь по водной стихии, разделяющей континенты, и его заботы остались позади.

— Не выпить ли нам? — предложил он.

Мы пошли в бар с чувством приподнятости, обычным в день отъезда, и заказали четыре «мартини». После первого коктейля он вдруг преобразился неожиданно простер руку и хлопнул меня по колену с веселым оживлением, какого я не замечал за ним уже много месяцев.

— Ты обратил внимание на ту девушку в красном берете? — спросил он. — У нее румяные щечки, и провожали ее двое полицейских сыщиков.

— Она и впрямь хорошенькая, — согласился я.

— Я справился по списку у помощника капитана и узнал, что она здесь без сопровождающих. Сейчас позову стюарда. Вечером мы с ней пообедаем.

Вскоре он меня покинул, а через час уже прогуливался по палубе в ее обществе, разговаривая с нею звучным, звонким голосом. Ее красный берет ярким пятном выделялся на фоне зеленовато-серого моря, и время от времени она стремительно вскидывала голову с улыбкой, выражавшей удовольствие, любопытство и предвкушение чего-то нового. За обедом мы пили шампанское и славно повеселились — а потом Энсон играл в бильярд с завидным увлечением, и некоторые пассажиры, видевшие нас вместе, расспрашивали меня, кто он такой. Когда я уходил спать, он и девушка болтали и смеялись на диванчика в баре.

За время плаванья я видел его реже, чем мне хотелось бы. Он пробовал сколотить компанию из четверых, но для меня дамы не нашлось, и мы с ним встречались только за столом. Правда, иногда он пил коктейли в баре и рассказывал мне про девушку в красном берете и про все перипетии их знакомства, приукрашая их, по своему обыкновению, причудливыми и забавными подробностями, и я радовался, что он снова стал самим собой или, по крайней мере, таким, каким я его знал и понимал. Думается мне, он бывал счастлив, только когда какая-нибудь женщина в него влюблялась, тянулась к нему, как металлические опилки тянутся к магниту, способствуя его самовыражению, что-то ему обещая, не знаю, что именно. Быть может, это обещало ему, что на свете всегда будут женщины, готовые пожертвовать самой светлой, самой свежей и чудесной порой своей жизни, дабы хранить и оберегать чувство превосходства, которое он лелеял в душе.

РЕШЕНИЕ

I

Как-то однажды, спустя примерно год после свадьбы, Жаклин Матер зашла к своему мужу в агентство по продаже скобяных изделий, работой которого он более-менее успешно управлял. У приоткрытой двери его кабинета она остановилась и сказала: «Ой, извините», поскольку стала свидетельницей довольно обиденной, но в то же время весьма интригующей сцены. Перед ее мужем стоял молодой человек по имени Бронсон, которого Жаклин немного знала; муж приподнялся из-за своего стола. Бронсон схватил его руку и с чувством пожал ее — он был взволнован. Услышав в дверях шаги, оба обернулись, и Жаклин заметила, что у Бронсона были красные глаза.

Спустя мгновение он вышел, бросив, проходя мимо Жаклин, смущенное «здравствуйте». Она проскользнула в кабинет мужа.

— Что это здесь делал Эд Бронсон? — не скрывая любопытства, сразу же спросила она.

Чуть прищутив свои серые глаза, Джим Матер улыбнулся жене и осторожно усадил ее на край стола.

— Он просто забежал на минутку, — с готовностью ответил он. — Как дела дома?

— Дома все в порядке. Так чего же он хотел? — настаивала она.

— Ему просто нужно было кое о чем со мной поговорить.

— О чем же?

— Да ничего особенного. Обычный деловой разговор.

— А почему у него были красные глаза?

— Красные глаза? — Он невинно взглянул на жену, и оба неожиданно рассмеялись.

Жаклин поднялась и, обойдя вокруг стола, плюхнулась в его вращающееся кресло.

— Лучше признавайся, — весело заявила она. — Все равно никуда не уйду, пока не скажешь.

— Ну, — он поколебался, нахмурился, — он просил меня об одной услуге.

Жаклин сразу поняла, вернее, интуитивно почувствовала, о чем идет речь.

— Ах, вот что! — Ее голос немного напрягся. — Ты дал ему взаймы.

— Совсем немного.

— Сколько же?

— Всего три сотни.

— Всего три сотни, — в голосе Жаклин зазвучала холодная сталь. — Скажи мне, Джим, сколько мы с тобой тратим в месяц?

— Ну сколько... Что-нибудь пять-шесть сотен, — он немного поерзал. — Слушай, Джекки, Бронсон деньги вернет. Просто у него сейчас небольшие затруднения. Его здорово подвела одна девушка из Вудмера...

— Зато всем известно, какой ты безотказный, вот он и пришел к тебе, — перебила Жаклин.

— Это неправда, — на всякий случай ответил он.

— Тебе не приходило в голову, что я сама могла бы истратить эти три сотни? — спросила она. — Помнишь, как мы в ноябре собирались поехать в Нью-Йорк и у нас не хватило денег?

И без того слабая улыбка теперь совсем исчезла с лица Матера. Он подошел к двери кабинета и захлопнул ее.

— Слушай, Джекки. Ты должна понять следующее. Бронсон — один из тех, с кем я почти ежедневно встречаюсь за ленчем. В детстве мы вместе играли, мы вместе ходили в школу. Неужели ты не понимаешь, что я как раз тот человек, к которому он может обратиться в трудную минуту? И именно поэтому я не мог ему отказать.

Жаклин повела плечами, как бы стряхивая с себя эти объяснения.

— Брось ты, — ответила она резко. — Я знаю только, что хорошего от него ждать нечего. Вечно он под градусом, работать толком нигде не работает. Это, конечно, дело его, а вот жить за твой счет он не имеет никакого права.

Они сидели теперь друг против друга по разные стороны стола, и оба говорили тоном человека, разговаривающего с ребенком. И он, и она начинали фразу со слова «послушай», а на лицах было выражение смиренного терпения.

— Если ты отказываешься понимать, я ничего не могу поделать, — по прошествии пятнадцати минут заключил Матер, и голос его звучал чуть раздраженно. — Между мужчинами существуют особые обязательства, и их надо выполнять. И дело тут не просто в том, одолжить деньги или нет, — не забывай, что именно в моей работе очень многое зависит от расположения деловых людей.

Говоря это, Матер надевал на себя пальто. Вместе с женой он отправлялся домой обедать. Ехать приходилось трамваем, потому что автомобиля у них сейчас не было — старый недавно продали, а новый собирались завести только весной.

К несчастью, как раз в этот день трамвай сыграл с ними злую шутку. При других обстоятельствах перебранка в конторе была бы забыта, но история, происшедшая в трамвае, подлила масла в огонь, и предмет их ссоры вызвал серьезные осложнения хронического характера.

Жаклин и Джим сели на свободные места в передней части вагона. Стоял конец февраля, и нетерпеливое солнце бесцеремонно превращало потемневшие уличные сугробы в грязные ручейки, весело журчащие по сточным желобкам. Из-за погоды народу в трамвае было меньше обычного — никто не стоял. Водитель даже открыл свое окно, и неокрепший весенний ветерок выгонял из вагона остатки зимнего воздуха. Жаклин вдруг подумала, что сидящий рядом с ней муж гораздо благороднее и добрее многих других мужчин. От этой мысли стало приятнее на душе. Глупо пытаться его переделать. Может быть, Бронсон в конце концов вернет деньги, да и в любом случае триста долларов — не ахти какое состояние. Ее размышления были прерваны толпой пассажиров, только что ворвавшихся в трамвай и теперь проталкивающихся по проходу. «Только бы они прикрывали рот рукой,

когда кашляют — подумала Жаклин. — Скорее бы уж Джим покупал новую машину, а то в этих трамваях можно черт знает какую болезнь подхватить».

Она повернулась к Джиму обсудить этот вопрос, но Джим только что встал, уступая место женщине, стоявшей рядом с ним в проходе. Женщина, буркнув что-то неопределенное, села на освободившееся место. Жаклин нахмурилась.

Женщина эта, лет пятидесяти на вид, была чудовищно огромной. Когда она только уселась, ей вполне хватило свободной части скамейки, но через мгновение она начала расплзаться, занимая своим толстым телом все большее и большее пространство, пока процесс этот не принял характера насильственного отъема территории. Когда трамвай качнулся вправо, в сторону Жаклин, женщина также скользнула по сиденью вправо, когда же он качнулся влево, ей каким-то чудесным образом удалось окопаться, закрепляясь на занятой позиции.

Перехватив взгляд мужа — он покачивался, держась за ремень, — Жаклин всем своим видом выразила полное неодобрение его поступку. Он сделал извиняющуюся гримасу и тут же углубился в изучение рекламы, расклеенной по всему вагону. Толстуха еще потеснила Жаклин — она практически заняла всю скамейку. Затем эта нахалка недовольно повернула на Жаклин свои глаза навывкате и кашлянула прямо ей в лицо.

Издав слабый вскрик, Жаклин вскочила на ноги, в ярости протиснулась через мясистые колени и, пунцовая от гнева, стала пробиваться в конец вагона. Там она схватилась за ремень; вскоре к ней присоединился заметно встревоженный муж.

За оставшиеся десять минут езды они не обронили ни слова, просто стояли рядом молча, а мужчины, сидевшие перед ними, похрустывали газетами, будучи не в силах оторвать глаз от новой порции комиксов.

Жаклин взорвалась, когда они вышли из автобуса.

— Идиот несчастный! — в бешенстве закричала она. — Где были твои глаза, когда ты уступал место этой ужасной бабе? Почему ты всегда заботишься о каких-то толстых наглых прачках? Позаботился бы для разнообразия обо мне!

— Откуда я мог знать?

На Матера вообще редко кто-то злился, теперь же Жаклин была зла на него, как никогда.

— А ради меня ни один не пошевелился, все сидели, как привязанные, — это ты заметил? В понедельник ты приплелся домой такой усталый, что вечером даже идти никуда не хотел. Теперь мне ясно, отчего ты устал: ты небось уступил место какой-нибудь мерзкой прачке, которая здорова, как бык, и больше любит стоять, чем сидеть!

Они быстро шли по уличной слякоти, не обращая никакого внимания на лужи. Матер был так смущен и подавлен, что не мог и слова вымолвить в оправдание, не мог даже извиниться.

Жаклин вдруг замолчала, потом со странным блеском в глазах повернулась к мужу. Она обобщила ситуацию фразой, неприятнее которой Джим, наверное, не слышал за всю свою жизнь:

— Я могу тебе объяснить, Джим, откуда идет эта твоя безотказность. Вся беда в том, что у тебя мировоззрение первокурсника из колледжа, а другими словами — ты профессиональный «хороший парень».

II

Инцидент и ссора вскоре были забыты — благодаря широкой натуре Матера все острые углы были сглажены в течение часа. Колебания после взрыва раздавались с затухающей амплитудой еще несколько дней, потом прекратились и исчезли где-то на берегу реки забвения. Я говорю «на берегу» потому, что преданное забвению, увы, никогда не забывается полностью.

Наступил апрель, а машину они так и не купили. Матер с удивлением обнаружил, что

ему никак не удастся отложить деньги, а ведь через какие-нибудь полгода на его руках будет не только жена, но и ребенок. Это его беспокоило. Вокруг его честных, добрых глаз появились первые морщинки — маленькие, незаметные, робкие. Теперь он часто засиживался на работе до поздних сумерек, а возвращаясь домой, прихватывал с собой кое-какую работу. Покупка машины на некоторое время откладывалась.

Как-то апрельским днем Жаклин оказалась на Вашингтон-стрит. На улице было полно народу — все делали покупки. Жаклин медленно шла мимо магазинов и размышляла — с некоторой грустью, но без страха или отчаяния — о тех обязанностях и заботах, которые неизбежно возникнут в ее жизни в самое ближайшее время, хочет она этого или нет. В воздухе носились сухие летние пылинки, солнце задорно рикошетило от зеркальных витрин, и осколки его сверкали радугой в бензиновых лужах вдоль тротуара.

Вдруг Жаклин замедлила шаги. В трех метрах от нее у обочины красовался небольшой спортивный автомобиль с открытым верхом — яркий, новенький. Возле него стояли двое мужчин и разговаривали. В одном из них Жаклин узнала молодого Бронсона, который как раз в этот момент небрежным тоном спрашивал:

— Ну как, нравится? Только сегодня утром купил.

Жаклин круто повернулась и, стуча каблуками, быстро пошла к мужу в контору. Коротко кивнув секретарше, она буквально ворвалась в его кабинет. Матер, удивленный этим неожиданным вторжением, поднял голову от стола.

— Джим, — выдохнула Жаклин, — скажи, Бронсон вернул тебе три сотни?

— Н-нет, — неуверенно ответил Джим. — Нет еще. Он был у меня на той неделе и объяснил, что у него сейчас туго с деньгами.

В ее глазах сверкнул злорадный триумф.

— Ах, туго с деньгами? — отрывисто бросила она. — Так знай, что он только что купил новую спортивную машину, которая обошлась ему как минимум в две с половиной тысячи!

Он покачал головой, отказываясь верить.

— Да я сама видела, — утверждала она, — и своими ушами слышала, как он сказал, что только что ее купил.

— Он сказал мне, что у него туго с деньгами, — беспомощно повторил Матер.

Жаклин не могла этого выдержать. Из горла ее вырвался какой-то звук — не то завывание, не то стон.

— Да он тебя просто использовал! Знал, какой ты простофиля, вот взял и использовал! Неужели ты сам не видишь? Ему захотелось, чтобы ты купил ему машину, и ты ее купил! — Она горько засмеялась. — Да он небось и сейчас гогочет до упаду над тем, как ловко он выудил у тебя денежки!

— Да нет же, — запротестовал потрясенный Матер. — Ты, должно быть, приняла его за кого-то другого.

— Мы ходим пешком — а он ездит за наши деньги! — перебила она возбужденно. — Да это же курам на смех! Так вот послушай, Джим! — Ее голос зазвенел, стал напряженнее, в нем даже зазвучало презрение. — Ты половину своего времени убиваешь впустую, делаешь какие-то вещи для людей, которым глубоко начхать и на тебя, и на то, что с тобой будет. В трамвае ты уступаешь место каждой корове, а сам приходишь домой усталый и разбитый. Ты заседаешь во всех существующих комитетах, которые по меньшей мере на час в день отрывают тебя от работы, и ты за это не получаешь ни цента! Тебя вечно используют! Я не могу больше этого терпеть!

Закончив свою обличительную речь, Жаклин вдруг пошатнулась и упала в кресло — перенервничала.

— Именно сейчас, — продолжала она слабым голосом, — мне очень нужен ты. Мне нужны твоя сила, твое здоровье, поддержка твоих рук. И если ты будешь раздавать все это каждому, мне достанется совсем-совсем мало...

Матер опустил рядом с женой на колени и обнял ее за шею. Ее голова послушно

легла на его плечо.

— Прости меня, Жаклин, — сказал он тихо. — Я буду к тебе более внимателен. Я не отдавал себе отчета в своих поступках.

— Ты милейшее, добрейшее существо в мире, — внезапно охрипнув, прошептала Жаклин. — Но я хочу, чтобы ты был мой целиком, чтобы все лучшее в тебе было для меня.

Он продолжал гладить ее волосы. Несколько минут прошло в полном молчании, они словно погрузились в нирвану покоя и понимания. Затем Жаклин неохотно подняла голову, так как тишина была нарушена голосом появившейся в дверях мисс Кленси, секретарши:

— О-о, прошу прощения.

— Что вы хотели?

— Посыльный принес какие-то коробки. Вы что-то заказывали наложенным платежом. Матер поднялся и вышел за ней в приемную.

— Цена — пятьдесят долларов.

Он порывлся в бумажнике и сообразил, что утром забыл зайти в банк.

— Одну минутку, — сказал он рассеянно.

Мысли его были с Жаклин, которая, такая несчастная и беспомощная, одиноко ждала его в соседней комнате. Он вышел в коридор и открыл дверь напротив, на которой висела табличка: «Клейтон и Дрейк, маклеры». Зайдя за невысокий барьер, он очутился перед сидящим за столом человеком.

— Привет, Фред, — сказал Матер.

Дрейк, маленький лысый человек лет тридцати, с пенсне на носу, поднялся для рукопожатия:

— Привет, Джим. Чем могу быть полезен?

— Да, видишь ли, мальчишка посыльный принес мой заказ наложенным платежом, а у меня, как назло, с собой ни цента. У тебя не найдется пятидесяти долларов до вечера?

Дрейк пристально взглянул на Матера, затем медленно покачал головой — не сверху вниз, а из стороны в сторону.

— Извини, Джим, — ответил он твердо. — Я взял себе за правило никогда и никому не одалживать денег.

— Что?!

В восклицании прозвучало неприкрытое удивление — рассеянность Матера как рукой сняло. Однако тут же автоматически сработало врожденное чувство такта — оно пришло на помощь, диктуя необходимые слова. Не нужно, чтобы Дрейк мучился из-за своего отказа, подсказал Матеру инстинкт.

— А-а, понятно, — он кивнул головой, выражая свое полное согласие, словно он и сам часто задумывался над полезностью этого правила. — Я тебя вполне понимаю. Правило есть правило — я, конечно, не хочу, чтобы из-за меня ты его нарушил. В нем, наверное, есть свой смысл.

Они поговорили еще минуту. Дрейк сказал что-то в оправдание своей позиции — видимо, эта партия была у него хорошо отрепетирована. В конце концов Матер улыбнулся совершенно искренне.

Вежливо попрощавшись, Матер удалился к себе а контору, искусно вызвав у Дрейка ощущение, что тот — самый тактичный человек в городе. Матер умел вызывать у людей такое ощущение. Но когда он вошел в свой кабинет и увидел жену, печально глядящую в окно, кулаки его сжались, а лицо исказила непривычная гримаса.

— Ну что ж, Джекки, — сказал он медленно, — пожалуй, ты во многом права, а я... я, черт возьми, не прав.

III

В течение последующих трех месяцев Матер неоднократно задумывался над своей жизнью. Жизнь эта была неестественно счастливой. Разногласия и трения, возникающие

между людьми, между человеком и обществом, ожесточают большинство из нас, мы становимся грубее, циничнее, придирчивее. Жизнь же Матера как раз и отличалась тем, что в ней эти трения возникали крайне редко. Раньше ему не приходило в голову, что эта привилегия давалась немалой ценой, но теперь он понял, что то тут, то там, и вообще постоянно, он уступал дорогу другим, чтобы избежать враждебности, конфликта или даже просто спора.

Например, сумма розданных в долг денег составила тысячу триста долларов, и, взглянув на вещи в новом свете, Матер сообразил, что никогда этих денег не увидит.

Матер также осознал всю справедливость утверждений жены о том, что он постоянно делает людям одолжения — что-то здесь, что-то там. Общее количество затраченного времени и энергии было ужасающим. Раньше ему доставляло удовольствие делать людям одолжения. Ему нравилось, что о нем хорошо думают, но теперь он спрашивал себя, не выдумал ли он это хорошее к себе отношение. Но, подозревая это, Матер был, как всегда, несправедлив к себе — романтическое начало в нем было развито до чрезвычайности.

Он согласился с тем, что, так бездумно растрачивая себя, он устает к вечеру, работает с меньшей отдачей и не является должной опорой для Жаклин, которая с течением времени все тяжелеела, все больше скучала и проводила долгие предвечерние часы на зашторенной веранде, ожидая, когда в конце аллеи раздадутся его шаги.

Чтобы эти шаги всегда раздавались вовремя, Матер забросил много разных дел, в том числе пост президента ассоциации окончивших колледж, в котором он когда-то учился. Он пустил на самотек и другие, не приносящие дохода занятия. Раньше, стоило ему попасть в какой-нибудь комитет, люди сразу же выбирали его председателем, а сами отходили на второй план, и вытащить их оттуда было совершенно невозможно. Теперь с этим было покончено. Матер стал избегать также тех, кто имел привычку просить об одолжениях, и игнорировал чей-то навязчивый взгляд, сверлящий его порой в клубе.

Перемена в нем происходила медленно. Нельзя сказать, что он был совсем не от мира сего — при других обстоятельствах отказ Дрейка его бы ничуть не удивил. А случись такое с кем-нибудь другим — он бы и вовсе не придавал значения. Но это произошло с ним и с таким скрежетом врезалось в его личную жизнь, так потрясло его, что значение отказа Дрейка приняло грозные размеры.

Стояла середина августа — жаркое лето кончалось. Занавески на полуоткрытом окне конторы Матера почти не колыхались, а висели ровным парусом — было очень душно. Матер нервничал: Жаклин мучили сильные головные боли — видимо, начало сказываться постоянное переутомление; да и в работе, казалось, наступил какой-то застой. Этим утром он таким раздраженным тоном говорил с мисс Кленси, что та даже удивилась. Матер тут же извинился, но впоследствии ругал себя за это — нечего было извиняться. Он ведь, несмотря на жару, работал быстро — почему же она не могла?

Мисс Кленси подошла к его двери, и Матер, взглянув на нее, чуть нахмурился.

— К вам мистер Эдвард Лейси.

— Пусть войдет, — ответил он равнодушно.

Он немного знал старика Лейси. Жалкая фигура, в свое время он прекрасно начал, а сейчас — один из городских неудачников. Единственное, что могло привести его сюда, — это попрошайничество.

— Добрый день, мистер Матер.

На пороге стоял невысокий подтянутый человек с седыми волосами. Матер поднялся и вежливо с ним поздоровался.

— Вы сейчас заняты, мистер Матер?

— Да вроде бы не очень, — он сделал легкое ударение на последнем слове.

Мистер Лейси сел. Видно было, что он чувствует себя неловко. В руках его была шляпа, и, крепко вцепившись в нее, он начал говорить:

— Мистер Матер, если вы в состоянии уделить мне пять минут, я хотел бы поговорить с вами кое о чем... Видите ли, сейчас мне совершенно необходимо поговорить с вами об

этом. Видите ли, — продолжал мистер Лейси, — Матер заметил, что пальцы, теребящие поля шляпы, дрожали, — много лет назад мы с вашим отцом были добрыми друзьями. Я уверен, что он вам обо мне рассказывал.

Матер кивнул.

— На его похоронах я нес гроб. Одно время мы были очень близки. Именно поэтому я и пришел сейчас к вам. За всю свою жизнь я никогда не приходил с просьбой к незнакомым людям — так, как сейчас к вам. Но когда человек становится старше, он теряет друзей — они умирают, уезжают куда-то, иногда их отчуждает какое-нибудь недоразумение. А потом умирают ваши дети, если вам не посчастливится умереть раньше их, — и вот вы уже совсем один, один во всем мире.

Он слабо улыбнулся. Руки его тряслись, как в лихорадке.

— Однажды, почти сорок лет тому назад, ко мне пришел ваш отец и попросил одолжить ему тысячу долларов. Я был на несколько лет старше его, и, хотя тогда мы еще мало знали друг друга, я был о нем высокого мнения. Тысяча долларов — это считалось огромной суммой по тем временам, а у него не было никаких гарантий, у него не было ничего, кроме плана в голове. Но мне понравился его взгляд, он чем-то располагал к себе — не считите за лесть, если я скажу, что вы немного похожи на отца, — и я дал ему деньги без всякой гарантии.

Мистер Лейси остановился.

— Без всякой гарантии, — повторил он — Тогда я мог себе это позволить. Да я ничего и не потерял. К концу года ваш отец вернул мне весь долг, плюс шесть процентов дохода.

Матер не мог поднять глаз от лежащей перед ним бумажки, которую он уже всю исчертил ромбиками и треугольниками. Он знал, что произойдет дальше, и чувствовал, как напрягается каждый его мускул. У него хватит духа отказать.

— Теперь я уже стар, мистер Матер, — вновь зазвучал надтреснутый голос. — Дела мои пошли прахом, да и сам я... Но речь сейчас не обо мне. У меня есть дочь, она незамужем, живет со мной. Она работает стенографисткой. Ко мне она относится прекрасно. Мы живем на Селби-Авеню — знаете, где это? — снимаем там квартиру, очень уютную.

Старик судорожно вздохнул. Он хотел и в то же время боялся перейти к сути своей просьбы. Оказалось, что речь идет о страховке. У него есть страховой полис на десять тысяч долларов, под который он и брал деньги из банка, но оказалось, что денег он взял больше, чем позволяют правила страховки. Теперь он может лишиться всей суммы, если не внесет в банк четыреста пятьдесят долларов. Сейчас у них с дочерью есть только семьдесят пять. Друзей у них нет — он уже об этом говорил, — и им совершенно негде взять недостающие деньги...

Матер не мог больше слушать эту печальную историю. Лишних денег у него не было, и все, что он мог сделать для старика, — это избавить его от мучительного унижения чем скорее, тем лучше.

— Извините меня, мистер Лейси. — как можно мягче перебил он его, — но я не могу одолжить вам этих денег.

— Не можете? — старик поднял на него потухшие, моргающие глаза.

В них не было потрясения, не было, казалось, вообще никакого человеческого чувства, кроме непрестанной тревоги. Лишь полуоткрывшийся рот слегка изменил выражение его лица.

Матер впился глазами в исчерканную бумажку.

— Через несколько месяцев мы ждем ребенка, я специально откладывал для этого деньги. Было бы несправедливо по отношению к моей жене и к ребенку отбирать у них что-то именно сейчас.

Голос его перешел в невнятное бормотание. Неожиданно для себя он добавил, что у него самого дела не так уж хороши, — как у него язык повернулся сказать такую банальность?

Мистер Лейси не стал настаивать. Без видимых признаков разочарования он поднялся с

кресла. И только его трясущиеся руки не давали Матеру покоя. Старик извинился — жаль, что причинил беспокойство в такой момент. Может быть, он все же как-нибудь выкрутится. Он-то думал, что у мистера Матера могут быть свободные деньги, — почему же к нему не обратиться, ведь он сын старого друга.

Выходя, он никак не мог открыть дверь — ему помогла мисс Кленси. Моргая потухшими глазами, он шел по коридору, жалкий и несчастный, и рот его был все еще приоткрыт.

Джим Матер поднялся из-за стола, провел рукой по лицу и внезапно содрогнулся всем телом, словно ему было холодно. Но в пять часов на улице стояла тропическая жара.

IV

Спустя час, ближе к вечеру, летний воздух накалился еще сильнее. Матер стоял на углу и ждал свой трамвай. Дорога домой занимала двадцать пять минут, и он купил журнал с пестрой обложкой, чтобы хоть как-то расшевелить свой застывший мозг. В последнее время жизнь уже не казалась ему такой счастливой и радостной — романтический ореол исчез. Может быть, ему открылись законы, по которым живет мир, может быть, романтика просто мало-помалу испарилась с бегом времени.

Такого, например, как сегодня, с ним раньше никогда не случалось. Матер не мог выбросить старика из головы. Он представил, как тот бредет домой по изнуряющей жаре — пешком, наверное, чтобы сэкономить на трамвайном билете, открывает дверь своей душной квартирки и говорит своей дочери, что сын его старого друга ничем не смог им помочь. Весь вечер они будут искать выход из безнадежного положения, потом скажут друг другу «спокойной ночи» — отец и дочь, силой обстоятельств отрезанные от остального мира, — разойдутся по своим комнатам и долго еще будут лежать без сна в трагическом одиночестве.

Наконец подошел трамвай. Впереди было свободное место, и Матер занял его. Сидевшая рядом пожилая дама, неодобрительно взглянув на него, чуть подвинулась. В следующем квартале трамвай атаковали девушки — продавщицы из универмага. Они заполнили весь проход, и Матер развернул газету. В последнее время он отказался от своей привычки уступать место в трамвае. Здоровой молодой девушке стоять ничуть не тяжелее, чем ему, — в этом Жаклин была права. Поэтому уступать место глупо — это носит чисто символический характер.

В вагоне было очень душно, и Матер вытер со лба тяжелую влагу. Люди уже заполнили проход до отказа, и, когда трамвай поворачивал за угол, женщину, стоявшую рядом с Матером, качнуло, и на миг она облокотилась на его плечо. Матер глубоко вздохнул — спертый, жаркий воздух ни за что не хотел циркулировать — и попытался сосредоточиться на карикатурах в верхней части спортивной страницы.

Трамвай снова повернул за угол, и женщина снова навалилась на плечо Матера. В другое время он уступил бы место, лишь бы только женщина не напоминала о своем присутствии. Собственное хладнокровие было ему неприятно. Чертов трамвай! Неужели нельзя в такую жару добавить на линию несколько штук?

Он в пятый раз взглянул на рисунки на странице юмора. На одной из них был изображен человек с протянутой рукой, и на его месте тут же возник расплывчатый образ мистера Лейси. О, господи! А что, если этот старик действительно умрет голодной смертью? А что, если он пошел и бросился в реку?

Матер посмотрел на часы — он ехал уже десять минут. Еще пятнадцать минут тряски, а жара становилась все невыносимее, дышать было нечем. Женщина снова навалилась на него, и, взглянув в окно, Матер увидел, что наконец-то они выбрались из центра.

Может быть, все-таки уступить этой женщине место, мелькнуло в мозгу у Матера — ему почудилось, что в последний раз она пошатнулась не только от качки, но и от усталости. Если бы он знал наверняка, что это пожилая женщина, — но рукой он чувствовал материал ее платья, и ему почему-то казалось, что это должна быть молодая девушка. А поднять глаза

у него просто не хватало смелости — он боялся наткнуться на призывный, просящий взгляд пожилой или колючий, презрительный взгляд молодой.

Следующие пять минут его подернутый пеленой мозг терзался в поисках решения огромной, как ему сейчас казалось, проблемы — уступить или не уступить свое место. Он смутно чувствовал, что, если он уступит место, это частично избавит его от угрызений совести за сегодняшний отказ мистеру Лейси. Ужасно было бы поступить так жестоко два раза подряд — да еще в такой убийственный день.

Он снова попробовал отвлечься рисунками, но напрасно. Нужно сосредоточиться на Жаклин. Он и так чувствовал смертельную усталость, а встань он сейчас — устанет еще больше. А Жаклин ждет его, нуждается в нем. Она наверняка страдает там одна, и ей, конечно, хочется, чтобы после обеда он часок побыл с ней, обнял, приласкал. Но если он приходит домой усталым, это дается ему нелегко. А потом, когда они лягут спать, она время от времени будет просить его подать ей лекарство или стакан воды. Он должен с бодростью выполнять эти обязанности, иначе она может что-нибудь заметить и в следующий раз, когда что-то будет нужно, не захочет его беспокоить.

Девушку в проходе снова качнуло — на этот раз она навалилась на Матера особенно тяжело. Конечно, она тоже устала. Что ж, работа — штука утомительная. В мозгу его всплыли обрывки разных пословиц о тяжелой работе и долгом дне. Все в мире устают — эта женщина, например, чье тело так тяжело, так странно нависло над ним. Но на первом месте — дом, где его ждет любимая жена. Он должен прийти к ней бодрым и сильным, поэтому не нужно никому уступать место, повторил он себе.

Затем он услышал долгий вздох, за которым внезапно последовал вскрик, и он ощутил, что девушка уже не прижимается к нему. В ответ на вскрик раздалось взволнованные голоса, шум, потом все затихло — и снова шум и гул по всему вагону. Кто-то громко закричал:

— Кондуктор! Остановите трамвай!

Неистово зазвонил звонок, и душный трамвай, дернувшись, резко остановился.

— Девушка упала в обморок!

— Еще бы! Такая духота!

— Стояла, стояла, и вдруг ни с того ни с сего...

— А ну-ка, посторонитесь! Эй вы, дайте дорогу!

Толпа отхлынула назад. Пассажиры на передней площадке сжались к середине вагона, а на задней — людям пришлось на время слезть. Рокошующий вагон бурлил любопытством и состраданием. Люди пытались помочь, мешали. Потом зазвонил звонок, и все снова заговорили на повышенных тонах.

— Вытащили-то ее хоть аккуратно, не задели?

— А вы видели, что...

— Эта чертова компания должна, наконец...

— Вы видели мужчину, который ее выносил? Он был бледен, как полотно.

— А вы разве не слышали?

— Что?

— Да этот парень. Этот бледный парень, который выносил девушку из вагона. Он всю дорогу сидел рядом с ней. Так он твердил, что она его жена!

В доме было тихо. Легкий ветерок прижимал к стеблям листья выюнков, окаймляющих веранду, а желтый лунный свет падал на плетеные кресла. Жаклин мирно отдыхала на длинной кушетке, положив голову на руки мужа. Через некоторое время она лениво потянулась; подняв руку, она погладила его по щеке:

— Пожалуй, я пойду спать, дорогой. Я так устала. Помоги мне подняться.

Он приподнял ее, затем снова опустил на подушку.

— Я сейчас вернусь, — сказал он мягко. — Подожди минутку, ладно?

Он прошел в освещенную гостиную, и Жаклин услышала, как он листает страницы телефонной книги. Затем он набрал номер:

— Можно попросить к телефону мистера Лейси? Да, это очень важно, если, конечно,

он еще не спит.

Наступила пауза. Со стороны сада до слуха Жаклин донеслось беззаботное чириканье воробьев. Потом снова раздался голос мужа:

— Мистер Лейси? Это звонит Матер. Я насчет того дела, о котором мы с вами беседовали сегодня. Так вот, я думаю, что этот вопрос можно будет уладить. — Он чуть повысил голос — видимо, кто-то на другом конце линии плохо его слышал: — Я говорю, это Матер, сын Джеймса Матера. Насчет того дела, о котором...

ВОЛОСЫ ВЕРОНИКИ

1

Субботним вечером, если взглянуть с площадки для гольфа, окна загородного клуба в сгустившихся сумерках покажутся желтыми далями над кромешно черным взволнованным океаном. Волнами этого, фигурально выражаясь, океана будут головы любопытствующих кэдди, кое-кого из наиболее пронырливых шоферов, глухой сестры клубного тренера; порою плещутся тут и отклонившиеся, робкие волны, которым — пожелай они того — ничего не мешает вкатиться внутрь. Это галерка.

Бельэтаж помещается внутри. Его образует круг плетеных стульев, окаймляющих залу — клубную и бальную одновременно. По субботним вечерам бельэтаж занимают в основном дамы; шумное скопище почетных особ с бдительными глазами под укрытием лорнеток и не знающими пощады сердцами под укрытием могучих бюстов. Бельэтаж выполняет функции по преимуществу критические. Восхищение, хоть и весьма неохотно, бельэтажу временами случается выказать, одобрение — никогда, ибо дам под сорок не провести: они знают, что молодежь способна на все и, если ее хоть на минуту выпустить из виду, отдельные парочки будут исполнять по углам дикие варварские пляски, а самых дерзких, самых опасных покорительниц сердец, того и гляди, станут целовать в лимузинах ничего не подозревающих вдовиц.

Однако этот критический кружок слишком удален от сцены — ему не разглядеть лиц актеров, не уловить тончайшей мимики. На его долю остается хмуриться, вытягивать шей, задавать вопросы и делать приблизительные выводы, исходя из готового набора аксиом — вроде такой, например: за каждым богатым юнцом охотятся более рьяно, чем за куропаткой. Критическому кружку непонятна сложная жизнь неугомонного жестокого мира молодых. Нет, ложи, партер, ведущие актеры и хор — все это там, где кутерьма лиц и голосов, плывущих под рыдающие африканские ритмы танцевального оркестра Дайера.

В этой кутерьме, где толкуются все — от шестнадцатилетнего Отиса Ормонда, которому до университета предстоят еще два года Хилл-колледжа, до Д.Риса Стоддарда, над чьим письменным столом красуется диплом юридического факультета Гарварда; от маленькой Маделейн Хог, которая никак не привыкнет к высокой прическе, до Бесси Макрей, которая несколько долго, пожалуй, лет десять с лишком, пробыла душой общества, — в этой кутерьме не только самый центр действия, лишь отсюда можно по-настоящему следить за происходящим.

Оркестр залихватски обрывает музыку на оглушительной ноте. Парочки обмениваются натянуто-непринужденными улыбками, игриво напевают «та-ра-ри-рам-пам-пам», и над аплодисментами взмывает стрекот девичьих голосов.

Несколько кавалеров, которых антракт застиг в тот самый момент, когда они устремлялись разбить очередную парочку, раздосадованно отступают на свои места вдоль стен: эти летние танцевальные вечера не такие буйные, как рождественские балы, тут веселятся в меру, тут и женатые пары помоложе рискуют покружиться в допотопных вальсах или потоптаться в неуклюжих фокстротах под снисходительные усмешки младших братьев и сестер.

В числе этих незадачливых кавалеров оказался и Уоррен Макинтайр, не слишком прилежный студент Йельского университета; нашарив в кармане сигарету, он вышел из залы. На просторной полуосвещенной веранде за столиками там и сям сидели парочки, наполняя расцвеченную фонариками ночь смутным говором и зыбким смехом. Уоррен кивал тем, кто мог еще замечать окружающее, и, когда он проходил мимо очередной парочки, в памяти его всплывали обрывки воспоминаний: городок был невелик, и каждый его житель знал назубок прошлое любого из своих земляков. Вот, к примеру, Джим Стрейн и Этель Деморест — уже три года они неофициально обручены. Всем известно, что, как только Джима продержат на какой-либо работе больше двух месяцев, они пожениятся. Однако как унылы их лица и как устало поглядывает Этель на Джима, словно недоумевая, зачем лоза ее привязанности обвила столь чахлый тополь.

Уоррену шел двадцатый год, и он свысока взирал на тех своих приятелей, кому не довелось учиться на Востоке. Однако вдали от родного города — и в этом он на отличался от большинства юнцов — он гордился своими знаменитыми землячками. И было кем: Женестьева Ормонд, например, не пропускала ни одного бала, вечера и футбольного матча в Принстоне, Йеле, Вильямсе или Корнелле, черноглазая Роберта Диллон среди своих сверстников была известна не менее, чем Хайрам Джонсон или Тай Кобб, ну а Марджори Харви славилась не только своей обольстительной красотой и дерзким, блестящим остроумием, а еще и тем, что на последнем балу в Нью-Хейвене пять раз кряду прошлась колесом.

Уоррен, который рос с Марджори на одной улице, давно «сходил по ней с ума». Порой ему казалось, что она отвечает на его поклонение чем-то вроде благодарности, но она уже проверила свои чувства испытанным методом и торжественно объявила, что не любит его. Проверка заключалась в следующем: когда его не было рядом, Марджори о нем забывала и напропалую флиртowała с другими. Если учесть, что все лето Марджори проводила в разъездах и первые два-три дня по ее возвращении стол в холле был завален конвертами, подписанными всевозможными мужскими почерками, Уоррену было от чего впасть в уныние. Мало того, весь август у нее гостила кузина Вероника из О-Клэра, и увидеться с Марджори наедине было почти невозможно. Вечно приходилось подыскивать кого-то, кто согласится взять на себя Веронику. Август близился к концу, и задача эта с каждым днем становилась все трудней.

Рак Уоррен ни боготворил Марджори, он вынужден был признать, что Вероника страшная преснятина. Она была миловидная брюнетка с ярким цветом лица, но уж скучная — дальше некуда. Каждую субботу Уоррен в угоду Марджори покорно танцевал с ней изнурительно долгий танец, и она неизменно наводила на него тоску.

— Уоррен, — вторгся в его мысли вкрадчивый голос.

Он обернулся и увидел Марджори, раскрасневшуюся и, как всегда, оживленную. Она положила руку ему на плечо, и незримый ореол воссиял над ним.

— Уоррен, — шепнула она. — Пригласи Веронику, ну, ради меня. Она уже битый час танцует с Малышом Отисом.

Ореол померк.

— ...Ладно... Пожалуйста, — нехотя согласился он.

— Это ведь не слишком большая жертва с твоей стороны? А я позабочусь, чтобы тебе побыстрее пришли на выручку.

— Идет.

Марджори улыбнулась той улыбкой, что сама по себе служила наградой.

— Ты просто душка. Не знаю, как и благодарить тебя.

Душка со вздохом оглядел веранду: Отиса и Вероники тут не было. Он побрел обратно в залу и там, перед дамской комнатой, в группе корчившихся от смеха молодых людей увидел Отиса. Отис разглагольствовал, потрясая невесть откуда взявшимся обрезком доски.

— Она пошла поправить прическу, — говорил он отчаянно. — А как выйдет, мне опять час кряду танцевать с ней.

Смех усилился.

— И почему это никто нас не разбивает? — оскорбление вопрошал Отис. — Ей наверняка хочется разнообразия.

— Что ты, Отис, — возразил приятель. — Ты ведь едва-едва привык к ней.

— Зачем тебе эта штуковина? — поинтересовался Уоррен.

— Что? А, ты про доску? Это дубинка. Пусть только она высунется оттуда, я раз ее по голове — и затолкну назад.

Уоррен взвыл и рухнул на кушетку.

— Не горюй, Отис, — выговорил он наконец. — На сей раз я тебя выручу.

Отис изобразил легкий обморок и вручил доску Уоррену.

— Авось пригодится, старина, — сипло сказал он.

Как бы ни была девушка хороша собой и остроумна, если на танцах кавалеры не отбивают ее друг у друга на каждом шагу, ей не позавидуешь. Возможно, они куда охотнее проводят время с ней, чем с теми пустышками, которых приглашают по десять раз за вечер, но это вскормленное джазом поколение страшно непостоянно и протанцевать больше одного фокстрота с той же самой девушкой им неинтересно, чтобы не сказать нестерпимо. Если же танцевать приходится не один, а несколько танцев, девушка может не сомневаться, что как только кавалера избавят от нее, он примет все меры, чтобы ему уже никогда не пришлось отдавливать ее неуклюжие ноги.

Следующий танец Уоррен до конца протанцевал с Вероникой, после чего, радуясь наступившему перерыву, отвел ее на веранду. С минуту они помолчали. Вероника не слишком впечатляюще поигрывала веером.

— А у вас жарче, чем в О-Клэре, — сказала она.

Уоррен, подавив вздох, кивнул. Очень даже возможно, но ему-то что до этого. Он праздно размышлял, потому ли с Вероникой не о чем разговаривать, что за ней никто не ухаживает, или за ней никто не ухаживает, потому что с ней не о чем разговаривать.

— Вы долго пробудете у нас? — спросил он и покраснел. Что, если Вероника догадается, чем вызван его вопрос.

— Еще неделю, — ответила она, глядя ему в рот так, будто изготавилась ловить его слова на лету.

Уоррен заерзал. И, поддавшись неожиданно накатившемуся на него порыву сострадания, решил испробовать на Веронике свой излюбленный прием. Повернувшись, он заглянул ей в глаза.

— У вас жутко чувственный рот, — невозмутимо начал он.

На балах в своем колледже, особенно если беседа велась в такой вот полутьме. Уоррен порой подпускал девушкам подобные комплименты. Вероника буквально подскочила. Щеки ее побагровели, она чуть не выронила веер. Такого ей никто еще не говорил.

— Нахал! — выпалила она, но тут же спохватилась и прикусила язык. Теперь уже поздно делать вид, будто ей смешно, решила она, и одарила Уоррена смятенной улыбкой.

Уоррен обозлился. Хотя ему было не внове, что этот его заход не принимается всерьез, все же обычно ему отвечали смехом или прочувствованной болтовней. И потом он мог лишь в шутку допустить, чтобы его называли нахалом. Благородный порыв его мигом угас, и он перестроился.

— Джим Стрейн и Этель Деморест, как всегда, не танцуют, — заметил он.

Разговор свернул в более привычное для Вероники русло, и все же, когда Уоррен переменял тему, она испытывала не только облегчение, но и досаду. Ей никто еще не говорил, что у нее чувственный рот, но она знала, что другим девушкам что-то такое говорят.

— Да, да, — сказала она и прыснула. — Я слышала, что они бедны как церковные крысы и уже сто лет женихаются. Вот глупость-то, правда?

Вероника стала еще ненавистней Уоррену. Джим Стрейн дружил с его братом, к тому же он почитал дурным тоном насмехаться над бедностью. Однако у Вероники и в мыслях не

было насмехаться. Она просто растерялась.

2

Марджори и Вероника вернулись домой в половине первого, пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по своим комнатам.

Между кухнями не было близости. К слову сказать, у Марджори вообще не было близких друзей: всех женщин она считала дурами. Вероника же, напротив, с самого начала этого визита, устроенного родителями обеих девиц, рвалась вести с кухней задушевные беседы; без таких бесед, перемежаемых слезами и хихиканьем, ей казалась невозможной женская дружба. Однако Марджори встречала ее порывы холодно, и разговаривать с ней Веронике было почему-то ничуть не легче, чем с мужчинами. Марджори никогда не хихикала, не пугалась, не попадала впросак и вообще не обладала ни одним из тех прекрасных качеств, которые, по мнению Вероники, так украшают женщину.

Чистая на ночь зубы, Вероника в который раз задумалась над тем, почему за ней перестают ухаживать, стоит ей уехать из дому. И хотя семья ее была самой богатой в О-Клэре, хотя ее мать устраивала прием за приемом, перед каждым балом давала для друзей дочери обеды, купила ей автомобиль, — Веронике и в голову не приходило, что все это вместе взятое немало способствует ее успеху в родном городе. Как и большинство девушек, она была взлелеяна на сладкой водичке изготовления Анни Феллоуз Джонстон и на романах, где героиню любили за некую загадочную женственность, о которой много говорилось, но которая никак себя не проявляла.

Веронику задевало, что за ней здесь никто не ухаживает. Она не знала, что, если б не хлопоты Марджори, ей бы так и пришлось танцевать весь вечер с одним кавалером; однако она знала, что и в О-Клэре за девушками, уступающими ей по положению в обществе и гораздо, менее хорошенькими, увиваются куда сильнее. Она объясняла это тем, что они не слишком щепетильны. Их успех ничуть не нарушал покой Вероники, а случись вдруг такое, мать уверила бы ее, что эти девушки роняют себя и что по-настоящему мужчины уважают скромных девушек вроде Вероники.

Она выключила свет в ванной, и ее вдруг потянуло поболтать с тетей Жозефиной — у той в комнате еще горел свет. Легкие туфельки бесшумно пронесли Веронику по натянутому ковром коридору, но, услышав из-за полуприкрытой двери голоса, она остановилась. Она разобрала свое имя, вовсе не думая подслушивать, все же невольно помедлила — и тут смысл разговора дошел до нее, пронзив внезапной, как удар тока, болью.

— Она просто безнадежна! — говорила Марджори. — Знаю, что ты скажешь. Тебе со всех концов твердят, какая она хорошенькая, какая славная и какая кулинарка. Ну и что толку. Очень ей весело? За ней же никто не ухаживает.

— А много ли толку в дешевом успехе?

Голос миссис Харви звучал раздраженно.

— Когда тебе восемнадцать — очень много, — пылко воскликнула Марджори. — Я из кожи вон лезла для нее. Я и улещала кавалеров, и упрашивала их танцевать с ней, но она наводит на них тоску, а этого не выносит никто. Когда я думаю, зачем этой дурехе такой роскошный цвет лица, и думаю, как бы им сумела распорядиться Марта Кэри... да что тут говорить!

— Нынче забыли, что такое подлинная галантность.

Своим тоном миссис Харви намекала, что отказывается понять современные нравы. В ее время все молодые девушки из хороших семей пользовались успехом.

— Ну так вот, — сказала Марджори, — а нынче никто не может себе позволить вечно нянчиться с гостьей-недотепой; теперь каждой девушке прежде всего надо думать о себе. Я пробовала дать ей кое-какие советы по части тряпок и тому подобного, но она только обозлилась и смотрела на меня как-то чудно. Она не такая толстокожая и понимает, что успехи у нее не ахти, но, ручаюсь, она тешит себя тем, что она такая добродетельная, а я

легкомысленная, ветреная и плохо кончу. Все девушки, за которыми никто не ухаживает, так думают. Зелен виноград! Сара Хопкинс называет Женевьеву, Роберту и меня коллекционерками. Ручаюсь, она пожертвовала бы десятью годами жизни и своим европейским образованием, чтобы стать такой вот коллекционеркой, чтобы за ней ходили хвостом три-четыре поклонника разом и чтобы на танцах ее отбивали на каждом шагу.

— И все-таки мне кажется, — устало прервала ее миссис Харви, — ты должна как-то помочь Веронике. Я не отрицаю, что ей недостает живости.

Марджори испустила стон.

— Живости! Господи боже ты мой! Да ты знаешь, о чем она говорит с кавалерами — о том, как у нас жарко, как сегодня тесно в зале или о том, как на будущий год она поедет учиться в Нью-Йорк — и ни разу, ни разу я не слышала, чтобы она говорила о чем-нибудь другом. Хотя нет, иной раз она спрашивает, какой марки автомобиль у ее собеседника, и сообщает, какой автомобиль у нее. Увлекательно, нечего сказать.

Они помолчали, но вскоре миссис Харви снова принялась за свое:

— Я знаю одно: за другими девушками, и вполнине такими славными и привлекательными, как Вероника, ухаживают. Марта Кэри, к примеру, и толстая и крикливая, а мать ее и вовсе пошлая особа. Роберта Диллон в этом году так усохла, будто явилась из Аризонской пустыни. Она себя вгонит в гроб танцами.

— Да мама же, — нетерпеливо прервала ее Марджори. — Марта веселая и бойкая, а уж как умеет себя подать! Роберта дивно танцует. За ней испокон века вздыхатели ходят толпами.

Миссис Харви зевнула.

— Я думаю, всему виной примесь этой индейской крови в Веронике, — продолжала Марджори. — А вдруг это атавизм? Индианки только и знали, что сидеть кружком и молчать.

— Отправляйся спать, дурочка, — засмеялась миссис Харви. — Зря я тебе рассказала про индейскую кровь, но я не думала, что тебе это так западет в голову. И вообще, твои рассуждения мне представляются довольно-таки глупыми, — сонно заключила она.

Они снова помолчали, Марджори обдумывала, стоит ли труда переубеждать мать. После сорока люди так трудно поддаются переубеждению. В восемнадцать наши убеждения подобны горам, с которых мы взираем на мир, в сорок пять — пещерам, в которых мы скрываемся от мира.

Придя к такому заключению, Марджори пожелала матери спокойной ночи и вышла. В коридоре никого не было.

3

На следующее утро, когда Марджори довольно поздно села завтракать, в столовую вошла Вероника, сухо поздоровалась, села напротив, впериась в Марджори и кончиком языка облизнула губы.

— Ты что это? — озадаченно спросила Марджори.

Вероника несколько выждала, потом метнула свою гранату.

— Я слышала, что ты вчера говорила тете обо мне.

Марджори опешила, но замешательство свое выдала лишь еле заметным румянцем, голос же ее звучал вполне ровно.

— Где ты была?

— В коридоре. Вначале я не собиралась подслушивать.

Смерив Веронику презрительным взглядом, Марджори опустила глаза, принялась раскачивать кусок крекера на кончике пальца и, казалось, целиком ушла в это занятие.

— Раз я тебе в тягость, мне, пожалуй, лучше вернуться в О-Клэр. — У Вероники запрыгала нижняя губа, она продолжала срывающимся голосом: — Я старалась всем угодить, но сначала мною пренебрегли, а потом оскорбили. Я себе никогда не позволяла так

принимать гостей.

Марджори молчала.

— Я тебе мешаю, понятно. Я для тебя обуза. Твоим друзьям я не нравлюсь. — Вероника замолчала, но тут же припомнила еще одну из своих обид. — Разумеется, я обозлилась, когда на прошлой неделе ты пыталась намекнуть, что платье мне не к лицу. Ты что же, думаешь, я не умею одеваться?

— Да, — буркнула Марджори чуть слышно.

— Что?

— И ни на что я не намекала, — сказала Марджори напрямик. — Насколько помню, я сказала, что лучше три раза подряд надеть красивое платье, чем чередовать его с двумя страшилищами.

— Ну и как, по-твоему, приятно такое слышать?

— А я вовсе не старалась быть приятной. — И, чуть помолчав, добавила: — Когда ты хочешь уехать?

У Вероники перехватило дыхание.

— Ой, — еле слышно вырвалось у нее.

Марджори изумленно подняла глаза.

— Ты же сказала, что уезжаешь.

— Да, но...

— Значит, ты брала меня на пушку!

Они уставились друг на друга через стол. Туманная пелена застилала глаза Вероники, Марджори жестко глядела на нее — таким взглядом она обычно укрощала подвыпивших студентов, когда те давали волю рукам.

— Значит, ты брала меня на пушку, — повторила Марджори так, будто ничего другого и не ожидала.

Вероника разразилась слезами, подтвердив тем самым свою вину. Глаза Марджори поскуцнели.

— Ты мне сестра, — всхлипывала Вероника. — Я у тебя гощу-у-у. Я у тебя должна пробыть месяц, а если я уеду сейчас-домой, мама удивится и спросит...

Марджори выждала, пока поток бессвязных слов не сменился чуть слышным хлопаньем.

— Я отдам тебе мои карманные деньги за месяц, — сказала она холодно, — и ты сможешь провести эту неделю где тебе заблагорассудится. Тут поблизости есть вполне приличный отель...

Вероника захлебнулась слезами и выскочила из комнаты.

Через час, когда Марджори увлеченно сочиняла одно из тех ни к чему не обязывающих, восхитительно уклончивых писем, которые умеют писать только девушки, в библиотеку вошла Вероника — глаза у нее покраснели, но держалась она нарочито спокойно. Не глядя на Марджори, она взяла с полки первую попавшуюся книгу и сделала вид, что читает. Марджори, казалось, всецело поглощенная своим делом, продолжала писать. Когда часы пробили полдень, Вероника с треском захлопнула книгу.

— Пожалуй, мне стоит купить билет на поезд.

Совсем иначе думала она начать эту речь, когда репетировала ее у себя в комнате, но так как Марджори не придерживалась отведенной роли — не умоляла ее образумиться, не просила забыть это недоразумение, — ничего лучшего Вероника не нашла.

— Подожди, я кончу письмо, — сказала Марджори, не оборачиваясь. — Я хочу отправить его со следующей почтой.

Еще минуту она деловито скрипела пером, потом обернулась к Веронике, как бы говоря всем своим видом: «Я к вашим услугам». И снова пришлось начинать Веронике.

— Ты хочешь, чтобы я уехала?

— Видишь ли, — прикинула Марджори, — раз тебе тут плохо, по-моему, прямой смысл уехать. Что толку чувствовать себя несчастной.

- А ты не считаешь, что простая доброта...
- Ради бога, не цитируй ты «Маленьких женщин»! — нетерпеливо прервала ее Марджори. — Они давно устарели.
- Ты так думаешь?
- Еще бы! Какая современная девушка станет жить, как эти пустышки?
- Они служили примером нашим матерям.
- Марджори расхохоталась.
- Как бы не так! И потом, наши матери были вполне хороши на свой лад, но что они могут понять в жизни своих дочерей?
- Вероника взвилась.
- Я прошу тебя не говорить так о моей матери.
- Марджори снова расхохоталась.
- А я, помнится, не говорила о ней.
- Вероника почувствовала, что ее отвлекают.
- Значит, ты считаешь, что вела себя по отношению ко мне хорошо?
- Я сделала для тебя все, что могла, и более того. Ты довольно тяжкий случай.
- У Вероники набрякли веки.
- А ты себялюбивая, злая и, вдобавок, совершенно не женственная.
- Господи боже мой! — возопила Марджори. — Да ты просто дуреха! Такие девицы, как ты, прежде всего виноваты в бесчисленных нудных, тусклых браках, в том, что чудовищная бестолковость сходит за женственность. Представляю, каково приходится человеку, когда, пленившись разодетой куклой, которую он наделил всевозможными добродетелями, он вдруг замечает, что взял в жены жалкую, нудную, трусливую жеманницу.
- Вероника даже рот раскрыла от изумления.
- Вечно женственная женщина! — продолжала Марджори. — Лучшие ее годы уходят на то, чтобы поносить девушек вроде меня, которые не тратят времени попусту.
- Чем больше воодушевлялась Марджори, тем сильнее отвисала челюсть у Вероники.
- Можно еще понять, когда на жизнь плачется дурнушка. Будь я непоправимо дурна собой, я бы никогда не простила родителям, что они произвели меня на свет. Но тебе-то жаловаться не на что. — Марджори пристукнула кулачком. — Если ты считаешь, что я буду хныкать вместе с тобой, ты ошибаешься. Хочешь — уезжай, хочешь — оставайся, дело твое. — Она собрала письма и вышла из комнаты.
- Вероника не спустилась к обеду, сославшись на головную боль. После обеда за ними должны были заехать молодые люди — повезти их на утренник, но головная боль не прошла, и Марджори пришлось принести извинения не слишком опечаленному кавалеру. Вернувшись под вечер домой, Марджори застала у себя в спальне Веронику — на лице ее была написана непривычная решимость.
- Я подумала, — приступила Вероника прямо к делу, — что ты, может быть, и права, а может быть, и нет. И если ты объяснишь мне, почему твоим друзьям... словом, скучно со мной, я попробую делать все, что ты скажешь.
- Марджори распускала волосы перед зеркалом.
- Ты это серьезно?
- Да.
- И без оговорок? Будешь делать все, что я скажу?
- Ну...
- Ничего не ну! Будешь делать все, что я скажу?
- В пределах разумного.
- Ни в каких не в пределах. В твоем случае ничто разумное не поможет.
- И ты хочешь заставить... посоветовать мне...
- Вот именно. Если я велю тебе брать уроки бокса — будешь брать. Напиши матери, что останешься у нас еще на две недели.
- Если ты мне объяснишь...

— Хорошо, вот тебе несколько примеров. Во-первых, ты держишься слишком скованно. Почему? Да потому, что ты никогда не бываешь довольна своей внешностью. Когда знаешь, что хорошо выглядишь и хорошо одета, об этом можно не думать. А ведь в этом секрет обаяния. Чем свободнее ты себя чувствуешь, тем сильнее твоё обаяние.

— Разве тебе не нравится, как я выгляжу?

— Нет. К примеру, ты никогда не приводишь в порядок брови. Они у тебя и черные и блестят, но ты их не приглаживаешь, — и они тебя портят. А между тем они могли б тебя красить, если б ты потратила на них хоть малую толику того времени, что тратишь на ерунду. Приглаживай их так, чтобы они лежали ровно.

Вероника подняла свои раскритикованные брови.

— А разве мужчины обращают внимание на брови?

— Да, сами того не сознавая. Когда вернешься домой, займись зубами. Они у тебя чуть неровные, это почти незаметно, и все же...

— Мне казалось, — опешила Вероника, — что ты презираешь такие мелкие женские ухищрения.

— Я презираю мелкие умишки, — сказала Марджори. — Но во всем, что касается внешности, мелочей не бывает. Если девушка хороша собой, она может болтать о чем угодно: о России, пинг-понге, Лиге наций — ей все сойдет с рук.

— Что еще?

— Я только начала! Теперь поговорим о танцах.

— А разве я плохо танцую?

— Вот именно, что плохо, — ты виснешь на кавалере, да, да, чуть-чуть, но виснешь. Я подметила это вчера. И еще ты держишься, словно палку проглотила, а надо слегка изогнуться. Возможно, какая-то старуха из тех, что вечно сидят на балах по стенам, сказала, что у тебя горделивая осанка. Но так танцевать позволительно только при очень маленьком росте, во всех остальных случаях это неудобно партнеру, а считаться приходится прежде всего с ним.

— Продолжай. — У Вероники голова шла кругом.

— Так вот, научись привечать и незавидных кавалеров. Ты же встречаешь в штыки всех молодых людей, кроме тех, что нарасхват. Да меня на танцах перехватывают на каждом шагу — и хочешь знать кто? В большинстве случаев эти самые незавидные кавалеры. Ими нельзя пренебрегать. В любой компании их большинство. Чтобы научиться поддерживать разговор, нет ничего лучше юнцов, которые от робости теряют дар речи. Чтобы научиться танцевать, нет ничего лучше неуклюжих партнеров. Если ты научишься слушаться их, да еще не без изящества, тебе будет нипочем перепорхнуть с танком через проволочную изгородь до неба вышиной.

Вероника тяжело вздохнула, но Марджори еще не кончила лекцию.

— Если ты сумеешь на танцах развлечь, скажем, трех партнеров из числа незавидных, если ты сумеешь занять их беседой, заставить забыть, что вас никто не разбивает, это уже достижение. Они пригласят тебя еще раз, и со временем у тебя не будет от них отбоя, а за ними — убедившись, что им не грозит часами танцевать с тобой, — потянутся кавалеры попривлекательнее.

— Да, — слабым голосом сказала Вероника, — кажется, кое-что начинает проясняться.

— А в конце концов, и умение держать себя, и обаяние придут сами собой. В одно прекрасное утро ты проснешься и поймешь: вот оно, пришло, и мужчины тоже поймут это.

Вероника встала.

— Спасибо тебе, только никто еще так не говорил со мной, и я просто никак не приду в себя.

Марджори не отозвалась; она вдумчиво разглядывало свое отражение в зеркале.

— Очень мило с твоей стороны, что ты приняла во мне такое участие, — продолжала Вероника.

Марджори снова не отозвалась, и Вероника подумала: уж нехватила ли она через край

со своей благодарностью.

— Я знаю, ты не выносишь сантиментов, — сказала она робко.

Марджори стремительно обернулась.

— Я не об этом думала. Я прикидывала, не стоит ли тебе обрезать волосы.

Вероника навзничь рухнула на кровать.

4

В среду на следующей неделе в загородном клубе намечался обед, а после него — танцы. Когда гостей пригласили к столу, Вероника, отыскав свою карточку, ощутила некоторую досаду. Хотя справа от нее посадили Д.Риса Стоддарда, самого завидного и интересного из здешних кавалеров, с левой, что было важнее, сидел всего лишь Чарли Полсон. Чарли сильно не доставало роста, привлекательности и бойкости, но в свете своей новой умудренности Вероника сочла, что он обладает одним неоспоримым преимуществом — ему еще ни разу не доводилось часами танцевать с ней. А едва унесли последние суповые тарелки, раздражение улеглось, и на помощь пришли наставления Марджори. Спрятав гордость в карман, она набралась храбрости и повернулась к Чарли Полсону.

— Как по-вашему, мистер Чарли Полсон, не обрезать ли мне волосы?

Чарли оторопело поглядел на нее.

— Почему вы спрашиваете?

— Я как раз подумываю об этом. Нет проще и вернее способа обратить на себя внимание.

Чарли вежливо улыбнулся. Ему было невдомек, что ее реплики заранее отрепетированы. Он ответил, что не слишком-то разбирается в прическах. Вероника тут же просветила его.

— Видите ли, я хочу стать роковой женщиной, — невозмутимо заявила она, а далее сообщила, что короткая стрижка — первый, но необходимый шаг на пути к этой цели. И добавила, что обратилась к нему за советом, потому что много наслышана о его строгом вкусе.

Чарли, понимавшему в женской психологии не больше, чем в буддизме, ее слова показались лестными.

— Так вот, я решила, — продолжала Вероника уже чуть громче, — на той неделе прежде всего иду в парикмахерскую отеля «Севье», сажусь в первое кресло и велю меня остричь покороче. — Она осеклась, заметив, что соседи прервали разговоры и прислушиваются, но, вспомнив уроки Марджори, поборолла смущение и завершила свою речь уже для сведения всех окружающих: — Плата за вход, разумеется, обязательная, но тем, кто придет поддержать меня, я выдам контрамарки.

Послышался одобрительный смех, и под шумок Д.Рис Стоддард проворно склонился к Веронике и сказал ей на ухо: «Записываюсь на ложу».

Вероника перехватила его взгляд и просияла, будто он сказал нечто сногшибательно остроумное.

— Вы так верите в короткую стрижку? — спросил Д.Рис по-прежнему вполголоса.

— Я думаю, что она подрывает устои, — серьезно подтвердила Вероника. — Но ничего не поделаешь: приходится либо забавлять людей, либо кормить их, либо шокировать. — Марджори позаимствовала это изречение у Оскара Уайльда. Мужчины засмеялись, девицы смерили ее быстрыми, настороженными взглядами. Но Вероника тут же — будто и не говорила ничего остроумного и примечательного — повернулась к Чарли и доверительно зашептала ему на ухо:

— Мне очень интересно узнать, что вы кое о ком думаете. Мне кажется, вы прекрасно разбираетесь в людях.

Чарли затрепетал и отплатил ей тонким комплиментом, опрокинув ее бокал с водой.

Двумя часами позже у Уоррена Макинтайра, праздно стоявшего в толпе кавалеров и

гадавшего, куда и с кем скрылась Марджори, постепенно сложилось впечатление, не имеющее никакого отношения к предмету его мыслей, — он заметил, что Веронику, кузину Марджори, за последние пять минут не раз отбивали. Он зажмурил глаза и снова их открыл. Только что Вероника танцевала с каким-то приезжим, но это объяснялось легко: приезжий не успел разобраться в обстановке. А сейчас она танцует с другим партнером, и к ней решительно устремляется Чарли Полсон. Вот чудеса! Чарли редко удавалось сменить за вечер больше трех дам. Однако Уоррен просто не поверил своим глазам, когда Чарли наконец отбил Веронику и освобожденным партнером оказался не кто иной, как Д.Рис Стоддард. И Д.Рис, по всей видимости, ничуть не радовался освобождению. В следующий раз, когда Вероника оказалась поблизости, Уоррен пригляделся к ней. Да, она недурна собой, безусловно недурна, а сегодня чадо ее казалось к тому же и оживленным. У нее был такой вид, какой ни одной женщине, пусть даже самой искусной актрисе, ни за что не подделать, — Вероника явно веселилась вовсю. Уоррену понравилась ее прическа — не от бриллиантина ли так блестят ее волосы? И платье ей шло, его винно-красный цвет выгодно подчеркивал ее глаза в густых ресницах и жаркий румянец. Он вспомнил, что сначала, до того, как он раскусил, какая она зануда, Вероника казалась ему хорошенькой. Жалко, что она такая зануда, нет ничего несноснее зануд, но хорошенькая — это уж точно.

Мысли его кружным путем вернулись к Марджори. Она опять исчезла — не в первый раз и не в последний. Когда она вернется, он — опять-таки не в первый и не в последний раз — спросит, где она была и в ответ услышит категоричное: «Тебя это уж никак не касается». Хуже всего, что она так в нем уверена! Она упивается тем, что для него не существует никого, кроме нее; она знает, что ему не влюбиться ни в Роберту, ни в Женевьеву.

Уоррен вздохнул. Путь к сердцу Марджори был поистине извилистее лабиринта. Он поглядел на танцующих. Веронику снова кружил приезжий юнец. Почти бессознательно Уоррен отделился от толпы кавалеров, шагнул было к Веронике, но заколебался. Уверил себя, что им движет сострадание. Направился к Веронике — и столкнулся с Д.Рисом Стоддардом.

— Прошу прощения, — сказал Уоррен.

Но Д.Рис не стал терять времени на извинения. Он снова отбил Веронику.

В час ночи, в холле, Марджори, уже держа руку на выключателе, обернулась в последний раз посмотреть на сияющую Веронику.

— Значит, помогло?

— Да, Марджори, да! — воскликнула Вероника.

— Я видела, ты веселилась вовсю.

— Еще бы! Беда только, что к полуночи я истощила все свои разговорные запасы. И пришлось повторять одно и то же — правда, разным партнерам. Надо надеяться, они не будут обмениваться впечатлениями.

— У мужчин нет такой привычки, — сказала Марджори, зевая. — Но на худой конец они б просто решили, что ты проказница, каких мало.

Она выключила свет. Ступив на лестницу, Вероника с облегчением ухватила за перила. Впервые в жизни она натанцевалась до упаду.

— Понимаешь, — сказала Марджори уже на площадке, — стоит одному мужчине увидеть, что тебя отбивает другой, как он думает: в ней наверняка что-то есть. Ладно, на завтра изобретем что-нибудь новенькое. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Распуская волосы, Вероника перебрала в памяти прошедший вечер. Она в точности выполнила все наставления Марджори. Даже когда к ней в восьмой раз подлетел Чарли Полсон, она изобразила живейший восторг и сумела показать ему, как лестно ей его внимание. Она не говорила с ним ни о погоде, ни об О-Клэре, ни об автомобилях, ни о своей школе, а строго придерживалась одной темы — вы, я, мы с вами.

И тут Веронику осенила бунтарская мысль, мысль эта дремотно крутилась в ее голове до тех пор, пока ее не одолел сон: ведь, в конце концов, успехом-то она обязана прежде всего

себе. Не приходится отрицать, Марджори придумала, что ей говорить, но ведь и Марджори многое из того, что говорила, почерпнула в книгах. И красное платье выбрала она сама, хоть и не очень высоко его ценила, пока Марджори не извлекла его из сундука, она сама произносила те слова, она сама улыбалась, сама танцевала. Марджори славная... но уж очень суетная... какой славный вечер... и все такие славные... особенно Уоррен... Уоррен... Уоррен... Как его там... Уоррен...

И она уснула.

5

Следующая неделя была для Вероники откровением. Она вдруг почувствовала, что ею любят, ее слушают с удовольствием, а с этим пришла и ее уверенность в себе.

Что и говорить, на первых порах случались промахи. К примеру, она не знала, что Дрейкотт Дейо готовится принять сан; ей было невдомек, что он пригласил ее, сочтя тихой и благонаправленной девушкой. Зная она это, она не встретила бы его словами: «Привет, пожиратель сердец!», не стала бы затем потчевать рассказом про ванну: «Летом я просто ума не приложу, как управиться с волосами; они такие густые, поэтому я первым делом причесываюсь, пудрюсь и надеваю шляпку, а уж потом принимаю ванну и одеваюсь. Верно, неплохо придумано?».

Хотя Дрейкотт Дейо сейчас бился над вопросом о крещении путем погружения и, казалось, мог бы узреть тут некую связь, приходится признать, что он ее не узрел. Разговоры о женском купанье он почитал безнравственными и прочел Веронике лекцию о падении нравов в современном обществе.

Но в противовес этому промаху за Вероникой числился ряд блистательных побед. Малыш Отис Ормонд приложил все усилия, чтобы отказаться от поездки на Восток, и теперь повсеместно сопровождал Веронику с истинно щенячьей преданностью к потехе всей компании и к досаде Д.Риса Стоддарда, чьи визиты он не раз отравил нежными до омерзения взорами, которыми пожирал Веронику. Малыш Отис даже рассказал Веронике про доску и дамскую комнату в доказательство того, как чудовищно они в ней ошибались. Вероника посмеялась над его выходкой, но сердце у нее екнуло.

Из всех ее историй наибольшим успехом пользовался рассказ о том, как она обрежет волосы.

— Вероника, когда же вы обрежете волосы?

— Скорее всего, послезавтра, — смеялась она в ответ. Придете поглядеть? Имейте в виду, я на вас рассчитываю.

— Придем ли? Еще бы! Только поторопитесь!

И Вероника, чье намерение принять постриг было чистой воды очковтирательством, снова заливалась хохотом.

— Теперь уж скоро. Будьте готовы.

Однако всего нагляднее, пожалуй, знаменовал ее триумф серый автомобиль этого критикана Уоррена Макинтайра, вечно торчавший у дома Харви. Когда Уоррен в первый раз попросил позвать не Марджори, а Веронику, горничная не поверила своим ушам, а уже через неделю она оповестила кухарку, что мисс Вероника присушила первого ухажера мисс Марджори.

И так оно и было. Не исключено, что сначала Уоррен хотел вызвать ревность Марджори, не исключено, что его привлекли знакомые, хотя и еле уловимые отзвуки Марджори в речах Вероники; не исключено, что свою роль сыграло и то и другое, возможно, чем-то она его и впрямь привлекла. Но так или иначе, а только через неделю младшее поколение пришло к общему мнению: самый надежный поклонник Марджори решительно переключился на ее гостью и вовсю приударяет за ней. Всех интересовало, как примет эту измену Марджори. Уоррен дважды на дню звонил Веронике, посылал ей записки, часто видели, как они разъезжают в его двухместном автомобиле и пылко, вдохновенно выясняют

жизненно важный вопрос: серьезно или нет он относится к ней.

Когда над Марджори подтрунивали, она смеялась в ответ. Она, говорила Марджори, только рада, что Уоррен наконец нашел кого-то, кто отвечает ему взаимностью. И, посмеявшись вместе с ней, младшее поколение решило, что Марджори, по всей видимости, нисколько не огорчена изменой, и на том успокоилось.

За три дня до отъезда Вероника как-то после обеда поджидала Уоррена в холле: они уговорились ехать играть в бридж. Настроение у нее было самое радужное, и когда Марджори, которая ехала туда же, возникла рядом в зеркале и стала небрежными движениями поправлять шляпу, Вероника, не ожидавшая нападения, была захвачена врасплох. И вот тут-то Марджори бестрепетно и решительно, в три фразы, расправилась с ней.

— Советую тебе выкинуть Уоррена из головы, — сказала она жестко.

— Что? — Вероника растерялась.

— Советую тебе: прекрати выставять себя на посмешище. Уоррена ты ничуть не интересуешь.

Какой-то миг они напряженно разглядывали друг друга — высокомерная, отчужденная Марджори и растерянная, разом и сердитая и напуганная Вероника. Но тут перед домом остановились два автомобиля, послышался беспорядочный вой клаксонов. Девушки дружно охнули и бок о бок заспешили к выходу.

Пока шла игра, Вероника тщетно пыталась побороть нараставшую тревогу. Она оскорбила Марджори, этого сфинкса из сфинксов. С самыми что ни на есть благовидными и невинными намерениями она похитила собственность Марджори. Она вдруг почувствовала себя страшно, непоправимо виноватой.

После бриджа гости сели кружком, кто куда, разговор сделался общим, и вот тут-то разразилась буря. Вызвал ее по неосмотрительности Малыш Отис Ормонд.

— Отис, ты когда возвращаешься в свой детский сад? — спросил кто-то.

— Я? Когда Вероника обрежет волосы.

— Тогда считай, что твое образование закончено, — поспешила вставить Марджори. — Это ведь чистый блеф. Я думала, вы ее давно раскусили.

— Правда? — спросил Отис, укоризненно глядя на Веронику.

У Вероники полыхали уши, ей хотелось одернуть Марджори, но, как назло, ничего не приходило в голову. Прямой наскок полностью ее парализовал.

— Блефы — не такая уж редкость, — вполне миролюбиво продолжала Марджори, — и ты, Отис, не так стар, чтобы этого не знать.

— Допускаю, — сказал Отис. — Не стану спорить. Только Веронике с ее язычком...

— Да ну? — зевнула Марджори. — И какая, интересно знать, ее последняя острота?

Никто, похоже, не знал. И впрямь, с тех пор, как она покусилась на поклонника своей музыки, Вероника не говорила ничего примечательного.

— А это правда блеф? — поинтересовалась Роберта.

Вероника колебалась. Она понимала, что ей непременно надо выкрутиться поостроумнее, но взгляд кухни, внезапно обдавший холодом, не давал собраться с мыслями.

— Как сказать, — уклонилась от ответа Вероника.

— Слабо тебе? Признайся, — сказала Марджори.

Вероника заметила, что Уоррен перестал терзать гавайскую гитару и глядит на нее.

— Как сказать, — упрямо повторила она. Щеки ее пламенели.

— Слабо! — повторила Марджори.

— Не отступайтесь, Вероника, — подзуживал Отис. — Укажите Марджори ее место, пусть не важничает.

Вероника затравленно озиралась, ей казалось, глаза Уоррена неотступно следят за ней.

— Мне нравится короткая стрижка, — быстро сказала она, будто отвечая Уоррену, — и

я решила обрезать волосы.

— Когда? — осведомилась Марджори.

— Когда угодно.

— Не откладывай на завтра... — начала Роберта.

Отис сорвался с места.

— Вот и отлично! — завопил он. — Устроим групповую вылазку! Вылазку в цирюльню! Вы, кажется, говорили про отель «Севье»?

Все мигом повскакивали с мест. У Вероники бешено колотилось сердце.

— Как? — выдохнула она.

Над общим шумом вознесся звонкий и презрительный голос Марджори:

— Не беспокойтесь, она еще даст задний ход.

— Вероника, едем, — на бегу кричал ей Отис.

Две пары глаз, Уоррена и Марджори, в упор смотрели на Веронику — бросали ей вызов, подрывали веру в себя.

Еще секунду она мучительно колебалась.

— Ну что ж, — сказала она быстро. — Отчего бы и не поехать?

Те несколько бесконечно долгих минут, когда Уоррен мчал ее по городу, а вся компания катила следом в автомобиле Роберты, Вероника чувствовала себя Марией-Антуанеттой, влекомой в телеге на гильотину. Вероника удивлялась, почему она молчит, почему не крикнет, что все это недоразумение. Она изо всех сил удерживалась, чтобы не схватиться за волосы руками, не спасти их от неожиданно обернувшегося таким враждебным мира. И не делала ни того, ни другого. Даже мысль о матери больше не пугала ее. Ей предстояло доказать свою выдержку, свое право блистать на звездном небосклоне покорительниц сердец.

Уоррен угрюмо молчал, а перед отелем остановился у обочины и дал Веронике знак выходить первой. Вся ватага с хохотом повалила из автомобиля Роберты в парикмахерскую, нагло тарашившуюся на улицу двумя зеркальными окнами.

Вероника стояла на обочине и глядела на вывеску парикмахерской. И правда, ни дать ни взять гильотина, а тот, ближний к окну парикмахер с папиросой в зубах, развязно прислонившийся к креслу, — палач. Наверняка он слышал о ней, наверняка он уже давно ждет ее, куря одну папиросу за другой у этого громоздкого, обязательно мелькающего во всех разговорах кресла. Интересно, завяжут ли ей глаза? Нет, не завяжут, только обернут шею белой простыней, чтобы кровь... что за чушь... волосы... не попали на платье.

— Ну что ж, Вероника, — поторопил ее Уоррен.

Гордо подняв голову, она пересекла тротуар, толкнула вращающуюся дверь и, не глянув в сторону буйно веселящейся компании, подошла к ближайшему мастеру.

— Я хочу обрезать волосы.

У мастера отвисла челюсть. Он выронил папиросу.

— Чего?

— Обрезать волосы!

Отринув дальнейшие переговоры, Вероника взобралась в высокое кресло. Клиент, которого брили рядом, извернулся и метнул на нее взгляд, где изумление мешалось с мыльной пеной. Один из мастеров дернулся, попортив юному Вилли Шунеману ежемесячную стрижку. В последнем кресле хрюкнул и мелодично выругался на языке древних кельтов мистер О'Рейли — ему в щеку вонзилась бритва. Два чистильщика сапог, выкатив глаза, рванули к Веронике. Нет, нет, туфли чистить не нужно.

Вот уже какой-то прохожий уставился в окно; к нему присоединилась парочка; откуда ни возмись о стекло расплющился пяток мальчишеских носов, летний ветерок вносил в дверь обрывки разговоров.

— Гляди-ка, парнишка какие волосищи отрастил!

— Скажешь тоже! Это бородатая тетка, она только что побрилась.

Но Вероника ничего не слышала, ничего не видела. Она ощущала только: вот человек в

белом халате вынимает первую черепаховую гребенку, вот — вторую; руки его неуклюже возятся с непривычными шпильками; ее волосы, ее чудесные волосы — сейчас она лишится их, никогда больше не оттянут они своей роскошной тяжестью ее голову, не заструятся по спине темной блестящей рекой. Она было дрогнула, но тут в поле ее зрения очутилась Марджори — она иронически улыбалась, словно говоря: «Отступись, пока не поздно! Ты решила потягаться со мной. Вот я и вывела тебя на чистую воду. Куда тебе до меня».

Вероника собралась с силами: руки ее под белой простыней сжались в кулаки, а глаза — этим наблюдением Марджори много спустя поделилась с кем-то — зловеще сузились.

Через двадцать минут мастер повернул Веронику лицом к зеркалу, и она содрогнулась, увидев размеры понесенного ущерба. Волосы ее, совершенно прямые, теперь безжизненно повисли унылыми прядями по обеим сторонам внезапно побледневшего лица. Короткая стрижка сделала ее страшной как смертный грех, и ведь она знала наперед, что так и будет. Главная прелесть ее лица заключалась в невинном выражении, придававшем ей сходство с мадонной. Короткая стрижка уничтожила это сходство; теперь она казалась ничуть не эффектной, а скорее... ужасно заурядной и попросту смешной — вылитый синий чулок, только что очки забыла дома.

Слезая с кресла, Вероника попыталась улыбнуться, но улыбки не получилось. Она увидела, как переглянулись две девушки, заметила, как кривятся в сдержанной усмешке губы Марджори, каким холодом обдают ее глаза Уоррена.

— Видите, — слова ее падали в неловкую тишину. — Я не отступилась.

— Да, не отступилась, — согласился Уоррен.

— Ну и как, нравится вам?

В ответ послышалось два-три не слишком искренних «Еще бы», снова наступила неловкая тишина, затем Марджори по-змеиному стремительно обернулась к Уоррену.

— Ты меня подвезешь? — спросила она. — Мне до ужина непременно надо забрать платье из чистки. Роберта едет прямо домой и развезет остальных.

Уоррен отсутствующим взглядом смотрел в окно. Потом глаза его на какой-то миг холодно остановились на Веронике и лишь затем обратилась к Марджори.

— Отлично, — сказал он с расстановкой.

6

Лишь перехватив ошарашенный взгляд тетки перед обедом, Вероника поняла, в какую коварную ловушку ее заманили.

— Бог ты мой. Вероника!

— Я обрезала волосы, тетя Жозефина!

— Да что ты, дитя мое!

— Вам нравится?

— Бог ты мой, Вероника!

— Вы, наверное, возмущены!

— Но что скажет миссис Дейо? Вероника, ты бы хоть повременила, пока не пройдут эти танцы у Дейо, — да, да, повременила, если даже тебе и было невтерпех.

— Так уж получилось, тетя Жозефина. И потом, при чем тут миссис Дейо?

— Бог мой, дитя мое, — запричитала миссис Харви. — Да ведь на заседании нашего клуба она прочла доклад «О пороках молодежи» и целых пятнадцать минут отвела короткой стрижке. Это предмет ее особой ненависти. Подумать только, ведь бал она дает в честь тебя и Марджори.

— Мне очень жаль, тетя.

— Ох, Вероника, и что еще скажет мама? Она подумает, что ты это сделала с моего ведома.

— Мне очень жаль.

Обед был сплошным мучением. Вероника попыталась было наспех помочь делу с

помощью щипцов, но лишь обожгла палец и спалила уйму волос. Тетка не могла скрыть своей досады и огорчения, а дядя то и дело повторял оскорбление и даже чуть неприязненно: «Черт меня подери». Невозмутимая Марджори восседала, отгородясь от всех улыбкой, еле заметной, но заметно издевательской.

Вероника кое-как продержалась вечер. Зашли три молодых человека, Марджори исчезла с одним из них, а Вероника без всякого воодушевления пыталась занять двух остальных, не имела успеха и, поднимаясь в половине одиннадцатого к себе, вздохнула с облегчением. Ну и денек!

Когда она была уже в ночной рубашке, дверь отворилась и вошла Марджори.

— Вероника, — сказала она. — Мне очень жаль, что так неудачно вышло с этим балом у Дейо. Поверь, у меня просто вылетело из головы.

— Чего там, — буркнула Вероника.

Стоя перед зеркалом, она медленно провела гребнем по своим коротким волосам.

— Завтра я тебя свезу к хорошему парикмахеру, и он наведет на тебя красоту. Я никак не думала, что ты решишься. Мне, право, очень жаль.

— Чего там!

— Впрочем, раз послезавтра тебе все равно уезжать, это, по-моему, не имеет такого уж значения.

И тут Веронику передернуло — Марджори, бросив пышные белокурые волосы на грудь, стала не спеша заплетать их на ночь; в кремовом пеньюаре, с двумя длинными косами, она, казалось, сошла с картинки, изображающей прелестную саксонскую принцессу. Вероника заворуженно следила, как косы становятся все длиннее. Густые, тяжелые, они извивались в ловких пальцах Марджори, как растревоженные змеи. Веронике же ничего не оставалось, кроме этих куцых остатков прежней роскоши, щипцов для завивки и любопытных взглядов, от которых никуда не деться весь завтрашний день. Она представила себе, как Д.Рис Стоддард, симпатизировавший ей, склонясь к соседке по столу, изрежет в своей высокомерной гарвардской манере, что зря, мол, Веронику так много пускали в кино, это не пошло ей на пользу; представила, как Дрейкотт Дейо переглянется с матерью, а потом будет подчеркнуто внимателен к ней. Впрочем, скорее всего, завтра миссис Дейо уже донесут о случившемся; она пришлет сухую записку, в которой попросит Веронику не утруждать себя и не приходить к ним, и все будут за ее спиной смеяться, понимая, что Марджори оставила ее в дураках и что она изуродовала себя, потакая ревнивой прихоти себялюбивой девчонки. Она опустила на стул перед зеркалом и прикусила губу.

— А мне нравится, — через силу сказала она. — По-моему, мне пойдет такая прическа.

Марджори усмехнулась.

— Да все в порядке. И не страдай ты так.

— И не думаю.

— Спокойной ночи, Вероника.

Едва за Марджори закрылась дверь, как в Веронике произошел какой-то перелом. Она решительно вскочила, стараясь не шуметь, подбежала к кровати и вытащила из-под нее чемодан. Покидала туда туалетные принадлежности и платье на смену. Потом занялась сундуком — опростала в него два ящика комода, полных белья и летних нарядов. Она двигалась четко и расторопно; не прошло и часа, как сундук был закрыт, затянут ремнями, а она одета в элегантный дорожный костюм, купленный по совету Марджори.

Присев к столику, она написала короткую записку миссис Харви, в которой вкратце изложила, почему уезжает. Запечатав записку, подписала ее и положила на подушку. Поглядела на часы. Поезд уходил в час, она знала, что у отеля «Марборо», за два квартала, всегда можно достать такси.

Вдруг у нее перехватило дыхание, а глаза решительно сверкнули, — человек проницательный заметил бы тут связь с тем выражением решимости, которое появилось у нее в парикмахерской, — во всяком случае, некое его следствие. Выражение, необычное для Вероники и не сулившее ничего доброго.

Вероника прокралась к комоду, вынула оттуда какой-то предмет, погасила все лампы и постояла неподвижно, пока глаза не привыкли к темноте. Потом беззвучно распахнула дверь в комнату кухни. До нее донеслось безмятежное, ровное дыхание Марджори, спящей сном праведницы.

И вот она уже стоит у кровати, до предела сосредоточенная и хладнокровная. Она действовала быстро и ловко. Нагнувшись, ощупью отыскивала одну косу, перехватывая добралась до самого ее основания, чуть припустила, чтобы не дернуть ненароком и не разбудить спящую, приставила ножницы и чикнула. Зажав косу в кулаке, Вероника на миг затаила дыхание. Марджори что-то пробормотала во сне. Вероника ловко отрезала вторую косу, секунду помедлила, потом быстро и неслышно выскользнула из комнаты.

Внизу она открыла массивную парадную дверь, тщательно притворила ее за собой и с ощущением небывалого восторга и счастья, помахивая увесистым чемоданом, будто сумочкой, ступила с порога в лунный свет. Бодро зашагала к отелю, но почти сразу спохватилась, что еще несет в левой руке две белокурые косы. Неожиданно расхохоталась и поспешно прикрыла рот рукой, чтобы не завизжать от радости. Поравнявшись с домом Уоррена, она, повинаясь внезапному порыву, опустила чемодан на землю, взметнула косами, как обрывками веревок, размахнулась — и косы с глухим стуком упали на деревянное крыльцо.

Вероника снова рассмеялась — теперь уже не сдерживаясь.

— Ага, получила! — закатывалась она. — Сняли скальп с вредины!

Потом подхватила чемодан и чуть не бегом припустилась по залитой луною улице.

САМОЕ РАЗУМНОЕ

1

Когда пробил Священный Час Всеамериканского Ленча, Джордж О'Келли неторопливо и с преувеличенной старательностью навел порядок на своем столе. В конторе не должны знать, как он спешит: успех зависит от производимого впечатления, и ни к чему оповещать всех, что твои мысли за семьсот миль от работы.

Зато на улице он стиснул зубы и побежал, лишь изредка вскидывая глаза на яркое весеннее небо, повисшее над самыми головами прохожих. Прохожие глядели вверх, полной грудью вдыхали мартовский воздух, заполнивший Таймс-сквер, и, ослепленные солнцем, не видели никого и ничего, кроме собственного отражения в небе.

Но Джорджу О'Келли, чьи мысли витали за семьсот миль, весенняя улица казалась мерзкой. Он влетел в подземку и все девяносто пять кварталов с яростью смотрел на рекламный плакат, очень живо показывавший, что у него есть лишь один шанс из пяти не остаться через десять лет без зубов. На станции «Сто тридцать седьмая улица» он прекратил изучение коммерческого искусства, вышел из подземки и снова побежал: на этот раз он тревожно и неудержимо стремился к себе домой — в одну-единственную комнату огромного мерзкого доходного дома у черта на куличках.

И в самом деле, письмо — священными чернилами на благословенной бумаге — лежало на комод; сердце Джорджа застучало на весь город, только что никто не слышал. Он вчитывался в каждую запятую, пометку, в след от большого пальца с краю; потом безнадежно повалился на кровать.

С ним случилось несчастье, одно из тех страшных несчастий, которые сплошь и рядом обрушиваются на бедняков, коршунами кружат над бедностью. Бедные вечно то идут ко дну, то идут по миру, то идут по дурной дорожке а бывает, и умеют как-то держаться, этому тоже учит бедность; но Джордж О'Келли впервые ощутил, что он беден, и очень удивился бы, если бы кто-нибудь стал отрицать исключительность его положения.

Не прошло и двух лет с тех пор, как он с отличием окончил Массачусетский

технологический институт и получил место в строительной фирме на юге Теннесси. Он с детства бредил туннелями и небоскребами, и огромными приземистыми плотинами, и высокими трехпилонными мостами, похожими на взявшихся за руки балерин — балерин ростом с дом, в пачках из тросовых стренг. Ему казалось очень романтичным изменять течение рек и очертания гор и дарить жизнь бесплодным и мертвым уголкам земли. Он любил сталь, она виделась ему во сне и наяву — расплавленная сталь, сталь в брусках и болванках, стальные балки и сталь бесформенной податливой массой; она ждала его, как холст и краски ждут художника. Неистощимая сталь, он переплавлял ее в огне своего воображения в прекрасные строгие формы.

А теперь он за сорок долларов в неделю служит в страховой компании, повернувшись спиной к быстро ускользающей мечте. Маленькая темноволосая девушка — причина этого несчастья, этого страшного, непереносимого несчастья — живет в Теннесси и ждет, когда он вызовет ее к себе.

Через четверть часа к нему постучалась женщина, которая от себя сдавала ему комнату в квартире; она довела его до белого каления заботливым вопросом, не подать ли ему закусить, раз уж он дома. Он мотнул головой, но это вывело его из оцепенения, он встал с кровати и написал текст телеграммы:

«Огорчен письмом ты потеряла мужество как ты можешь думать разрыве глупенькая успокойся поженимся немедленно уверен проживем...»

После минутного колебания он принял отчаянное решение и дописал дрожащей рукой: «...приеду завтра шестичасовым».

Закончив, он побежал на телеграф у станции подземки. Его достояние не составляло и сотни долларов, но ведь она пишет, что «издергалась», и ничего не поделаешь — надо ехать. Он понимал, что означает это «издергалась»: она пала духом, перспектива семейной жизни в бедности и постоянной борьбе за существование оказалась непосильной для ее любви.

Джордж О'Келли бегом вернулся в страховую контору — бег вошел у него в привычку, выражая, по-видимому, то нервное напряжение, в котором он непрерывно находился. Он сразу постучал в кабинет к управляющему.

— Мистер Чамберс, я к вам, — объявил он, не успев отдышаться.

— Я вас слушаю. — Глаза, холодные и непроницаемые, как зимние окна, глянули на него.

— Мне нужен отпуск на четыре дня.

— Вы же брали отпуск ровно две недели назад, — сказал изумленный мистер Чамберс.

— Совершенно верно, — смущенно подтвердил молодой человек, — но сейчас мне необходим еще один отпуск.

— Куда вы ездили в прошлый раз? Домой?

— Нет, я ездил... к одним знакомым в Теннесси.

— Ну, а куда вам нужно сейчас?

— Сейчас мне нужно... к одним знакомым в Теннесси.

— Вам нельзя отказать в постоянстве, — сухо сказал управляющий. Однако, насколько мне известно, вы у нас работаете не на должности коммивояжера.

— И все-таки, — в отчаянии произнес Джордж, — мне обязательно нужно туда съездить.

— Пожалуйста, — согласился мистер Чамберс, — но вам совсем не обязательно возвращаться. Так что не трудитесь.

— И не вернусь.

Джордж и сам удивился не меньше мистера Чамберса, почувствовав, что лицо у него розовеет от радости. Он был счастлив, он ликовал — впервые за эти полгода ничто его не связывает! Его глаза наполнились слезами благодарности, и он пылко схватил мистера Чамберса за руку.

— Спасибо вам, — сказал он с чувством, — я и не хочу возвращаться. Я, наверное, сошел бы с ума, если бы вы позволили мне вернуться. Но я как-то не мог сам уйти с работы,

и я вам очень благодарен, что вы все решили за меня.

Он великодушно махнул рукой, пояснив: «Вы должны мне за три дня, но это неважно», и кинулся прочь из кабинета. Мистер Чамберс звонком вызвал стенографистку и спросил, не замечала ли она в последнее время за О'Келли каких-нибудь странностей. Он занимал свой пост много лет, уволил на своем веку много людей, и принимали они это по-разному, но чтобы его за это благодарили — такого еще не было никогда.

2

Ее звали Джонкуил Кэри, и когда, увидев Джорджа, она в нетерпении бросилась по платформе ему навстречу, ее лицо потрясло его своей свежестью и бледностью. Ее руки уже протянулись его обнять, а рот приоткрылся для поцелуя, как вдруг она слегка отстранила его и чуть смущенно оглянулась. За ее спиной стояли двое юношей, помоложе Келли.

— Знакомься — это мистер Крэддок и мистер Холт, — весело объявила она. — Да ты с ними знаком, вспоминаешь?

Итак, вместо поцелуя любви — светская болтовня; Джордж огорчился и встревожился, заподозрив в этом какой-то скрытый смысл; он расстроился еще сильнее, когда выяснилось, что они поедут к Джонкуил в автомобиле одного из молодых людей. Это каким-то образом ставило его в невыгодное положение. По дороге Джонкуил щебетала, поворачиваясь то к переднему, то к заднему сиденью; воспользовавшись полумраком, он попытался ее обнять, но она быстро отстранилась, только вложила свою руку в его.

— Куда мы едем? — шепнул он. — Я что-то не узнаю улицу.

— Это новый бульвар. Джерри как раз сегодня купил автомашину, и он хочет по дороге продемонстрировать мне ее.

Через двадцать минут они вышли из автомобиля у дома Джонкуил, но теперь ее глаза уже не сияли счастьем, как на вокзале, и Джордж почувствовал, что эта поездка вторглась в первую радость свидания и разрушила ее. Он так мечтал об этой встрече, и вот все испорчено из-за какой-то чепухи, с горечью подумал он, сухо прощаясь с Крэддоком и Холтом. Но потом на душе у него стало легче, потому что Джонкуил привычно обняла его под тусклой лампой в холле, высказывая в разных выражениях — а лучше всего, когда без слов, — как скучала о нем. Ее взволнованность успокаивала, внушала надежду, что все будет хорошо.

Они сели на диван, захваченные близостью друг друга, шепча отрывочные ласковые слова и позабыв обо всем остальном. К ужину вышли родители Джонкуил, они были ему рады. Они к нему хорошо относились в первое время его жизни в Теннесси, год с лишним тому назад, — проявляли большой интерес к его работе в строительной фирме. Когда он решил пожертвовать ею и поехать в Нью-Йорк искать место, где можно было бы быстрее встать на ноги, они сокрушались, что он прерывает неплохо начатую карьеру, но понимали его и были готовы дать согласие на помолвку. За столом они спросили, как у него дела в Нью-Йорке.

— Все идет отлично, — с воодушевлением ответил он. — Меня повысили... прибавили жалованье.

Говоря так, он чувствовал себя глубоко несчастным, зато они все уверяли, что страшно рады за него.

— Видно, что вас там ценят, — сказала миссис Кэри. — Иначе вам бы не удалось отпроситься дважды за три недели.

— А я сказал: придется вам меня отпустить. Я сказал: не отпустите увольнюсь, — поспешил объяснить Джордж.

— Только лучше бы вам откладывать деньги, — мягко упрекнула миссис Кэри. — А то ведь вы тратите на эти поездки весь свой заработок.

Ужин кончился — они с Джонкуил снова остались наедине, и она снова прильнула к нему.

— Милый, я так рада, что ты здесь, — вздохнула она. — Хорошо бы ты никогда больше не уезжал.

— Ты соскучилась?

— Да, очень.

— А скажи... у тебя часто бывают в гостях другие мужчины? Вроде тех двух мальчиков?

Вопрос удивил ее. Черные бархатные глаза округлились.

— Конечно. Все время. Я ведь тебе писала, милый.

Ну, разумеется. Когда он только приехал в этот город, ее уже окружала дюжина поклонников; они по-юношески восхищались ее экзотической хрупкостью, а кое-кто из них замечал, что ее красивые глаза смотрят трезво и снисходительно.

— По-твоему, я нигде не должна бывать? — резко спросила Джонкуил, откидываясь на спинку дивана и словно бы сразу оказавшись за много-много миль. — Так и должна всю жизнь сидеть в четырех стенах?

— Это как же понять? — испугался он. — Ты хочешь сказать, у меня никогда не будет денег, чтобы жениться на тебе?

— Джордж, ты слишком торопишься с выводами.

— Ничего подобного, ты именно это и сказала.

Джордж решил оставить скользкую тему. Надо избегать всего, что может испортить этот вечер. Он попытался снова ее обнять, но она неожиданно воспротивилась:

— Жарко. Я принесу вентилятор.

Включив вентилятор, они снова сели на диван, но Джордж был так взвинчен, что невольно бросился прямо в запретную область.

— Когда ты станешь моей женой?

— А ты уже готов к тому, чтобы я стала твоей женой?

Вдруг у него сдали нервы, и он вскочил.

— Да выключи ты этот чертов вентилятор! — закричал он. — Он меня бесит. Он не воздух гонит, а наше с тобой время. Я хочу быть здесь счастливым и забыть о времени и о Нью-Йорке...

Он опустился на диван так же неожиданно, как вскочил. Джонкуил выключила вентилятор и, положив его голову к себе на колени, стала гладить по волосам.

— Давай посидим вот так, — мягко сказала она. — Посидим тихонечко, вот так, и я буду тебя баюкать. Ты устал, мой родной, ты издергался, но теперь твоя любимая позаботится о тебе.

— Я не желаю сидеть тихонечко, — возразил он, резко выпрямляясь. Вовсе я не хочу сидеть тихонечко. Я хочу, чтобы ты целовала меня. Только это меня успокаивает. И потом, кто из нас издергался? По-моему, не я, а ты. А я совсем не издергался.

В доказательство он встал с дивана, пересек комнату и плюхнулся в кресло-качалку.

— И как раз теперь, когда я уже могу на тебе жениться, ты пишешь, что издергалась, ты шлешь мне такие письма, словно собираешься порвать со мной, и заставляешь меня мчаться сюда...

— Не приезжай, если не хочешь.

— Но я хочу!

Ему казалось, что он рассуждает хладнокровно и логично и что она нарочно сваливает вину на него. С каждым словом они все больше удалялись друг от друга, но он был не в силах ни остановиться, ни говорить спокойно; голос выдавал его тревогу и боль.

Потом Джонкуил горько расплакалась, и он вернулся на диван и обвинил ее рукой. Теперь уже он утешал ее, он притянул ее голову к себе на плечо и нашептывал ей «их» привычные словечки, и она мало-помалу успокаивалась, лишь порой вздрагивала у него в объятиях. Больше часа просидели они так, а за окном в вечернем воздухе таяли последние аккорды роялей. Джордж сидел, не двигаясь, не думая, не надеясь, — предчувствие катастрофы словно бы одурманило его. Часы будут тикать и тикать пробьют одиннадцать,

двенадцать, потом миссис Кэри тихо окликнет их, перегнувшись через перила лестницы, а дальше он видел только завтра и конец всему.

3

Конец наступил в самое жаркое время следующего дня. Правду друг о друге угадали оба, но она первая решилась признать это вслух.

— Не стоит тебе дальше мучиться в этой конторе, — начала она с несчастным видом. — Ведь она тебе противна, ты никогда там ничего не добьешься, и сам отлично это знаешь.

— Не в том дело, — упрямо возразил он. — Противно мне мучиться одному. Если бы ты решилась, вышла за меня, поехала со мной, я бы всего добился, но не сейчас, когда в мыслях у меня только одно: как ты здесь без меня.

Прежде чем ответить, она долго молчала, не обдумывая — ей уже все было ясно, — а просто оттягивая, ведь она знала, какими жестокими покажутся ему ее слова.

Наконец она заговорила:

— Джордж, я люблю тебя всем сердцем, я едва ли полюблю другого. Если бы ты мог жениться два месяца назад, я бы вышла за тебя... Но сейчас я уже поняла, что это не самое разумное...

Он стал исступленно обвинять ее — она что-то скрывает, у нее есть другой!

— Никого у меня нет.

Это была правда. Но роман с Джорджем требовал от нее очень большого напряжения душевных сил, и в обществе молодых людей вроде Джерри Холта, имевших то преимущество, что они не играли никакой роли в ее жизни, она находила разрядку.

Джордж, однако, не желал смириться. Он схватил ее в объятия и попытался поцелуями буквально вынудить у нее согласие на немедленный брак. Потерпев неудачу, он оплакал себя в длинном монологе и остановился, лишь увидев, что этим только вызывает у нее презрение. Он грозился уехать, хотя совсем не собирался уезжать, а когда она сказала, что сейчас ему и правда лучше уехать, заявил, что никуда не поедет.

Она сначала была опечалена, а потом уже только снисходительна.

— Да уходи же! — закричала она наконец так громко, что миссис Кэри испуганно сбежала по лестнице.

— Что случилось?

— Я уезжаю, миссис Кэри, — произнес он прерывающимся голосом.

Джонкуил вышла из комнаты.

— Ну что вы так убиваетесь, Джордж. — Миссис Кэри понимающе и беспомощно моргала глазами: ей было жаль юношу, но она радовалась, что эта маленькая драма уже, можно сказать, позади. — Знаете, что я вам посоветую? Съездите-ка на недельку домой, к маме. А решение это, в конце концов, видимо, самое разумное...

— Прошу вас, замолчите! — закричал он. — Пожалуйста, не надо ничего говорить!

Вернулась Джонкуил — она скрыла и грусть и волнение под пудрой, румянами и шляпкой.

— Я вызвала такси, — ни к кому не обращаясь, сказала она. — До поезда покатаемся по городу.

Она вышла на улицу. Джордж надел плащ и шляпу и с минуту постоял в холле — он был без сил: кусок не мог проглотить с самого Нью-Йорка. Подошла миссис Кэри, нагнула к себе его голову, поцеловала в щеку, и он почувствовал себя смешным и жалким, понимая, что в сцене разрыва он тоже играл смешную и жалкую роль. Надо было уехать вчера вечером — сдержанно и гордо расстаться навсегда.

Целый час бывшие возлюбленные ездили на такси по городу, выбирая малолюдные улицы. Он держал ее за руку и в лучах солнца постепенно успокаивался, запоздало убеждаясь, что тут ничего и нельзя было ни сделать, ни сказать.

— Я вернусь, — пообещал он ей.

— Знаю, — ответила она, пытаясь выразить голосом веселую уверенность. И мы будем иногда писать друг Другу.

— Нет, — сказал он. — Писать мы не будем. Этого я не вынесу. Просто в один прекрасный день я вернусь.

— Я никогда не забуду тебя, Джордж.

На вокзале она пошла с ним в кассу брать билет.

— Кого я вижу! Джордж О'Келли и Джонкуил Кэри!

Это была их знакомая пара, они встречались еще в те времена, когда Джордж здесь работал, и при виде их Джонкуил, кажется, обрадовалась. Бесконечные пять минут общего разговора, а потом поезд, оглушительно гудя, въехал под крышу вокзала, и Джордж, с гримасой плохо скрытого отчаяния, сделал движение обнять Джонкуил. Она неуверенно шагнула к нему, остановилась в нерешительности и быстро подала ему руку, будто прощалась с не очень близким приятелем.

— До свиданья, Джордж, — сказала она. — Счастливого пути.

— До свиданья, Джордж. Приезжайте еще и непременно дайте нам знать.

Онемев, почти ослепнув от боли, он подхватил свой чемоданчик и, как в тумане, поднялся в вагон.

Поезд лязгает на переездах, набирает скорость на широких пространствах пригородов, а солнце опускается все ниже. Может быть, и она сейчас поглядит на заходящее солнце, остановится, оглянется, вспомнит; а наутро его образ поблекнет, станет для нее прошлым. Эта ночь навсегда окутает тьмой солнце, и деревья, и цветы, и смех — весь мир его юности.

4

Прошло больше года, и вот в сырой сентябрьский день молодой человек с лицом, загорелым до цвета потускневшей меди, сошел с поезда в одном городе в Теннесси. Он тревожно огляделся и, казалось, почувствовал облегчение, убедившись, что его никто не встречает. Взяв такси, он отправился в лучшую в городе гостиницу и не без гордости записал в книге для приезжающих: «Джордж О'Келли, проездом из Куско (Перу)».

Поднявшись к себе, он посидел у окна, глядя на знакомую улицу. Потом снял телефонную трубку и назвал номер; руки у него чуть-чуть дрожали.

— Можно попросить мисс Джонкуил?

— Я вас слушаю.

— Это... — Он преодолел едва заметную вибрацию в голосе и продолжал дружески просто: — Это Джордж О'Келли. Ты получила мое письмо?

— Да. Я так и думала, что ты приезжаешь сегодня.

Ее голос, ровный и спокойный, взволновал его, но разве такого он ожидал? С ним говорила чужая женщина, невозмутимая, светски-любезная — не более того. Ему захотелось бросить трубку и перевести дух.

— Давно я тебя не видел. Кажется... больше года?

Ему удалось высказать это как мысль, только что пришедшую в голову. На самом деле он знал сколько, с точностью до одного дня.

— Буду очень рада тебя повидать.

— Ну так я приеду через час примерно.

Он повесил трубку. Так вот оно, мгновение, предвкушением которого двенадцать долгих месяцев была заполнена каждая его свободная минута... Он представлял себе, как застанет ее замужем, или помолвленной, или любящей другого, — не представлял одного: что его возвращение будет ей безразлично.

Он пережил неповторимое время. По общему признанию, он добился замечательных для молодого инженера успехов: ему подвернулись два редкостных случая, один в Перу, откуда он возвращался, другой — как следствие первого — в Нью-Йорке, куда он сейчас

направляется. Он сделал рывок из бедности в мир неограниченных возможностей.

Он посмотрелся в зеркало на туалетном столике. Загорел дочерна, но тем романтичнее, и всю последнюю неделю, когда у него появилось время думать о таких вещах, это его очень радовало. Он вообще нравился самому себе настоящий мужчина, сильный и отважный. Бровь обгорела, колено в эластичном бандаже, и по молодости лет он отлично замечал, какой интерес вызывала у многих попутчиц на пароходе необычность его облика.

Одет он, правда, ужасно. Костюм ему сшил за два дня портной-грек в Лиме. Джордж, опять-таки по молодости лет, не преминул извиниться за это перед Джонкуил в своем письмеце, которое было весьма лаконично: еще оно содержало лишь настойчивую просьбу, чтобы Джонкуил его ни в коем случае не встречала.

Джордж О'Келли, прибывший из Куско (Перу), выждал у себя в номере ровно полтора часа, пока солнце не оказалось точно над головой. А тогда, свежесбритый, припудрившись тальком, чтобы выглядеть все же человеком белой расы — в последнюю минуту тщеславие одержало верх над романтикой, он взял такси и поехал к хорошо знакомому дому.

Он тяжело дышал, но приписал это простому возбуждению, а не чувству. Он здесь, она не замужем — чего ему еще нужно? Он даже не знал толком, что хочет ей сказать. Но все равно ни на что на свете не променял бы этого события в своей жизни. Ведь в конечном счете только ради женщины и нужны победы, и если уж он не может сложить свои трофеи к ее ногам, ему хотелось хоть одно мгновение подержать их у нее перед глазами.

Дом как-то внезапно вырос рядом, и на первый взгляд показался Джорджу странно нереальным. Ничего не изменилось — однако изменилось все. Дом маленький, обшарпанный — очарование не парит облаком над крышей, не струится из окон второго этажа. На звонок ему открыла незнакомая цветная служанка. Мисс Джонкуил сейчас спустится. Он нервно облизал губы, прошел в гостиную, и ощущение нереальности стало еще острее. Оказывается, это просто-напросто комната, а не заколдованный чертог, где он провел те незабываемые мучительные часы. Он сел в кресло и удивился, что это просто-напросто кресло, а потом понял, что только его воображение в те прежние времена смещало пропорции, расцветчивало будничные предметы.

Но тут отворилась дверь и вошла Джонкуил... и комната словно бы поплыла у него перед глазами. Он все же успел забыть, как она хороша, и теперь чувствовал, что бледнеет и что голос отказывает ему.

Она была в бледно-зеленом, на прямых темных волосах короной — золотая лента. И тут же его глаза встретились с теми прежними бархатными глазами, и он сжался от страха: ее красота сохранила способность причинять ему боль.

Он поздоровался, оба сделали несколько шагов, встретились и обменялись рукопожатием. Потом сели в разных углах комнаты и оттуда разглядывали друг друга.

— Вот ты и вернулся, — сказала она, а он ответил столь же банально:

— Я проездом, решил заехать повидаться.

Он избегал смотреть на ее лицо, думая, что так быстрее справится с дрожью в голосе. Говорить полагалось ему, но сказать было вроде бы нечего, разве что тут же начать хвастаться. У них и раньше было не в обычае болтать просто так, а уж в таких обстоятельствах, как сейчас, и подавно не заговоришь о погоде.

— Это становится смешно, — вырвалось вдруг у него в приливе смущения. Я сижу как дурак и не знаю, о чем говорить. Тебе в тягость мое присутствие?

— Нет. — Ответ был сдержанный, неопределенно-грустный. Это огорчило Джорджа.

— Ты помолвлена? — резко спросил он.

— Нет.

— Ты кого-нибудь любишь?

Она покачала головой.

— Вот как...

Он откинулся на спинку кресла. Еще одна тема, кажется, исчерпана, и разговор опять пошел не так, как он задумал.

— Джонкуил, — снова начал он, на этот раз мягче. — После всего, что было между нами, мне захотелось вернуться и увидеть тебя. Как бы ни сложилась у меня жизнь, я никогда не буду любить другую, как любил тебя.

Эта маленькая речь была из тех, которые он подготовил заранее. На пароходе она казалась ему очень удачной — в ней было обещание помнить ее всю жизнь и вместе с тем никакой ясности насчет его нынешних чувств. Но здесь, где прошлое обступало его, стояло у него за спиной, тяжело наполняло атмосферу, эти слова звучали ходульно и избито.

Она выслушала его молча, не шелохнувшись, не сводя с него глаз, в которых читалось все, что угодно... а может быть, и ничего.

— Ты меня больше не любишь? — спросил он ровным голосом.

— Нет.

Когда чуть позже вошла миссис Кэри и завела разговор о его успехах местная газета напечатала о нем заметку, — он был весь в смятении чувств. Ясно было ему только, что эта девушка по-прежнему нужна ему и что прошлое иногда возвращается. Но теперь он проявит себя мужчиной, сильным и осмотрительным... а там будет видно.

— Ну, а сейчас, — продолжала миссис Кэри, — прошу вас, зайдите вдвоем к той даме, которая разводит хризантемы. Она говорила мне, что непременно хочет вас увидеть — она читала про вас в газете.

Они отправились к той даме, которая разводит хризантемы. Шли по улице, и, как прежде, на каждый его шаг приходилось два ее коротких шажка — еще одно волнующее воспоминание. Дама оказалась очень милой, а хризантемы были огромные, изумительно красивые — белые, розовые, желтые, и в таком изобилии, точно стоял июль. У дамы было два цветника, соединенных калиткой; обойдя с гостями первый, хозяйка впереди них прошла во второй.

И тут кое-что произошло. Джордж отступил, пропуская Джонкуил, но она все стояла и смотрела на него. И дело даже не в том, как она — без улыбки — смотрела на него, а скорее в самом молчании. Они увидели глаза Друг друга, и оба быстро перевели дух, а потом прошли в калитку. Вот и все.

Вечерело. Они поблагодарили хозяйку и отправились домой — шли медленно, задумчиво, бок о бок. За обедом тоже были молчаливы. Джордж вкратце рассказал мистеру Кэри о том, как все сложилось у него в Южной Америке, и сумел дать понять, что теперь перед ним открывается зеленая улица.

Кончился обед, и они с Джонкуил остались одни в комнате, которая видела начало их любви и ее конец. Как давно это было и как невыразимо грустно! Так мучиться и страдать, как он страдал тогда на этом самом диване, он в жизни уже не будет. Никогда он не будет таким слабым, и усталым, и несчастным, и бедным. И однако же тот мальчик, пятнадцать месяцев назад, был чем-то богаче его. Верой? Пылкостью? Самое разумное... Они сделали самое разумное. Ценой юности он приобрел силу, из отчаянья выковал успех. Но вместе с юностью жизнь унесла непосредственность его любви.

— Выходи за меня замуж, — спокойно сказал он.

Джонкуил покачала темноволосой головой.

— Я вообще не выйду замуж.

Он кивнул.

— Завтра утром я еду в Вашингтон.

— Вот как?

— Надо. К первому я должен быть в Нью-Йорке, а до того хотел побывать в Вашингтоне.

— Все дела?

— Н-нет. — Он притворился, что ему неприятно говорить. — Я должен там кое с кем встретиться. С кем-то, кто очень поддержал меня, когда я, помнишь, был так... выбит из колеи.

Сплошная выдумка. Никто не ждал его в Вашингтоне. Но он зорко наблюдал за

Джонкуил, и, конечно же, она чуть заметно вздрогнула, на секунду закрыла глаза.

— Мне пора идти, я только хочу рассказать тебе, что произошло со мной с тех пор, как мы расстались, и... раз уж это, может быть, наша последняя встреча... посиди у меня на коленях, как, помнишь, в те прежние времена. Если бы у тебя был другой, я бы не просил, впрочем... как знаешь.

Она кивнула и села к нему на колени, как той ушедшей весной. Он остро ощутил ее голову на своем плече, все ее такое знакомое тело. Непроизвольно чуть было не сжал ее в объятиях, и потому откинулся на спинку дивана и заговорил, глядя в пространство, обдумывая каждое слово.

Он рассказал ей, как в Нью-Йорке, после двух недель отчаяния, поступил на интересную, хоть и не очень денежную работу на строительстве в Джерси-Сити. Потом возник этот перуанский вариант, и поначалу он вовсе не казался таким уж блестящим. Должность самого младшего инженера в группе американских специалистов, Но из всей группы до Куско добрались живыми только десять человек, из них восемь — геодезисты и землемеры. Через десять дней умирает от желтой лихорадки начальник экспедиции. Изумительная удача, счастливый случай, которым не воспользовался бы только дурак, фантастический случай.

— Не воспользовался бы только дурак? — с невинным видом переспросила она.

— И дурак воспользовался бы, — продолжал он. — Грандиозная удача. Итак, я телеграфирую в Нью-Йорк...

— А оттуда, — снова перебила она, — телеграфируют в ответ, что разрешают тебе воспользоваться случаем?

— Разрешают?! — Он все так же сидел, откинувшись на спинку. Приказывают! Нельзя терять времени...

— Ни минуты?

— Ни минуты.

— Даже на то, чтобы... — Она сделала паузу.

— На что?

— ...посмотреть на меня.

Он вдруг повернул голову, а она потянулась к нему, и рот у нее был полураскрыт, как цветок.

— На это, — прошептал он ей в губы, — у меня всегда есть время, масса времени...

Масса времени — его жизнь и ее. Но, целуя ее, он на миг осознал, что той весны ему не вернуть, сколько ни ищи, хоть целую вечность. И пусть теперь он имеет право прижать ее к себе с такою силой, что мускулы вздуваются на руках, — она его желанная и драгоценная добыча, он ее завоевал, — но не будет неуловимого шепота в сумерках, шепота в ночи...

Что ж, сказал он себе, ничего не поделаешь. Прошла весна, прошла. Какой только любви не бывает в жизни, но нельзя два раза любить одинаково.

ЛЕДЯНОЙ ДВОРЕЦ

1

Дом был облит золотистой охрой, словно декоративная ваза, и редкие пятачки тени давали особенно почувствовать напор затопляющего света. Дома ближайших соседей, Баттеруортов и Ларкинов, прятались за высокими раскидистыми деревьями, а дом Хэпперов стоял на самом солнцепеке и целый день с добродушным терпением караулил пыльную дорогу. Место действия Тарлтон, в самом южном углу штата Джорджия, время — сентябрь, полдень.

Сверху, из спальни, опустив на подоконник подбородок, девятнадцатилетняя Салли Кэррол Хэппер наблюдала за стареньким «фордом» Кларка Дарроу, свернувшим к их дому.

Автомобиль дышал жаром, солнце и мотор нещадно накалили его металлические части, и сам Кларк Дарроу, со страдальчески-напряженным выражением оцепеневший за рулем, ощущал себя частью механизма, и притом весьма ненадежной. Под протестующий скрежет колес он осторожно переехал присыпанную пылью наезженную колею, потом, ожесточившись лицом, до отказа вывернул баранку и в целости доставил себя и автомобиль почти к порогу дома. Мотор издал жалобное агонизирующее бормотание, наступила тишина, и воздух разрезал резкий свист.

Сонными глазами смотрела вниз Салли Кэррол. Ей захотелось зевнуть, но для этого требовалось поднять голову, и, подавив зевок, она продолжала молча созерцать автомобиль, между тем как его владелец, застыв в картинно скучающей позе, ждал ответа. В следующую минуту новый свист пронзил пыльное безмолвие.

— Доброе утро.

Кларк ужом потянулся из кабины и скосил глаза на окно.

— Утро ты уже проспала, Салли Кэррол.

— Правда?

— Что делаешь?

— Яблоко ем.

— Поехали купаться?

— Можно.

— Тогда, может быть, поторопишься?

— Может быть.

Салли Кэррол глубоко вздохнула и с великой неохотой поднялась с пола, где остались следы ее занятий — обкусанное яблоко и раскрашенные для сестренки бумажные куклы. Она подошла к зеркалу, не спеша и с удовольствием полюбовалась на свое приветливое отражение, мазнула помадой губы, припудрила нос и накрыла коротко стриженную русую голову соломенной шляпкой с розочками. Под ноги ей попало блюдце с водой от красок, она чертыхнулась, но прибирать не стала и ушла из комнаты.

— Как дела, Кларк? — спросила она минуту спустя, ловко перепорхнув через бортик кабины.

— Превосходно, Салли Кэррол.

— Куда мы едем?

— На пруд к Уолли. Я обещал Мэрилин заехать за ней и Джо Юингом.

Кларк был смуглый, поджарый, немного сутулился при ходьбе. У него был колючий взгляд и довольно неприветливое лицо, пока он не улыбнется, а улыбался он светло и часто. Кларк имел «доход», которого ему едва хватало на себя и на бензин, и, окончив технический колледж своего штата, он третий год сонно слонялся по мирным улочкам родного городка, делясь планами, как выгоднее поместить свой капитал.

Убивать время оказалось совсем не трудным делом; прекрасно поднималась молодая девичья поросль, и всех ярче цвела необыкновенная Салли Кэррол; подруг не приходилось упрашивать съездить купаться, сходить на танцы, поамурничать душистыми летними вечерами, и Кларка они все буквально обожали. От пресыщенности женским обществом спасали приятели, которые собирались в самом скором времени заняться делом, а пока были всегда не прочь составить компанию в гольф или бильярд, посидеть за квартал пшеничной. Время от времени кто-нибудь из них перед отъездом в Нью-Йорк, Филадельфию или Питтсбург делал прощальный обход друзей, но основную массу навсегда засасывал этот рай, где небо навевало грезы, сумерки высыпали светляков, на ярмарках шумели негры и, главное, где водились такие нежные, с мелодичными голосами девушки, прошедшие бесплатную школу семейных преданий.

«Форд» завелся, закипая от раздражения, и Кларк и Салли Кэррол, поднимая пыль, с треском пронесли по Вэли-авеню и выкатились на мостовую Джефферсон-стрит; миновав редкую россыпь особняков на поверженной в сон Миллисент-плейс, дорога устремилась в центр города. Здесь уже ехать было небезопасно — самое людное время; прохожие беспечно

толклись на мостовой, с черепашьей скоростью тянувшийся трамвай гнал перед собой протяжно мычавшее стадо; казалось, и магазины вот-вот сморит глубокий сон — так откровенно зевали их двери и шурились от света витрины.

— Салли Кэррол, — подал голос Кларк, — это правда, что ты помолвлена?

Она быстро взглянула на него.

— Кто тебе сказал?

— Значит, правда?

— Ничего себе вопрос!

— Одна знакомая сказала, что ты помолвлена с янки, с которым познакомилась прошлым летом в Ашвилле.

Салли Кэррол вздохнула.

— Не город, а старая сплетница.

— Не выходи за янки, Салли Кэррол. Что мы без тебя будем делать?

Салли Кэррол минуту помолчала.

— За кого же прикажешь выходить? — спросила она.

— Предлагаю свои услуги.

— Милый, — развеселилась она, — где тебе содержать еще и жену? И потом, я слишком хорошо тебя знаю, я не смогу влюбиться в тебя.

— Это не причина, чтобы выходить за янки, — настаивал Кларк.

— А если я его люблю?

Он покачал головой.

— Это невозможно. Он не нашей породы.

Автомобиль стал перед широко раскинувшимся ветхим домом, и разговор прервался. На пороге появились Мэрилин Уэйд и Джо Юинг.

— Здравствуй, Салли Кэррол!

— Привет!

— Как жизнь?

— Салли Кэррол, — спросила Мэрилин, когда машина тронулась, — ты помолвлена?

— Господи, откуда это все пошло? Хоть не смотри на мужчину — сразу весь город объявит женихом и невестой.

Зацепив взглядом гайку над дребезжавшим ветровым стеклом, Кларк неотрывно глядел вперед.

— Салли Кэррол, — с неожиданным чувством спросил он, — ты что, не любишь нас?

— Кого?

— Ну, всех нас?

— Ты сам знаешь, Кларк, что я вас люблю. Я всех здесь обожаю.

— Тогда зачем выходить замуж за янки?

— Не знаю, Кларк. Я еще ничего не решила... только мне хочется поездить, посмотреть людей. Я хочу развиваться, увидеть настоящую жизнь.

— Что-то я не пойму.

— Я вас всех люблю, Кларк, — и тебя, и Джо, и Бена Эррота, но у вас впереди...

— Одни неудачи, что ли?

— Да. Я даже не про деньги говорю, в вас вообще есть что-то незадачливое, грустное... не могу я тебе объяснить.

— И все потому, что мы остаемся в Тарлтоне?

— Конечно, Кларк, и еще потому, что вам здесь нравится, что вы ничего не хотите менять, не хотите думать, стремиться.

Он кивнул, и она сжала его руку.

— Я бы и не хотела видеть тебя другим, Кларк, — мягко выговорила она. Ты очень славный. Я никогда не перестану любить все, из-за чего ты пропадаешь, — что ты живешь вчерашним днем и вообще коптишь небо, что ты такой безалаберный и добрый.

— И все равно уезжаешь?

— Да, потому что я никогда не смогла бы выйти за тебя замуж. Никто не займет твоего места в моем сердце, но если я здесь останусь, я не буду знать покоя. У меня будет такое чувство, словно я заживо себя схоронила. Понимаешь, во мне две души. Ты любишь ту, которая все время спит; а на другую нет уюта, из-за нее я бываю как сумасшедшая. И в других краях она может мне пригодиться, она будет при мне и тогда, когда я утрачу свою красоту.

Порыв прошел, она оборвала себя и, сразу загрустив, вздохнула:

— Да что говорить...

Медленно опустив голову на спинку сиденья, она подставила пахучему ветерку полуприкрытые ресницами глаза и растрепавшиеся стриженные волосы. Они уже выехали из города, с обеих сторон их обступало изумрудное буйство кустарников и травы, высокие деревья осеняли дорогу милосердной крапчатой тенью. По пути попадались убогие негритянские хижины с обязательным седым стариком, курившим кукурузную трубку на порошке, и стайкой полуголых негритят, прогуливавших по некошенной траве перед домом своих растерзанных кукол. Вдалеке, изнемогая, лежали хлопковые поля, и даже работники казались бесплотными тенями, которые сошлись не поработать, а кое-как исполнить некий обряд, издревле принятый здесь в эту пору. И все это сонное царство, эти деревья, лачуги и мутные реки затоплял зной, который был не наказанием, а милостью неба, одарявшего землю материнским теплом.

— Приехали, Салли Кэррол!

— Ребенок спит без задних ног.

— Отмучилась, бедняжка, лень ее сгубила.

— Вода, Салли Кэррол! Холодненькая!

Она открыла сонные глаза.

— Надо же, — улыбнувшись, пробормотала она.

2

В ноябре из своего северного города приехал на четыре дня Гарри Беллами — высокий, широкоплечий, энергичный. В его планах было решить вопрос, остававшийся открытым с лета, со времени их встречи в Ашвилле. И вопрос решился быстро — хватило нескольких безмятежных полуденных часов и вечера у жаркого камина. Гарри Беллами подходил ей по всем статьям, не говоря уже о том, что она его любила, то есть предназначенной для этого стороной ее души он завладел всецело. А в душе Салли Кэррол всему было свое место.

Перед его отъездом они под вечер пошли гулять, и она почувствовала, как ноги сами ведут ее любимым маршрутом — на кладбище. Ласковое закатное солнце серебрило камни, золотило зелень, и у железных ворот она в нерешительности остановилась.

— Ты не меланхолик, Гарри? — со слабой улыбкой спросила она.

— Упаси бог!

— Тогда пойдем. Некоторые кладбища не любят, а мне нравится.

Они прошли в ворота и по дорожке углубились в волнистую долину могил; пятидесятые годы лежали пепельно-серые неприбранные; семидесятые щеголяли причудливой лепкой цветов и урн; девятые поражали воображение страховидной красотой — на каменных подушках тяжелым сном спали упитанные мраморные херувимы, свисали гирлянды безмятных гранитных цветов. Кое-где у холмиков стояли на коленях женщины с живыми цветами в руках, большинство же могил оставались непотревоженными, и прелые листья на них источали аромат забвения.

Они поднялись на вершину холма и подошли к высокому круглому могильному столбику, испещренному пятнами сырости и наполовину скрытому вьющимся кустарником.

— Марджори Ли, — прочитала она. — Тысяча восемьсот сорок четыре тысяча восемьсот семьдесят три. Подумать только! Умерла в двадцать девять лет. Милая Марджори Ли. Ты ее представляешь себе, Гарри?

— Да. Салли Кэррол.

Ее рука скользнула в его ладонь.

— Мне кажется, она была брюнетка, вплетала в волосы ленту и носила пышные юбки небесно-голубого или темно-розового цвета.

— Да.

— Какая она была душенька, Гарри! Так и видишь, как она стоит на террасе с колоннами, встречая гостей. Наверное, многие мужчины надеялись после войны найти с ней свое счастье. Только был ли такой счастливец?

Он склонился ближе, всматриваясь в надпись на камне.

— Про мужа ничего нет.

— Разумеется, так гораздо лучше. Просто «Марджори Ли» и эти красноречивые цифры.

Она приникла к нему, и у него перехватило в горле, когда ее золотые волосы коснулись его щеки.

— Правда, ты видишь ее как живую, Гарри?

— Вижу, — мягко согласился он. — Я вижу ее твоими чудесными глазами. Ты прекрасна сейчас, и, значит, она тоже была такая.

Притихшие, они стояли совсем рядом, и он чувствовал, как слегка вздрагивают ее плечи. Набегал порывистый ветерок, трепал мягкие поля ее шляпы.

— Пойдем туда.

Она указала на противоположный склон холма с широкой луговиной, где на зеленом ковре побатальонно, в затылок выстроились бесконечные ряды серовато-белых крестов.

— Это конфедераты, — пояснила Салли Кэррол.

Они шли и читали надписи — там были только имена и годы жизни, а иногда вообще ничего нельзя было разобрать.

— Последний ряд — вон тот — самый грустный, там на каждом кресте только год смерти и надпись: «Неизвестный».

Она взглянула на него полными слез глазами.

— Не могу тебе объяснить, какое это все настоящее для меня.

— Мне очень нравится, что ты так относишься к этому.

— При чем здесь я? Это все они, вся эта старина, которую я пыталась сохранить в себе живой. Они были люди как люди, самые обыкновенные, если о них написали «неизвестный»; но они отдали свои жизни за самое прекрасное на свете — за обреченный Юг. Понимаешь, — голос ее дрожал, и в глазах стояли слезы, — люди не могут жить без мечты, вот и я росла с нашей, здешней мечтой. Это было очень легко — ведь то, что умерло, уже никогда не разочарует нас. Я просто тянулась быть похожей на них; все это уходит, гложет, как розы в запущенном саду, только и осталось, что проблески рыцарства у некоторых наших мальчиков, истории, которые мне рассказывал сосед-конфедерат, и десяток стариков негров. Ах, Гарри, в этом что-то было, было! Я никогда не сумею объяснить тебе этого, но это так.

— Я все понимаю, — снова заверил он ее.

Салли Кэррол улыбнулась и вытерла слезы кончиком платка, торчавшего из его нагрудного кармашка.

— Милый, ты не расстроился? Мне здесь хорошо, даже если я плачу, — у, меня словно прибавляется сил.

Держась за руки, они медленно побрели прочь. Выбрав траву помягче, она потянула его вниз, и они уселись рядышком, прислонясь к развалинам низкой ограды.

— Скорее бы эти три старушки исчезли, — посетовал он — Я хочу тебя поцеловать, Салли Кэррол.

— И я.

Они едва дождались, когда три согбенные фигуры скроются из виду, и она поцеловала его, и поцелуй длился вечность, поглотившую горе ее и радость и небо над головой.

Потом они медленно возвращались, по углам сумерки уже затевали с последним светом

ленивую партию в шашки.

— Ты приедешь к середине января, — говорил он, — и пробудешь у нас хотя бы месяц. Не пожалеешь. В это время у нас зимний карнавал, и если ты никогда не видела настоящего снега, то буквально попадешь в сказку. Коньки, лыжи, сани, салазки и всякие факельные шествия на снегоступах. Карнавала не было уже несколько лет, так что в этот раз будет что-нибудь потрясающее.

— А я не буду мерзнуть, Гарри? — спросила она.

— Конечно, нет. Нос у тебя, может, и замерзнет, но чтобы зуб на зуб не попадал — это нет. Мороз у нас крепкий, сухой.

— Я, наверное, тепличное растение. Мне никогда не нравился холод.

С минуту оба шли молча.

— Салли Кэррол, — спросил он, медленно выговаривая слова, — что ты скажешь насчет... марта?

— Скажу, что я тебя люблю.

— Значит, в марте?

— В марте, Гарри.

3

Ночью в вагоне было очень холодно. Она вызвала проводника просила еще одно одеяло, но лишних не было, и, сжавшись калачиком, она дрожала под сложенным вдвое одеялом, пытаясь поспать хотя бы несколько часов. Ей хотелось выглядеть утром получше.

Она поднялась в шесть, неловко натянула остывшую одежду и, покачиваясь на нетвердом полу, направилась в ресторан выпить чашку кофе. В тамбуры надуло снега, пол покрылся скользкой наледью. Мороз удивительная вещь, он проникал всюду. При выдохе с губ отлетало облачко пара, и она немного подышала просто так, из интереса. В ресторане она через окно разглядывала белые холмы и долины, одинокие сосны, держащие в зеленых лапах холодное снежное яство. Порою мимо пролетала одинокая ферма, невзрачная, промерзшая, затерянная в белесой пустыне; и каждый раз у нее по телу пробегали мурашки от сострадания к людям, до весны замурованным в своих углах.

Пробираясь из ресторана в свой вагон, она ощутила внезапный прилив сил и решила, что это, верно, и есть тот бодрящий воздух, о котором говорил Гарри. Вот он какой, Север, и теперь это тоже ее родина.

Дуй ветер, крепчай,
Мои паруса надувай,

распираемая восторгом, пропела она.

— Что вы сказали? — вежливо осведомился проводник.

— Попросила почистить пальто.

Телеграфные провода теперь побежали парами, сбоку легли две колеи, потом их стало три, четыре; потянулись дома с убеленными крышами, мелькнул трамвай с наглухо замерзшими стеклами, улицы, перекрестки. Город.

Растерянно ступила она под своды выстуженного вокзала и увидела торопившиеся навстречу три фигуры в мехах.

— Вот она!

— Салли Кэррол!

Салли Кэррол опустила чемодан.

— Привет!

Смутно знакомое, холодное, как ледышка, лицо наклоняется к ней, целует; встречающие окружают ее, словно курильщики выдыхая клубы пара, трясут руку. С Гарри пришли его брат Гордон, коренастый тридцатилетний бодрячок, неискусная и уже

потускневшая копия Гарри, и его жена Майра, анемичная блондинка в меховом шлеме. Салли Кэррол сразу почудилось в ней что-то скандинавское. Радужный шофер завладел ее чемоданом, Майра вяло и невнимательно радовалась встрече, и, бестолково шумя, компания вывалилась на улицу.

Машина колесила по лабиринту занесенных снегом улиц, где хозяйничали мальчишки, цепляя салазки к фургонам и автомобилям.

— Глядите! — закричала Салли Кэррол. — Я тоже хочу. Это можно устроить, Гарри?

— Детская забава. Можно, конечно...

— А как было бы здорово, — огорчилась она.

На белоснежном ковре просторно расположился деревянный дом, и здесь, в родных пенатах Гарри, ее представили крупному седовласому господину, который ей сразу понравился, и даме, похожей на яйцо и удостоившей ее поцелуем. Целый час стоял невообразимый переполох, смешавший в одну неразбериху обрывки фраз, горячую ванну, яичницу с беконом и чувство общей смущенности. Наконец они с Гарри уединились в библиотеке и она призналась, что ей хочется курить.

В просторной комнате с изображением мадонны над камином вдоль стен протянулись ряды книг, мерцавших и горевших золотым тиснением на рубиновых корешках. На спинки кресел были наброшены кружевные салфеточки под голову, стояла вполне удобная софа, книги — пусть не все, явно побывали в руках, и Салли Кэррол вдруг мысленно увидела их бестолковую старенькую библиотеку отцовы медицинские фолианты, портреты трех ее двоюродных дедушек в простенках и старый диван, который уже полсотни лет не перетягивали, но как сладко мечталось на нем. В этой комнате поражало то, что в ней не было ни хорошо, ни плохо. Просто выставка дорогих вещей не старше пятнадцати лет.

— Ну, как тебе у нас? — нетерпеливо спросил Гарри. — Непривычно? Не разочаровалась еще?

— В тебе — нет, Гарри, — тихо обронила она и протянула ему руки.

Мельком поцеловав ее, он снова воззвал к проявлению восторгов.

— А сам город, город тебе нравится? Воздух какой здоровый!

— Гарри, — рассмеялась она, — дай мне оглядеться. Не требуй от меня всего сразу.

Затянувшись сигаретой, она облегченно передохнула.

— Я хочу кое о чем попросить тебя, — смущаясь, заговорил он. — Для вас, южан, вся жизнь упирается в семью, в традиции, и я не говорю, что это плохо, только у нас все немного иначе. Понимаешь, многое из того, что ты увидишь, поначалу покажется тебе даже вульгарным, но ты не должна забывать, что у нашего города на веку всего три поколения. У нас у каждого есть отец, а половина города может похвастаться дедушками, но дальше наша родословная обрывается.

— Понятно, — проронила она.

— Город основали наши деды, и чем только не приходилось им тогда заниматься. Есть, например, одна дама, сейчас она своего рода законодательница общества, — так ее отец был мусорщиком... Всякое бывало.

— Погоди, — озадаченно сказала Салли Кэррол, — ты боишься, что я стану судить людей, что ли?

— Да нет же, — поспешил он, — я и сам несколько не стыжусь их. Понимаешь... тут прошлым летом гостила одна девушка, тоже с Юга, и что-то она ляпнула некстати... и я решил тебя предупредить.

Салли Кэррол вся вспыхнула от возмущения, словно ее ни за что ни про что отшлепали, но Гарри, видимо, счел предмет исчерпанным, с воодушевлением переменяя тему.

— У нас сейчас затевают карнавал. Впервые за десять лет. Строят настоящий ледяной дворец, такого с восемьдесят пятого года не было. Из блоков отборного, прозрачайшего льда. Грандиозно!

Встав, она подошла к окну и раздвинула тяжелые ворсистые портьеры.

— Гляди! — воскликнула она. — Два малыша лепят снежную бабу. Может, я выйду им

помочь?

— Выдумщица! Лучше поцелуй меня.

С видимой неохотой она отошла от окна.

— Вообще-то климат у вас не очень располагает к поцелуям. Спокойно не посидишь.

— А мы и не будем расслаиваться. Эту неделю я для тебя освободил, взял отпуск, и сегодня, кстати, мы приглашены на ужин и танцы.

— Только вот что, Гарри, — призналась она, удобнее устраиваясь у него на коленях, — я наверняка растеряюсь. Я совершенно не представляю, понравится мне там или нет, как вести себя с людьми, я ничего не знаю. Ты мне должен все-все подсказывать, милый.

— Подскажу, — мягко пообещал он, — а ты за это скажи, что тебе у нас хорошо.

— Мне ужасно хорошо, — шепнула она, незаметно оказавшись в его объятиях, как она умела это делать. — С тобою мне везде хорошо, Гарри.

И тогда же, пожалуй, впервые за всю жизнь, она почувствовала, что сказала чужие слова.

Ужин проходил при свечах, и, хотя Гарри сидел рядом, ей было неуютно среди мужчин, не закрывавших рта, и разодетых надменных дам.

— Симпатичные люди, правда? — спросил он. — Как на подбор. Вон Спад Хаббард, в прошлом году был нападающим в Принстоне, а тот — Джуни Мортон, он и его рыжий сосед были в Йеле капитанами хоккейной команды; с Джуни мы однокашники. Что и говорить, здешние штаты дают миру лучших спортсменов. Словом, мужской заповедник. Один Джон Дж. Фишберн чего стоит!

— А он кто? — в душевной простоте спросила Салли Кэррол.

— Не знаешь?

— Имя знакомое.

— Король пшеницы всего Северо-Запада, крупнейший финансист.

Внезапно обрел голос сосед справа.

— Мне кажется, нас забыли познакомить. Роджер Пэттон.

— Салли Кэррол Хэппер, — любезно отозвалась она.

— Это я уже понял. Гарри говорил, что вы приезжаете.

— Вы родственник?

— Нет, я профессор.

— Ой, — рассмеялась она.

— Да, из университета. А вы, значит, с Юга?

— Из Тарлтона, штат Джорджия.

Он ей сразу понравился, у него были ржавого цвета усы и блекло-голубые глаза, которые смотрели на нее с таким не подходящим для этого сборища лестным вниманием. За ужином они поболтали, и она настроилась видаться с ним и впредь.

После кофе ей представили множество симпатичных молодых людей, которые церемонно танцевали с нею и полагали естественным, что ни о чем, кроме Гарри, ей говорить не интересно.

«Господи боже, — думала она, — они ведут себя так, словно после помолвки я стала старше их и, чего доброго, могу наябедничать их мамочкам».

На Юге не только помолвленная девушка, но даже молодая замужняя женщина могла рассчитывать на такое же обращение, как семнадцатилетняя девочка на своем первом бале, — те же комплименты, те же галантные шуточки, а здесь о такой вольности и думать не смей. Один юноша начал очень неплохо, отметив глаза Салли Кэррол, якобы, с первой минуты поразившие его воображение, но как же он перепугался, узнав, что она гостья Беллами и невеста Гарри! Он повел себя так, словно допустил чудовищную бестактность, стал совершенный сухарь и стушевался при первой возможности.

Тут очень кстати подвернулся Роджер Пэттон и предложил немного передохнуть.

— Итак? — весело сощурившись, поинтересовался он. — Как себя чувствует южная Кармен?

— Превосходно. А что скажет... Грозный Дэн Макгрю? К сожалению, это единственный северянин, которого я с грехом пополам знаю.

Ответ пришелся ему по вкусу.

— Я — преподаватель литературы, — покаялся он, — и «Грозный Дэн Макгрю» не входит в мое обязательное чтение.

— Вы здешний?

— Нет, я из Филадельфии. Меня выписали сюда из Гарварда, преподавать французский. Впрочем, я здесь уже десять лет.

— На девять лет и триста шестьдесят четыре дня больше, чем я.

— Нравится вам здесь?

— Да-а... Конечно!

— В самом деле?

— А что в этом странного? Разве похоже, что я скучаю?

— Я видел, как минуту назад вы выглянули в окно и передернули плечами.

— Я фантазерка, — рассмеялась Салли Кэррол. — Дома на улице так тихо, а здесь за окном метель и в голову лезут всякие выходцы с того света.

Он понимающе кивнул.

— Раньше бывали на Севере?

— Два лета ездила в Северную Каролину, в Ашвилл.

— Симпатичное общество, правда? — он переключил ее внимание на ходуном ходившую комнату.

Салли Кэррол вздрогнула. То же самое говорил Гарри.

— Очень приятное! Они собаки.

— Что?!

Она густо покраснела.

— Извините. Я не имела в виду ничего плохого. У меня такая привычка, у меня все люди собаки или кошки, все равно — мужчины, женщины.

— Кто же вы?

— Я кошка. И вы. На Юге почти все мужчины кошки, и ваши дедушки на этом вечере — тоже.

— А Гарри кто?

— Гарри, конечно, собака. Все мужчины, которых я встретила сегодня, более или менее собаки.

— А какой смысл за этим стоит? Собака — это что, своего рода истовая мужественность в отличие от мягкости?

— Вроде того. Я никогда не задумывалась над этим мне достаточно увидеть человека, чтобы понять, собака он или кошка. Наверное, это все чепуха.

— Не скажите. Это интересно. У меня ведь относительно этих людей тоже была своя теория. Я полагаю, они обречены на замерзание.

— Это как?

— В них все яснее проступает что-то скандинавское, ибсеновское. Они потихоньку погружаются в мрак, в уныние. Ведь у нас такие долгие зимы. Вы читали Ибсена?

Она отрицательно покачала головой.

— Так вот, в его героях вы всегда обнаружите какую-то гнетущую скованность. Это ограниченные и унылые праведники, для которых наглухо заперт мир безмерной печали и радости.

— Они не плачут, не смеются?

— Никогда. Вот такая у меня теория. В этих краях живет не одна тысяча шведов. Я полагаю, их привлекает сюда климат, для них он почти свой, и постепенно они смешиваются с местным населением. Сегодня их здесь всего несколько человек, но худо-бедно четыре наших губернатора были шведы. Я надоел вам?

— Нет, страшно интересно.

— Ваша будущая невестка наполовину шведка. Лично к ней я отношусь неплохо, но я убежден, что в целом скандинавы влияют на нас не лучшим образом. Не случайно они держат первое место в мире по числу самоубийств.

— Зачем же вы живете в таком кошмаре?

— А он мне не опасен. Я живу затворником, и вообще книги занимают меня больше, чем люди.

— Интересно, что все писатели именно Юг видят в трагическом ореоле. Испанки, жгучие брюнетки, кинжалы, тревожная музыка и прочее.

— Нет, — покачал он головой, — трагедия — удел северных рас, потому что им неведомо счастье всласть выплакаться.

Салли Кэррол вспомнила свое кладбище. Наверное, смутно к ней приходили те же мысли, когда она объясняла, что ей хорошо на кладбище.

— Итальянцы вроде бы самые веселые люди на свете. Впрочем, все это скучная материя, — оборвал он себя. — Вы выходите замуж за прекрасного человека, и это главное.

Он вызвал ее на ответную откровенность.

— Я знаю. Таким, как я, рано или поздно надо на кого-то опереться, и, мне кажется, в Гарри я могу быть уверена.

— Хотите еще потанцевать? — Поднявшись, он продолжал: — Приятно встретить девушку, которая знает, зачем она выходит замуж. Для очень многих замужество только прогулка в романтический финал кинокартины.

Она рассмеялась, он ей необыкновенно понравился.

Двумя часами позже, уже по пути домой, устраиваясь удобно в машине, она прильнула к Гарри.

— Гарри, — шепнула она, — как хо-лод-но.

— Что ты, моя хорошая, здесь тепло.

— На улице холодно. Ветер как воет!

Она зарылась лицом в его шубу и непроизвольно вздрогнула, когда холодные губы коснулись краешка ее уха.

4

В вихре событий пронеслась первая неделя. Январским студеным вечером ее, как обещали, прокатали на санях, прицепленных к автомобилю. Другой раз, утром, закутанная в шубу, она каталась на санках с ледяной горы у загородного клуба; она даже отважилась скатываться на лыжах, расплачиваясь за секунды сладостного парения радостным позором зарыться в сугроб. Зимние забавы ей определенно нравились, исключая прогулку на снегоступах по слепящей равнине, на которую бледным желточным оком взирало солнце. Но она скоро поняла, что ей подсовываются детские развлечения, ей подыгрывают, что весело ей одной, а остальные смеются за компанию.

Чувство неудобства она начала испытывать уже в семейном кругу Беллами. С мужчинами еще можно было ладить, они ей нравились, особенно сереброголовый, выдержанный мистер Беллами — в него она просто влюбилась, узнав, что он родом из Кентукки, потому что для нее это была ниточка из прошлой жизни. Зато к женщинам она чувствовала решительную неприязнь. Будущая невестка Майра являла собой унылое воплощение хорошего тона. Ее речь была до такой степени невыразительна, что Салли Кэррол, избалованная дома обществом обаятельных и уверенных в себе собеседниц, только что не презирала ее.

«Хорошо, если они красивы, — думала она. — А то и смотреть не на что, пустое место. Клуши в павлиньих перьях. Одни мужчины и делают везде погоду».

Наконец, сама миссис Беллами — ее Салли Кэррол определенно не переносила. Первоначальное сходство с яйцом довершили надтреснутый голос и разболтанная осанка — Салли Кэррол всерьез думала, что миссис Беллами разведет на полу яичницу, если, не дай

бог, упадет. Вдобавок миссис Беллами была как бы символом кровной неприязни города к чужакам. Салли Кэррол она звала «Салли», и ничто не могло разубедить ее в том, что двойное имя — это вовсе не какое-то малоинтересное прозвище: для Салли Кэррол это усечение ее имени казалось такой же непристойностью, как выйти на люди полуодетой. Она любила свое имя, и от «Салли» ей делалось тошно. Старуха не одобряла ее короткую стрижку, и после того первого дня, когда она вошла в библиотеку, свирепо принявшись, Салли Кэррол уже ни разу не осмелилась покурить внизу.

Среди знакомых мужчин она выделяла только Роджера Пэттона, он часто заглядывал к ним. К Ибсену и печальной судьбе здешних жителей он более не возвращался, а когда застал ее на диване за чтением «Пер Гюнта», то рассмеялся и попросил выбросить из головы его рассуждения — все это вздор.

Она гостила уже вторую неделю, когда однажды едва не рассорилась с Гарри. Всему виной, конечно, была его невыдержанность, хотя непосредственным поводом к конфликту послужил совершенно посторонний человек, точнее говоря — его невыглаженные брюки.

Глубокими снежными коридорами они возвращались домой, светило солнце, за которым Салли Кэррол признавала здесь чисто символическую роль. По пути им попалась девушка ни дать ни взять медвежонок — столько на нее было натянуто шерстяных одежек, и Салли Кэррол задохнулась от наплыва материнских чувств.

— Какая прелесть, Гарри!

— Где?

— Да эта кроха. Ты видел ее рожицу?

— А что в ней особенного?

— Она же красная, как клубничка. Прелестный ребенок!

— У тебя самой почти такой румянец. Здесь, все прекрасно выглядят. Нас выставляют на мороз, едва мы научимся ходить. Изумительный климат.

Она взглянула на него и не нашла ничего возразить. У него был отменно здоровый вид, и у его брата тоже. Да она сама нынче утром обнаружила, что у нее порозовели щеки.

Неожиданное зрелище привлекло их внимание, и они с минуту оторопело взирали на открывшийся впереди перекресток. Там, согнув ноги в коленях и экстатически уставившись в студеное небо, какой-то человек, видимо, готовил себя к вознесению. И в следующую же секунду они неудержимо расхохотались, потому что вблизи выяснилось, что их сбили с толку невообразимые брюки, мешком висевшие на их владельце.

— Здорово нас провели, — смеялась Салли Кэррол.

— Судя по брюкам, южанин, — подпустил шпильку Гарри.

— Зачем ты так, Гарри?

Ее удивленный взгляд вызвал в нем только раздражение.

— Черт бы их всех взял, этих южан!

Ее глаза сверкнули гневом.

— Не смей о них так говорить!

— Прошу прощения, — ядовито извинился он, — но ты знаешь мое отношение к ним. Это... это выродки, у них ничего общего со старыми южанами. Они столько времени выезжали на неграх, что вконец разболтались.

— Придержи язык, Гарри, — резко оборвала она его. — Они совсем не такие. Пусть даже ленивы — я бы на тебя посмотрела под нашим солнышком! Но они мои настоящие друзья, и я не желаю, чтобы их всех поливали грязью. Среди них есть настоящие мужчины.

— Видел, знаю. Кто идет к нам на Север получать образование — те еще ничего, но уж таких отпетых лоботрясов, нерях и грязнуль, как в вашем захолустье, я не видел нигде.

Салли Кэррол сжимала пальцы в перчатках и кусала губы.

— В моем выпуске, — не унимался Гарри, — в Нью-Хейвене, был один с Юга, мы все думали — наконец-то сподобились увидеть настоящего аристократа, а потом оказалось, что он вовсе не аристократ, а сын предприимчивого северянина, который у вас в Мобиле прибрал к рукам весь хлопок.

— Южанин никогда не позволит себе так распуститься, как ты, — сухо отозвалась она.
— Пороху не хватит.
— Или чего-то еще.
— Ты меня прости, Салли Кэррол, но я от тебя самой слышал, что ты никогда не выйдешь замуж за...
— Это совсем другое дело. Я говорила, что вряд ли захочу связать жизнь с кем-нибудь из моих тарлтонских кавалеров, но при чем здесь остальные?
Немного прошли молча.
— Пожалуй, я погорячился, Салли Кэррол. Прости меня.
Не отвечая, она кивнула головой. Несколько минут спустя, уже дома, она порывисто обняла его.
— Гарри, — лепетала она сквозь слезы, — давай поженимся на будущей неделе. Я боюсь таких сцен, страшно боюсь. У нас все было бы по-другому, если бы мы поженились. Но Гарри еще не отошел, теперь его подогревало сознание своей неправоты.
— Глупость. Мы же договорились — в марте.
У Салли Кэррол сразу высохли глаза, и она вся подобралась.
— Хорошо. Зря я, должно быть, это сказала.
Гарри смягчился.
— Чудачка! Поцелуй меня, и забудем все это.
Но когда в тот же вечер, заключая программу варьете, оркестр грянул «Дикси», Салли Кэррол ощутила такой наплыв чувств, перед которым померкли все дневные переживания. Сжимая ручки кресла, она все клонилась вперед, пока ее лицо не стало совсем пунцовым.
— Расстроилась, девочка? — шепнул Гарри.
Она не слышала его. В животворном, будоражащем ритме скрипок и литавр мимо нее в темноту уходили ее добрые приятели-призраки, и они почти скрылись, она едва успела попрощаться с ними, когда флейта сипло, еле слышно допела:

На Юг, домой,
В родимый Диксиленд.

5

Ночь выдалась особенно холодная. Накануне нечаянная оттепель почти расчистила улицы, но сейчас на них снова появились клубящиеся белые гонцы, поперек мела поземка, и уже было не продохнуть от снежной крошки. Вместо неба над головой угрожающе нависало что-то набрякшее, распыленное между крышами, и было ясно, что скоро густо повалит снег, и ни на минуту не стихал северный ветер, студивший уютное тепло освещенных окон и заглушавший упругий бег их лошадки. Какой все-таки унылый город, думала Салли Кэррол, просто ужас.

Ночами ей порою казалось, что здесь не осталось ни единой живой души, что все давно вымерли и только пустые освещенные дома ждут, когда их укроют могильные холмики мокрого снега. Господи, неужели ее могилу тоже когда-нибудь занесет снегом! Всю бесконечно долгую зиму лежать под этими огромными сугробами, и никто даже камня над ее могилкой не углядит. Нет, свою могилу она видела заросшей цветами, облаканной солнцем и дождем.

И она снова задумалась о сиротливых фермах, которые видела из окна вагона, и о том, каково в них зимует: слепящая белизна за окнами, ледяная корка на рыхлых сугробах, потом нудное таяние и неприветливая весна, какой она представляла ее по рассказам Роджера Пэттона. И на это променять свою весну — с сиренью и томящей негой в сердце. Сначала потерять весну, потом и душа остынет.

Задула и всюю разгулялась метель. Глаза Салли Кэррол слепила сразу таявшая

снежная крупа. Гарри протянул руку в меховой рукавице и поглубже надвинул ее замысловатую байковую шапочку. Снег налетел колючим порывом, и мгновенно заиндевшая лошадь покорно опустила голову.

— Гарри, она замерзла, — испугалась Салли Кэррол.

— Ты про лошадь? Ничуть. Ей это нравится.

Минут через десять свернули, и цель поездки предстала их глазам. На высоком холме, ярким зеленым контуром вычерченный на сумрачном небе, стоял ледяной дворец. Он был в три этажа, с башенками и бойницами, с узкими прорезями окон, забранных ледяными пластинами, и огромный его центральный зал был насквозь высвечен морем электрических огней. Салли Кэррол нашла под меховой полостью руку Гарри и крепко вцепилась в нее.

— Какая красота! — в восторге выкрикнул он. — Бог мой, какая красота! С восемьдесят пятого года такое здесь видят впервые.

А ее ужаснула мысль, что этого не было с восемьдесят пятого года. Ведь лед — он призрак, и, значит, этот дом населяют призраки восьмидесятых годов, без кровинки в лице и седые от снега.

— Пойдем, пойдем, — торопил Гарри.

Она выбралась за ним из саней и подождала, пока он привязывал лошадь.

Пронзительно звеня бубенцами, подъехали еще сани — Гордон, Майра, Роджер Пэттон и с ними какая-то девица. Народу собралось уже порядочно, все в шубах и овчинных тулупах, снег повалил крупными хлопьями, и, чтобы не разбрестись в белой пелене, приходилось перекликаться.

— Сто семьдесят футов высоты, — на ходу объяснял Гарри какому-то закутанному спутнику. — Общая площадь шесть тысяч квадратных ярдов.

До нее долетали обрывки разговора:

— Главный зал... Толщина стен от двадцати до сорока дюймов... ледяной подвал почти в милю... Канадец, который все это построил...

Попав внутрь дворца, Салли Кэррол была очарована загадочностью отвесных прозрачных стен и невольно повторяла про себя две строки из «Кубла Хана»:

Эти льдистые пещеры,
Этот солнечный чертог.

В громадной сверкающей пещере она присела на деревянную скамью, и давешняя тоска отпустила ее. Гарри прав — это красиво, ее взгляд неторопливо скользил по гладкой поверхности стен, сложенных из глыб чистейшего льда, излучавшего опаловый свет.

— Смотри! Начинается! — воскликнул Гарри.

Невидимый оркестр заиграл «Сюда, сюда, на сбор друзей!», звуки, многократно повторенные эхом, набежали беспорядочной толпой, и тут выключили электричество; лед как бы обтаивал тишиной, она все сгущалась вокруг. В темноте Салли Кэррол еще различала белое облачко своего дыхания и смутные пятна лиц у стены напротив.

Музыка оборвалась жалобным всхлипом, и снаружи донеслось мощное пение и мерный шаг построенных в колонны спортивных клубов. Хор нарастал, словно победный гимн викингов, шествующих по древней земле, он накатывал крепнущим валом; вот темноту пунктиром вспорола цепочка факелов, за ней другая, третья, и, отбивая мокасинами шаг, втянулась длинная процессия одетых в плотные серые куртки мужчин, перебросивших через плечо снегоступы, и пение, гулом восходившее из ледяного колодца, вздувало и рвало языки пламени.

За серыми куртками вползла, подхватив припев, новая колонна, в багровых шлемах и ярко-малиновых куртках; и еще долгим строем тянулись голубой с белым, зеленый, просто белый, коричневый с желтым отряды.

— Белые — это Вакута-клуб, — возбужденно шепнул Гарри. — Ты их уже встречала — на танцах.

Пение звучало сильно, в ритм едва слышному шороху шагов колыхались факелы, заливая пещеру морем огней и красок. Головная колонна развернулась и стала, отряды разобрались в шеренги, огонь полыхал уже сплошной стеной, и тогда тысячеголосый клик, словно громовым раскатом, разорвал воздух, повергнув пламя в трепет. Прекрасный, жуткий миг! Салли Кэррол представилось, что это Север творит жертвоприношение у алтаря сумрачного языческого Снежного Бога. Когда клик замер, снова заиграл оркестр, снова пели, потом долго и гулко клубы обменивались приветственными возгласами. Притихшая, она слушала рикошетом скачущий клич; вдруг она вздрогнула где-то рядом громыхнуло, и вся пещера наполнилась дымом: к своим обязанностям приступили фотографы. Так завершилось это радение. Отряды перестроились в одну колонну с оркестром в голове, затянули песню и тронулись к выходу.

— Пошли! — крикнул Гарри. — Пока есть свет, нужно посмотреть лабиринты в подвале!

Все поднялись и заспешили к наклонно уходящему вниз коридору, Гарри и Салли Кэррол, взявшись за руки, впереди. Внизу коридор кончался ледяной камерой, где потолок был так низок, что пришлось согнуться и разнять руки. Она еще не успела сообразить, что в комнату выходят несколько слепящих глаза галерей, когда Гарри нырнул в одну из них и стал быстро таять в призрачно-зеленом свете.

— Гарри! — крикнула она.

— Иди сюда! — отозвался он.

Она огляделась — никого: видно, их спутники решили вернуться домой, сейчас они уже наверху, плутают в метели. После минутного колебания она побежала за Гарри.

— Гарри! — отчаянно закричала она.

Она пробежала футов тридцать — поворот. Кажется, слева издалека донесся слабый голос, и, потеряв голову, она побежала влево. Опять поворот, еще две уходящие вдаль штольни.

— Гарри!

Ни звука в ответ. Она уже решила бежать, никуда не сворачивая, потом, охваченная холодящим ужасом, стремительно повернула обратно.

Поворот, только тот ли? Она побежала налево, сейчас должна быть та длинная низкая комната. Но вместо нее еще одна хрустально мерцающая галерея, которая упиралась в темноту. Салли Кэррол снова крикнула, но стены глухо и безучастно оттолкнули от себя звук. Вернувшись назад, она еще раз свернула и попала в коридор пошире. Она стояла на зеленой полосе между расступившимися водами Красного моря, в сыром могильном переходе из одного пустующего склепа в другой.

Боты обледенели, идти было скользко, и Салли Кэррол, раскинув руки, упиралась в стены, липкие от холодной слизи.

— Гарри!

Прежнее молчание в ответ. Ее голос глумливо поаукался с самим собой и пропал в глубине перехода.

Потом сразу погас свет и настала крошечная темнота. Она коротко вскрикнула и, обмирая от страха, споткнулась о какой-то бугорок. Упав, она, видимо, разбила левую коленку, но сейчас это был пустяк, и даже страх потеряться отступил перед тем ужасом, который сдавил ее. Она была одна, наедине с настоящим одиночеством Севера, каким веет от затертых арктическими льдами китобоев и необозримых нехоженных равнин без жилого дымка, усеянных белыми костями первопроходцев. На нее пахнуло ледяным дыханием смерти, еще немного — и уже не высвободиться из ее цепких рук.

С безумной, отчаянной решимостью она вскочила и кинулась в темноту. Надо выбраться. Ведь если ее не найдут еще несколько дней, она замерзнет насмерть и так и будет лежать замурованная во льду, такие случаи были, она читала где-то, что в мерзлоте тело сохраняется долго, пока не растает сам ледник. А Гарри не схватится, он наверняка решил, что она уехала с остальными, и раньше завтрашнего дня никто не будет о ней беспокоиться.

Она обреченно дотронулась до стены. Сколько они говорили — сорок дюймов? Сорок дюймов толщины, боже мой!

С обеих сторон подступали какие-то шорохи, хлюпала нечисть, которая была у себя дома и в этом замке, и в этом городе, вообще на Севере.

— Придите же кто-нибудь! — громко взмолилась она.

Кларк Дарроу — он бы ее услышал, и Джо Юинг тоже, они бы не бросили ее здесь одну, не дали превратиться в сосульку. За что? Она такая веселая, всему, глупышка, радовалась. Радовалась теплу и солнцу, любила свой Дикси. А тут все не свое, все чужое.

— Ты не плачешь, — явственно слышала она. — Ты уже никогда не сможешь плакать. Твои слезы застынут. Здесь слезы сразу стынут.

Она без сил вытянулась на льду.

— Господи боже мой, — простонала она.

Одна за другой уходили минуты, и с чувством бесконечной отрешенности она сознавала, что ей трудно держать глаза открытыми. Вдруг кто-то опустился рядом и взял ее лицо в теплые, мягкие руки. Она ответила благодарным взглядом.

— Марджори Ли, — успокоенно пробормотала она. — Я знала, что ты придешь. — Действительно, это Марджори Ли, и именно такая, какой ее представляла Салли Кэррол, — гладкий чистый лоб, приветливое выражение широко раскрытых глаз и пышная юбка из какой-то мягкой материи, так приятно опустить на нее голову.

— Марджори Ли...

Как темнеет быстро. Давно пора заново покрасить эти могильные камни, хотя после они будут выглядеть много хуже. Но надо, чтобы их было видно.

Минуты бежали, тянулись, складывались в густой пучок дымных лучей, струящихся к бледно-желтому солнцу, и наконец она услышала резкий хруст, с которым треснул ее обретенный покой.

В глаза ударило солнце, свет. Факел, много факелов, и голоса, голоса. Огонь выхватил живое лицо, сильные руки поднимают ее с земли, что-то делают с ее щекой, вся щека мокрая. Кто-то держит ее и растирает лицо снегом. Смешно — снегом!

— Салли Кэррол!

Это Грозный Дэн Макгрю и с ним двое незнакомых.

— Детка! Мы ищем вас уже два часа! Гарри чуть с ума не сошел.

Память быстро вернула на свои места пение, факелы, трубный клич марширующих клубов. Она забилась в руках Пэттона и испустила тихий, протяжный вопль.

— Вытащите меня отсюда. Я хочу домой. Домой! — Ее голос сорвался в пронзительный крик, от которого у Гарри, бежавшего по соседней галерее, кровь застыла в жилах. — Завтра же! — ничего не сознавая и не сдерживаясь, кричала она. — Завтра! Завтра!

6

Том, томившийся у пыльного полотна дороги, вкушал золотую солнечную щедрость и млеял от зноя. Две бестолково-суматошливые птицы искали холодок на дереве перед соседним домом; по улице; нараспев предлагая клубнику, брела негритянка. Был апрельский полдень.

Вытянув на подоконнике руку и уткнувшись в нее подбородком, сверху сонными глазами смотрела Салли Кэррол, и в поле ее зрения попадали посверкивающие на солнце пылинки, колеблемые теплом, которое сегодня впервые стала отдавать прогретая земля. Под ее взглядом старенький «форд» одолел рискованный поворот, дребезжа и стелая, домучил остаток пути и рывком остановился. Она ни звуком не отозвалась на происходящее, и минуту спустя знакомый пронзительный свист разорвал тишину. Салли Кэррол улыбнулась и сощурила глаза.

— Доброе утро.

Из-под крыши автомобиля вывернулась голова.

— Утро ты уже проспала, Салли Кэррол.

— Неужели? — с притворным удивлением сказала она. — А может, ты прав.

— Что делаешь?

— Ем зеленый персик. Приходи на похороны.

И хотя дальше голове некуда был поворачиваться, Кларк все же постарался — и увидел ее лицо.

— Вода как парное молоко, Салли Кэррол. Не хочешь искупаться?

— Вставать неохота, — лениво вздохнула Салли Кэррол, — но ладно, попробую.

ПОСЛЕДНЯЯ КРАСАВИЦА ЮГА

1

После Атланты, так тщательно и театрально воплотившей обаяние Юга, мы недооценили Тарлтон. Там было чуть жарче, чем во всех других местах, где нам пришлось побывать, — двенадцать наших новобранцев в первый же день сомлели на солнце Джорджии; когда под палящим зноем видишь стада коров, проплывающие по деловым улицам под гиканье негров-гуртовщиков, невольно теряешь ощущение реальности: хочется пошевелить рукой или ногой, чтобы убедиться, что ты жив.

Поэтому я жил в лагере, а рассказывать мне о тарлтонских девушках предоставил лейтенанту Уоррену. Это было пятнадцать лет назад, и я позабыл уже свои ощущения, помню лишь, что жизнь текла день за днем, лучше, чем сейчас, и что сердце мое было пусто, потому что там, на Севере, та, чей образ я лелеял целых три года, выходила замуж. Я видел об этом в газетах заметки и фотографии. «Романтическая свадьба военного времени», очень богатая и печальная. Я живо ощущал зловещее сияние в небе, под которым это происходило, и, как юный сноб, испытывал скорее зависть, нежели печаль.

Однажды я все же поехал в Тарлтон, чтобы постричься, и встретил там одного славного парня — его звали Билл Ноулз, мы вместе учились когда-то в Гарварде. Раньше он служил в отряде Национальной гвардии, который стоял до нас в этом лагере, но в последний момент перевелся в авиацию и потому застрял в Тарлтоне.

— Рад видеть тебя, Энди, — сказал он с неподобающей серьезностью. Прежде чем уехать в Техас, я передам тебе все известные мне сведения. Видишь ли, в сущности, здесь всего три девушки...

Я оживился: было нечто мистическое в том, что их оказалось три.

— ...и сейчас я покажу тебе одну из них.

Мы стояли перед аптекой; он ввел меня в помещение и познакомил с особой, которая сразу же мне резко не понравилась.

— Две другие — Эйли Кэлхун и Салли Кэррол Хэппер.

По тому, как он произнес имя Эйли Кэлхун, я догадался, что он к ней неравнодушен. Его заботило, что она будет делать в его отсутствие; ему хотелось, чтобы она проводила время спокойно и скучновато.

Сейчас я не колеблясь готов признаться, что подумал тогда об Эйли Кэлхун — какое милое имя! — совсем не по-рыцарски. В двадцать три года не существует понятий вроде «красавица, обещанная другому»; впрочем, если бы Билл попросил меня, я наверняка и совершенно искренне поклялся бы относиться к ней, как к сестре. Но он не попросил; он только страдал, что надо уезжать. Три дня спустя он позвонил мне, что едет завтра утром и хочет сегодня же нас познакомить.

Мы встретились в гостинице и шли к ее дому сквозь дышащие цветами жаркие сумерки. Четыре белые колонны дома Кэлхунов были обращены к улице, веранда за ними казалась темной пещерой, и виноград вился, цеплялся и полз по ее стенам.

Когда мы подошли к дому, на веранду с криком: «Простите, что заставила вас ждать!» — выскочила девушка в белом платье и, завидев нас, добавила:

— Ой, а мне показалось, вы уж десять минут как пришли!..

И вдруг примолкла, потому что скрипнул стул и из темноты веранды возник еще один мужчина — летчик из лагеря Гарри-Ли.

— А, Кэнби! — воскликнула она. — Здравствуйте!

Кэнби и Билл Ноулз застыли, точно ожидая приговора.

— Кэнби, дорогой, я хочу что-то сказать вам по секрету, — прибавила она через секунду. — Вы ведь простите нас, Билл?

Они отошли в сторону. Вскоре послышался сердитый голос лейтенанта Кэнби:

— Ну тогда в четверг, но уж наверняка.

И, едва кивнув нам, он двинулся прочь по дорожке, поблескивая шпорами, которыми, по-видимому, подгонял самолет.

— Входите же — я только не знаю, как вас зовут...

Так вот она — чистокровная южанка. Я бы понял это, даже если бы никогда не слушал Рут Дрэпер и не читал Марса Чена. В Эйли была хитреца, подслащенная простодушной, говорливой ласковостью, и неизменный холодок результат бесконечной борьбы с жарой; вид ее наводил на мысль о преданных отцах, братьях, поклонниках, чередой которых уходила вспять, к героическим временам Юга. В голосе ее то слышались интонации, какими отдавали приказание рабам или убивали наповал капитанов-янки, то другие — мягкие, обволакивающие, созвучные в своей непривычной прелести с этой ночью.

Я почти не видел ее в темноте, но когда поднялся уходить — было очевидно, что мне не следует мешкать, — Эйли стояла в оранжевом свете, падавшем из дверного проема. Она была миниатюрная и очень белокурая; лихорадочный румянец излишне накрашенных щек усугублялся запудренным по-клоунски добела носом; но сквозь эту маску она сияла, как звезда.

— Когда Билл уедет, я все вечера буду просиживать совсем одна. Может, вы как-нибудь свезете меня на танцы в загородный клуб?

Услышав это патетическое пророчество, Билл усмехнулся.

— Погодите, — задержала меня Эйли, — ваше оружие съехало на сторону.

Она поправила мне булавку в воротничке и подняла на меня глаза — в них было не просто любопытство, взгляд был ищущий, будто она спрашивала: «Возможно ли, что это ты?» Вслед за лейтенантом Кэнби я неохотно шагнул в сразу поскучевшую ночь.

Две недели спустя я сидел с ней на той же веранде, или, вернее, она полулежала в моих объятиях, тем не менее едва меня касаясь, — уж не помню, как это ей удавалось. Я тщетно пытался ее поцеловать, — я уже потратил на это битый час. Мы развлекались, обсуждая мою неискренность. Согласно моей теории, если б она позволила себя поцеловать, я бы в нее влюбился. Она же утверждала, что я явно неискренен.

В перерыве между двумя такими стычками она рассказала мне о своем брате, который умер, когда учился на старшем курсе в Йеле. Она показала мне его фотографию, — у него было красивое серьезное лицо и живописная прядь на лбу, — и прибавила, что выйдет замуж, когда встретит кого-нибудь, кто будет ему под стать. Этот семейный идеализм меня обескуражил; при всей моей самоуверенности я не мог тягаться с мертвым.

Другие вечера проходили, как и этот, и, возвращаясь в лагерь, я уносил с собой запах магнолии и смутное разочарование. Я так и не поцеловал ее. Субботними вечерами мы смотрели варьете и ездили в загородный клуб, где редко случалось, чтобы две минуты подряд она протанцевала с одним и тем же кавалером; она брала меня с собой на пикники и шумные вечеринки, но ей никогда не приходило в голову обратить мои чувства в любовь. Теперь я понимаю, что это было бы нетрудно, но она была мудрой девятнадцатилетней особой и, верно, знала, что мы эмоционально несовместимы. И потому она предпочла поверять мне свои тайны.

Мы говорили о Билле Ноулзе. О Билле она подумывала всерьез, потому что — хоть она бы никогда с этим не согласилась — зима, проведенная в нью-йоркской школе, равно как и бал в Йеле, обратили ее взоры на Север. Она сказала, что, пожалуй, не выйдет за южанина. И

постепенно я понял, что она сознательно, намеренно старалась быть другой, чем те девицы, которые распевали негритянские песни и резались в кости в барах загородных клубов. Потому-то нас с Биллом — и не только нас — тянуло к ней. Мы распознали ее.

Весь июнь и июль, когда до нас едва доносились далекие слухи о сражениях и ужасах за морем, взгляд Эйли блуждал по танцевальной площадке загородного клуба, что-то отыскивая среди высоких молодых офицеров. Иных она поощряла, всякий раз делая свой выбор с безошибочной проницательностью, — если не считать случая с лейтенантом Кэнби, которого, по ее утверждению, она презирала, но которому тем не менее назначала свидания, «потому что он такой искренний»... и все лето мы делили между собой ее вечера.

Однажды она отменила все свои свидания — Билл Ноулз дал знать, что приезжает в отпуск. Мы обсуждали это событие с научной беспристрастностью, пытаясь предсказать, заставит ли он ее принять решение. Лейтенант же Кэнби, наоборот, вовсе не был беспристрастен, он вел себя неприлично. Он сказал ей, что, если она выйдет замуж за Ноулза, он подымет на своем аэроплане на шесть тысяч футов, выключит мотор и отпустит ручку. Он напугал ее — я принужден был уступить ему свое последнее свидание перед приездом Билла.

В субботу вечером она явилась в загородный клуб с Биллом Ноулзом. Они были очень красивой парой, и я снова позавидовал им и загрустил. Они танцевали, а оркестр, состоявший из трех инструментов, играл «Когда ты уедешь» с такой щемящей, тихой грустью, что я и сейчас еще слышу — каждый такт, будто падающая капля, уносит драгоценные минуты тех дней. Я понимал, что уже полюбил Тарлтон, и в волнении озираясь, надеясь: вдруг из недр этой теплой поющей ночи, дарящей одну за другой пары в органди и хаки, явится и мне чье-то милое лицо. То были дни молодости и войны, и вокруг, как никогда, все было исполнено любовью.

Потом мы танцевали с Эйли, и вдруг она предложила выйти и сесть в машину. Странно, сказала она, почему это сегодня ее никто не перехватывает. Может, все думают, что она уже замужем?

— А вы собираетесь?

— Не знаю, Энди. Иной раз, когда он обращается со мной, как со святыней, я просто таю от радости. — Голос ее звучал приглушенно, откуда-то издалека. — А бывает...

Она засмеялась. Ее тело, такое хрупкое и нежное, касалось меня, лицо было обращено ко мне, вот тут-то — хоть Билл Ноулз был в десяти шагах — я наконец мог бы ее поцеловать. Губы наши уже соприкоснулись, но... из-за угла веранды появился какой-то офицер авиации и, взглядевшись в темноту, позвал нерешительно:

— Эйли!

— Да.

— Вы слышали, что сегодня случилось?

— Что? — Она подалась вперед, в ее голосе уже звучала тревога.

— Хорэс Кэнби разбился. Насмерть.

Она медленно поднялась и вышла из машины.

— Вы говорите — насмерть? — произнесла она.

— Да. Что там случилось — неизвестно. Мотор у него...

— О-о-о! — Она закрыла лицо руками, голос донесся еле слышно и хрипло.

Мы смотрели на нее беспомощно; прислонясь головой к машине, она сглатывала бесслезные рыдания. Потом я пошел за Биллом — он стоял в шеренге ожидавших кавалеров, лихорадочно отыскивая глазами Эйли, — и сказал, что она хочет домой.

Я сел на ступеньку крыльца. Кэнби я не любил, но его страшная, бессмысленная смерть была для меня тогда более реальной, чем гибель тысяч солдат, убитых во Франции. Через несколько минут вышли Эйли с Биллом. Эйли тихонько всхлипывала, но, едва завидев меня, устремилась ко мне и сказала тихой скороговоркой:

— Энди, вы, конечно, никогда никому не расскажете, что я говорила вам вчера о Кэнби. Я имею в виду — что он сказал.

— Конечно.

Она еще на секунду задержала на мне взгляд, будто желая окончательно убедиться, что я не подведу. И в конце концов убедилась. И слегка вздохнула — так странно, что я с трудом поверил своим ушам; брови ее поползли вверх в притворном — иначе это не назовешь — отчаянии.

— Энди!

Я в смущении отвел взгляд, поняв, что она обращает мое внимание на то, что невольно приносит мужчинам несчастье.

— Спокойной ночи, Энди! — крикнул Билл, когда они садились в такси.

— Спокойной ночи, — сказал я, чуть не прибавив: «Дурак несчастный».

2

Конечно, мне следовало принять одно из тех прекрасных безоговорочных решений, какие люди принимают в книгах, и с презрением отвернуться от нее. Но случилось иначе: я не сомневаюсь, что стоило ей поманить меня, и я был бы у ее ног.

Через несколько дней она все сгладила, сказав задумчиво:

— Я знаю, вы считаете, что с моей стороны это было чудовищно — думать о себе в такую минуту, но все так ужасно совпало...

Двадцать три года в одном я был совершенно уверен: есть люди сильные и привлекательные, и они могут делать все, что им заблагорассудится, остальные же обречены на прозябание. Я надеялся, что принадлежу к первым. Я был уверен, что к ним принадлежит и Эйли.

Пришлось пересмотреть и другие о ней представления. Подробно обсуждая с одной девушкой вопрос о поцелуях — в те годы люди все еще больше говорили о поцелуях, чем целовались, — я упомянул, что Эйли поцеловала всего двух или трех мужчин, и то лишь если ей казалось, что она влюблена. К вящему моему смущению, девушка эта чуть не подавилась от смеха.

— Нет, правда, — уверял я, внезапно поняв, что это неправда... — Она сама мне рассказывала.

— Эйли Кэлхун! О боже! — заливалась девушка. — Да в прошлом году, когда мы весной ездили на вечер в Технологический...

Это было в сентябре. Теперь каждую неделю нас могли отправить за океан, и в качестве подкрепления к нам прибыла группа офицеров из четвертого учебного лагеря. Четвертый лагерь был не похож на три первых — офицеров в нем готовили из рядовых, даже из призывников. У них были странные фамилии без гласных, и, если не считать молодых резервистов, наличие у них какой бы то ни было родословной требовало особых доказательств. К нашей компании присоединился лейтенант Эрл Шон из Нью-Бедфорда, штат Массачусетс образец такого физического совершенства, какого мне никогда не приходилось встречать. Он был шести футов трех дюймов росту, черноволос, румян, с блестящими темно-кариими глазами. Тяжелодум и явный неуч, но хороший офицер, живой, распорядительный, и с тем легким налетом тщеславия, что так к лицу человеку военному. Нью-Бедфорд я считал глубокой провинцией и этим объяснял грубоватое бахвальство Шона.

Помещений теперь не хватало, и его поселили со мной в одном офицерском домике. Не прошло и недели, как на стене у нас появилась приколотенная гвоздями фотография некой тарлтонской девицы.

— Не какая-нибудь бабенка. Она девушка из общества. Знается здесь со всеми лучшими людьми.

В следующее воскресенье я познакомился с этой дамой в загородном бассейне. Когда мы с Эйли пришли туда, мускулистая фигура Шона в купальном костюме маячила на противоположной стороне бассейна.

— Эй, лейтенант!

Я помахал ему в ответ, и он, улыбаясь и подмигивая, мотнул головой в сторону девушки, стоявшей рядом. Потом, ткнув ее пальцем в ребра, мотнул головой в мою сторону. Таким способом он ее представил.

— Кто это такой с Китти Престон? — спросила Эйли и, когда я объяснил, сказала, что он похож на трамвайного кондуктора, и даже сделала вид, будто разыскивает свой билет.

Через секунду он уже подплыл к нам мощным элегантным кролем. Я познакомил его с Эйли.

— Ну как вам моя девушка, лейтенант? — спросил он. — Ведь я говорил вам — она что надо, а?

Он мотнул головой в сторону Эйли — на сей раз, чтобы показать, что его девушка и Эйли вращаются в одном кругу.

— Может, как-нибудь поужинаем вечером все вместе в ресторане?

Я сразу же покинул их, позабавившись тем, как явно Эйли приходила к выводу, что уж это во всяком случае не идеал. Но от лейтенанта Эрла Шона не так-то легко было отделаться. Он окинул веселым безобидным взглядом ее складную легкую фигурку и решил, что Эйди сойдет еще лучше, чем та, другая.

Несколько минут спустя я увидел, их вместе в воде. Вили, как обычно, плыла энергично и быстро, а Шон шумно плескался вокруг нее, заплывая вперед, иногда останавливаясь и глаза на нее восхищенно, как мальчишка на плавающую куклу.

День клонился к закату, а Эрл все не отставал. Наконец Эйли подбежала ко мне и, смеясь, зашептала:

— Он меня преследует. Он думает, что я не уплатила за проезд.

Она быстро обернулась. Перед нами стояла мисс Китти Престон, и лицо ее было страшно возбуждено.

— Эйли Кэлхун, вот уж не думала, что вы на такое способны — пытаться увести у другой девушки мужчину. — Тень страдания перед надвигающейся сценой мелькнула на лице Эйли. — Я думала, вы выше этого.

Голос мисс Престон был тих, но в нем звучала та напряженность, которую скорее чувствуешь, чем слышишь, и я увидел, как милые ясные глаза Эйли заметались в испуге. К счастью, Эрл собственной персоной весело и с невинным видом приближался к нам.

— Если он вам не безразличен, не стоит унижать себя в его глазах, выпалила Эйли, вскинув голову.

Так она впервые противопоставила традиционную манеру поведения наивному и свирепому собственничеству Китти Престон, или, если хотите, здесь «благовоспитанность» Эйли была противопоставлена «вульгарности» ее соперницы. Она повернулась, чтобы уйти.

— Минутку, детка, — крикнул Эрл Шон. — Мне бы ваш адресок. Может, надумаю позвонить.

Она бросила на него взгляд, которым намерена была показать Китти полную свою незаинтересованность.

— В этом месяце у меня очень много дел по Красному Кресту, — сказала она, и голос ее был так же холоден, как блестящие, зачесанные назад белокурые волосы. — Всего хорошего.

По дороге домой она смеялась. Теперь на лице у нее уже не было написано, что она дала втянуть себя в какую-то унижительную историю.

— Ей ни за что не удержать этого молодого человека, — сказала она. Ему нужен кто-то новый.

— Видно, ему нужна Эйли Кэлхун.

Эта мысль ее развеселила.

— Он мог бы подарить мне свой компостер вместо клубного значка. Вот смешно-то! Да если мама увидит, что кто-нибудь вроде него входит в наш дом, она просто умрет.

И надо отдать Эйли должное — прошло целых три недели, прежде чем Эрл Шон появился в ее доме, хотя он продолжал свои атаки, а на последних танцах в загородном клубе

она даже сделала вид, что рассердилась.

— Он ужасный нахал, Энди, — шепнула она мне. — Но он такой искренний.

Она употребила слово «нахал» не так уверенно, как могла бы применить его к южанину. Она понимала это умом, но слух ее не улавливал различий в голосах янки. Почему-то миссис Кэлхун все же не испустила дух, когда он появился на пороге. Предрассудки родителей Эйли, якобы неискоренимые, были удобным предлогом, исчезавшим по ее же воле. Поражены были ее друзья. Эйли, всегда взиравшая на Тарлтон немного сверху вниз, Эйли, чьи кавалеры очень тщательно отбирались из «самых изысканных» офицеров лагеря, Эйли — и лейтенант Шон! Я устал уверять людей, что она просто развлекается; и впрямь, чуть ли не каждую неделю появлялся кто-то новый — то морской офицер из Пенсаколы, то старый друг из Нового Орлеана — но неизменно, в промежутках между ними — Эрл Шон.

Пришел приказ — первой группе офицеров и сержантов отправиться в порт и погрузиться на корабль, отплывавший во Францию. Мое имя стояло в списке. Неделью я провел на полигоне, а когда вернулся в лагерь, Эрл Шон немедленно приступил ко мне:

— Мы устраиваем прощальную вечеринку в офицерской столовой. Вы, я, капитан Крэкер и три девушки.

Мы с Эрлом должны были привезти девушек. Мы заехали за Салли Кэррол Хэппер и Нэнси Ламар и поехали дальше за Эйли; нас встретил дворецкий и объявил, что ее нет дома.

— Нет дома? — тупо повторил Эрл. — А где же она?

— Это она не сказала; просто сказала, что ее нет дома.

— Что за чертовщина! — воскликнул Эрл. Он шагал по знакомой темной веранде, а дворецкий ждал у двери. Потом Эрла осенило.

— Послушай, — сообщил он мне, — послушай: наверно, она обиделась.

Я ждал. Он строго сказал дворецкому:

— Передай ей — мне надо с ней поговорить.

— Как же передать, когда ее нет дома?

Эрл снова в задумчивости зашагал по веранде. Потом вдруг закивал головой и объявил:

— Она обиделась на одну вещь, когда видела меня в городе.

В нескольких словах он обрисовал мне суть дела.

— Знаешь что, подожди в машине, — сказал я. — Может, мне удастся все уладить. — И когда он неохотно направился к машине, обратился к дворецкому:

— Оливер, скажи мисс Эйли, что я хочу ее видеть.

Немного поворчав, дворецкий пошел исполнять поручение и через минуту принес ответ.

— Мисс Эйли сказала: она ни за что не хочет видеть того, другого джентльмена. Она сказала — зайдите, если вам угодно.

Она была в библиотеке. Я приготовился увидеть воплощенную холодность и оскорбленное достоинство, но лицо у нее было растерянное, взволнованное, измученное. Веки покраснели, будто он а не один час тихо и горестно проплакала.

— А, Энди, привет, — сказала она упавшим голосом. — Давно вас не видела. Он ушел?

— Послушайте, Эйли...

— «Послушайте, Эйли!» — закричала она. — «Послушайте, Эйли!» Вы поймите, он заговорил со мной. Он приподнял шляпу. Он стоял в десяти шагах от меня с этой ужасной... этой ужасной женщиной — он держал ее под руку, и он разговаривал с ней, а потом увидел меня и приподнял шляпу. Энди, я не знала, что делать. Пришлось зайти в аптеку и выпить стакан воды, и я так боялась — он войдет следом, что попросила мистера Рича выпустить меня через черный ход. Я не хочу его видеть никогда, я слышать о нем не хочу!

Я заговорил. Я сказал то, что полагается в таких случаях. Я говорил в течение полчаса. Она была непреклонна. Несколько раз пробормотала что-то насчет его «неискренности», и на четвертый раз я задумался: что же она понимает под этим словом? Разумеется не постоянство; скорее всего — то, как она хотела бы, чтобы к ней относились.

Я встал, намереваясь уйти. И тут — невероятно! — на улице трижды нетерпеливо прогудел автомобиль. Это было потрясаяще. Как будто сам Эрл оказался в комнате и напрямик заявил: «Ну и черт с тобой! Я не намерен торчать здесь весь вечер».

Эйли посмотрела на меня с ужасом. И вдруг по лицу ее разлилось какое-то странное выражение — оно промелькнуло и застыло слезливой улыбкой.

— Ну разве он не злодей?! — воскликнула она в беспомощном отчаянии. Разве он не чудовище?!

— Скорее, — торопливо проговорил я. — Берите накидку. Это наш последний вечер.

Этот последний вечер и сейчас еще жив в моей памяти: мерцание свечей, освещавших грубые столы лагерьной столовой; обтрепанные бумажные украшения по стенам, что остались от последней ротной пирушки; и где-то рядом, на улице, печальные переборы мандолины, извлекавшей мелодию «Мой дом в Индиане» из вселенской ностальгии уходящего лета. Три девушки, затерявшиеся в этом таинственном городе мужчин, тоже ощущали что-то необычное — какое-то заколдованное непостоянство, — будто сидели они на волшебном ковре-самолете, опустившемся в этих южных краях, и каждую минуту ветер мог поднять этот ковер и унести прочь. Мы пили за нас и за Юг. Потом, оставив на столе смятые салфетки, пустые бокалы и немного прошлого, рука об руку вышли на улицу, чтобы погрузиться в лунный свет. Уже прозвучал отбой, было совсем тихо, слышалось только далекое лошадиное ржанье, да чей-то назойливый храп, очень нас насмешивший, да поскрипывание кожи — это часовой подходил и сворачивал у караулки. Крэкер в тот вечер дежурил, а мы, остальные, сели в ожидавший нас автомобиль и завезли в Тарлтон девушку Крэкера.

Потом Эйли и Эрл, Салли и я — по двое, отвернувшись друг от друга на широком заднем сиденье и забыв обо всем на свете, шептались, уносясь в широко распростертую тьму.

Мы мчались через сосновые леса, отяжелевшие от лишайника и испанского моха, по незасеянным хлопковым полям, дорогой белой, точно ободок земли. Машину поставили под изломанной тенью мельницы; журчала вода, тревожно вскрикивали птицы, и надо всем плыло сияние — оно стремилось проникнуть всюду: в заброшенные негритянские хижины, в автомобиль, в твердыню сердца. Юг пел для нас. Не знаю, помнят ли они. Я помню: в холодном свете бледные лица, дремотные влюбленные глаза и шепот:

— Тебе хорошо?

— Да, а тебе?

— Тебе правда хорошо?

— Да.

Вдруг мы поняли, что уже поздно и что больше ничего не будет. Мы повернули к дому.

На следующий день наш отряд отбыл в лагерь Милл, но во Францию я так и не попал. Месяц мы мерзли на Лонг-Айленде, со стальными касками на боку погрузились на корабль, а потом снова сошли на берег. Война уже кончилась. Я пропустил войну. Вернувшись в Тарлтон, я попытался демобилизоваться, но я был кадровым офицером, и на демобилизацию ушла большая часть зимы. А Эрл Шон демобилизовался одним из первых. Он хотел найти хорошую работу, «пока есть из чего выбирать». Эйли помалкивала, но они уговорились, что он вернется.

К январю лагеря, два года властвовавшие над городком, уже привяли. Только назойливый запах сожженного мусора напоминал о царившей там еще недавно суете. Какая-то жизнь печально теплилась лишь вокруг дивизионной штаб-квартиры, где обретались брюзгливые кадровые офицеры, тоже пропустившие войну.

И вот молодые тарлтонцы потянулись домой с разных концов света — кто в канадской форме, кто на костылях или с пустым рукавом. Возвратился батальон Национальной гвардии — он маршировал по улицам, и в шеренгах его зияли пробелы — места погибших; а потом герои навсегда спустились на землю с высот романтики, чтобы продавать товары за прилавками местных магазинов. На танцах в загородном клубе среди смокингов, бывало,

лишь изредка мелькнет военная форма.

Перед самым Рождеством неожиданно явился Билл Ноулз и на следующий же день уехал: то ли он предъявил ультиматум Эйли, то ли она наконец приняла решение. Я иногда встречался с ней — если она не была занята героями из Саванны и Огасты, — но чувствовал, что окончательно вышел в тираж (впрочем, так оно и было). Она ждала Эрла Шона, но настолько сомневалась в нем, что ей не хотелось даже говорить об этом. За три дня до того, как я уволился, он приехал.

Первый раз я встретил их на Маркет-стрит, и, кажется, никогда в жизни мне не было так жаль молодую пару; впрочем, думаю, такое случалось в любом городе, где во время войны были лагеря. Во внешнем облике Эрла все, что только можно вообразить, было невпопад. Шляпа — зеленая с торчащим пером; костюм, украшенный разрезами и тесьмой, в том фантастически нелепом стиле, с которым покончили впоследствии национальная реклама и кино. Он явно побывал у своего прежнего парикмахера, потому что волосы у него были аккуратно начесаны на розовую выбритую шею. Не сказать чтобы он выглядел обносившимся или бедным, но все это ошеломяло, обдавало вас — то есть, вернее, Эйли — духом танцулек и воскресных пикников фабричного городка. Ведь прежде она никогда не смотрела Правде в глаза; а в этой одежде пропадала даже естественная грация этого великолепного тела. Он тут же похвастался своей прекрасной работой: они смогут неплохо просуществовать, пока не «подвернется какой-нибудь легкий заработок». Но, должно быть, он сразу, как только вернулся в ее мир, понял, что дело его безнадежно. Уж не знаю, что сказала Эйли и что там перевешивало — горе или изумление. Но действовала она быстро — через три дня после приезда Эрла мы с ним отбыли одним поездом на Север.

— Ну вот все и кончилось, — сказал он хмуро. — Она прекрасная девушка, но, по мне, чересчур задается. Самое для нее лучшее — выйти за какого-нибудь богатого парня и получить положение в обществе. Терпеть не могу такого зазнайства. — И немного погодя: — Она сказала, чтоб я приехал повидаться через год, но я уже никогда не вернусь — эти аристократические штучки еще ничего, пока у тебя в кармане деньги, только...

«Только все это было не настоящее», — не договорил он. Провинциальное общество, в котором он полгода вращался с таким удовольствием, теперь казалось ему Жеманным, поддельным, искусственным.

— Послушай, а ты видел?... — продолжал он через минуту. — Когда мы садились в поезд, там были две великолепные бабенки, и совсем одни. Что, если мотнуться в соседней вагон и пригласить их пообедать? Я возьму ту, что в синем.

Пройдя полвагона, он вдруг обернулся.

— Послушай, Энди, — спросил он, хмурясь, — скажи мне одну вещь: как, по-твоему, она раскопала, что я был кондуктором? Ведь я никогда ей об этом не говорил.

— Почему я знаю!

3

Рассказ мой приближается к большой брешу, которую я предвидел с самого начала. В течение шести лет, пока я кончал юридический факультет в Гарварде, строил гражданские самолеты и вкладывал деньги в мостовые, которые крошились под колесами грузовиков, Эйли Кэлхун была для меня не больше, чем именем на рождественской открытке; чем-то, что возникало в моем воображении в теплые ночи, когда я вспоминал магнолию в цвету. Бывало, какой-нибудь знакомый по армейским временам спросит: «А что случилось с той блондинкой, которая пользовалась тогда таким успехом?» — и я не могу ответить. Однажды вечером в нью-йоркском «Монмартре» я столкнулся с Нэнси Ламар и узнал от нее, что Эйли была помолвлена с каким-то человеком из Цинциннати, поехала на Север, чтобы познакомиться с его семьей, и потом расторгла помолвку. Она по-прежнему прелестна, и возле нее постоянно один или два вздыхателя. Но ни Билл Ноулз, ни Эрл Шон так и не вернулись.

И примерно тогда же я услышал, что Билл Ноулз женился на девушке, с которой познакомился на пароходе. Вот и все — маловато для того, чтобы доставить заплату на целые шесть лет.

Как это ни странно, но о поездке на юг я стал подумывать, увидев в сумерках на полустанке в Индиане незнакомую девушку. Какой-то мужчина вышел из нашего поезда, а девушка вся в пышном розовом органди, обвила его руками и потащила к ожидавшей их машине. У меня защемило сердце. Мне показалось, будто она увлекает его в тот утраченный летний мир, где мне было двадцать три года, где время остановилось, а прелестные девушки, окутанные дымкой воспоминаний, по-прежнему прогуливаются по сумеречным улицам. Мае кажется, поэзия — это мечта северянина о Юге. Но лишь много месяцев спустя я послал Эйли телеграмму и тут же отправился в Тарлтон.

Был июль. Отель «Джефферсон» казался странно обшарпанным и тесным; из ресторана, который в памяти моей был нерасторжимо связан с офицерами и девушками, вырывалось громкоголосое пение. Я узнал шофера такси, везшего меня к дому Эйли, но его: «И я тоже, лейтенант» прозвучало неубедительно. Я был одним из двадцати тысяч.

Это были странные три дня. Сияние первой молодости недолговечно, и, вероятно, Эйли отчасти его утратила — впрочем, за это я не могу поручиться. Внешне она по-прежнему была так прелестна, что хотелось коснуться ее губ, чтобы почувствовать трепет этого неповторимого обаяния. Нет, перемена была более глубокая.

Сразу же мне стало ясно, что стиль у нее другой. Уже не было в ее голосе тех гордых модуляций, которыми она давала понять, что помнит лучшие, светлые предвоенные дни; им не было места в постоянной сумятице полушутливого-полуотчаянного злословия, характерного для нового Юга. Настоящее, будущее, она, я — все было пущено на потребу этому злословию, лишь бы оно шло безостановочно, лишь бы не осталось времени подумать. Мы попали на шумную вечеринку к одним молодоженам, и Эйли оказалась в центре ее лихорадочного веселья. А ведь Эйли было не восемнадцать лет; но и теперь, даже в роли бесшабашного клоуна, она была не менее привлекательна, чем раньше.

— А что, об Эрле Шоне были какие-нибудь вести? — спросил я на второй вечер, когда мы ехали танцевать в загородный клуб.

— Нет. — Она вдруг сделалась серьезной. — Я часто о нем думаю. Его...

Она колебалась.

— Что его?

— Я хотела сказать — его я любила больше всех... Только это было бы неправдой. Я никогда по-настоящему его не любила, — ведь иначе уж как-нибудь да вышла бы за него замуж. — Она поглядела на меня вопросительно. — По крайней мере, я не стала бы так скверно с ним обращаться.

— Это было невозможно.

— Конечно, — согласилась она неуверенно. Настроение у нее переменялось; она сказала легкомысленно: — И как только эти янки не обманывали нас, бедных южаночек. Боже мой!

Когда мы приехали в загородный клуб, она, точно хамелеон, растворилась в незнакомой мне толпе. Танцевало новое поколение; в нем было меньше достоинства, чем в том, которое я знал, но никто не казался в большей степени частицей его ленивой, лихорадочной сути, чем Эйли. Возможно, она давно почувствовала, что в своем изначальном стремлении вырваться из провинциальности Тарлтона шла в одиночестве вслед за поколениями, обреченными на то, чтобы не иметь преемников. Не знаю, какую именно битву она проиграла, скрывшись за белыми колоннами своей веранды. Но чего-то она не угадала, что-то пропустила. Ее бурная оживленность, и сейчас собиравшая вокруг нее мужчин, на зависть самым молоденьким и свежим девицам, была признанием поражения.

Я покинул ее дом, как нередко покидал его в том канувшем в небытие июне, ощущая смутное разочарование. И только много часов спустя, уже в гостинице, беспокойно ворочаясь в постели, я понял, в чем дело, в чем всегда было дело: я был глубоко и

неизлечимо влюблен в нее. Несмотря на всю нашу несовместимость, она все еще была и всегда будет для меня самой пленительной из всех девушек. Я сказал ей об этом на следующий день. Был один из так хорошо знакомых мне жарких дней; мы сидели рядом в затемненной библиотеке.

— О нет, я не могла бы за вас выйти, — сказала она почти испуганно. — Я люблю вас совсем не так... Так я вас никогда не любила. И вы меня не любили. Я не хотела вам говорить, но через месяц я выхожу замуж. Мы, правда, не объявляем о помолвке, потому что я уже дважды объявляла. Вдруг ей пришло в голову, что я, может быть, обижен. — Энди, вы ведь просто пошутили, правда? Вы же знаете, что я никогда не смогла бы выйти замуж за северянина.

— Кто он? — спросил я.

— Он из Саванны.

— Вы его любите?

— Конечно. — Мы оба улыбнулись. — Конечно, люблю. Что я, по-вашему, должна сказать?

Теперь уже не было колебаний, как некогда с другими мужчинами. Она не могла позволить себе колебаться. Я знал это, потому что со мной она давно уже не притворялась. Самая эта естественность, как я понял, проистекала из того, что она не считала меня поклонником. Скрываясь под маской инстинктивной благовоспитанности, она всегда знала себе цену и не могла поверить, чтобы кто-нибудь, не дойдя до полного, безоглядного обожания, мог по-настоящему полюбить ее. Это она и называла «быть искренним»; она чувствовала себя в большей безопасности с людьми, вроде Кэнби или Эрла Шона, не способными вынести приговор ее мнимо аристократическому сердцу.

— Ладно, — сказал я, будто она спрашивала моего разрешения выйти замуж. — Скажите, вы можете для меня что-то сделать?

— Все, что хотите.

— Поедем в лагерь.

— Но, милый, там ничего не осталось.

— Неважно.

Мы пошли в центр. Шофер такси, стоявшего перед отелем, повторил ее возражение:

— Да там уже ничего не осталось, капитан.

— Все равно. Поехали.

Через двадцать минут он притормозил на широкой незнакомой мне равнине, припудренной молодыми плантациями хлопка и отмеченной редкими группами сосен.

— Хотите, поедем вон туда, где дымок? — спросил шофер. — Это новая тюрьма.

— Нет, поезжайте прямо по этой дороге. Я хочу отыскать место, где я когда-то жил.

Старый ипподром, неприметный в дни величия лагеря, в нынешнем запустении гордо вздымал ввысь свою полуразрушенную трибуну. Я тщетно пытался сориентироваться.

— Поезжайте по этой дороге, как проедете вон те деревья, поверните направо, нет — налево.

Он подчинился с презрением знатока.

— Но, дорогой, вы просто ничего не найдете, — сказала Эйли. Подрядчики все разрушили.

Мы медленно ехали по краю поля. Может, и здесь...

— Стоп. Я хочу выйти, — сказал я вдруг.

Эйли осталась сидеть в машине; теплый ветер шевелил ее короткие вьющиеся волосы, и она была очень красива.

Может, и здесь. Вот здесь могли быть улицы лагеря и столовая, где мы в тот вечер ужинали, — вон, через дорогу.

Шофер смотрел снисходительно, как я, спотыкаясь, петлял по низенькой, по колено, поросли, отыскивая мою молодость среди досок, дранки и ржавых банок из-под томатного сока. Я пробовал определить по смутно знакомой группе деревьев, но стало темнеть, и я не

был до конца уверен, что это те самые деревья.

— Старый ипподром будут приводить в порядок, — слышался из машины голос Эйли. — Тарлтон на старости лет решил принарядиться.

Нет. Пожалуй, это не те деревья. Единственно, в чем я мог быть уверен, это в том, что место, которое когда-то жило такой полной и напряженной жизнью, теперь исчезло — будто и не существовало вовсе — и что еще через месяц исчезнет Эйли, и Юг опустеет для меня навсегда.

ТАНЦЫ В ЗАГОРОДНОМ КЛУБЕ

1

Всю жизнь я испытываю непонятный ужас перед маленькими городами: не пригородами — они особая статья, — а небольшими захолустными местечками Нью-Гемпшира, Джорджии, Канзаса и северной части Нью-Йорка. Сама я родилась в городе Нью-Йорке и, даже будучи маленькой, не чувствовала страха ни перед улицами, ни перед незнакомыми, чужими лицами; когда же мне случалось попадать в такие местечки, о которых идет здесь речь, меня давило сознание того, что буквально под самой поверхностью сокрыты целая жизнь, целый ряд многозначительных намеков и ужасов, а я обо всем этом ничего не знаю. В больших городах все хорошее или плохое в конце концов выходит наружу — я хочу сказать, выливается из людских сердец. Жизнь кипит, идет вперед, исчезает. В маленьких городах — в тех, где от 5 до 25 тысяч жителей, — бывшая ненависть, давние, но незабытые споры, страшные скандалы и трагедии, похоже, не в состоянии умереть. а знай себе живут, смешавшись с естественным водоворотом внешней жизни.

Но нигде это чувство так меня не захватывает, как на Юге. Стоит мне только выехать за пределы Атланты, Бирмингема, Нового Орлеана, как мне уже кажется, что я не могу общаться с окружающими меня людьми. Парни и девушки говорят на каком-то особом языке, в котором, непонятным для меня образом, учтивость сочетается с насилием, а доходящая до фанатизма мораль — с пьяной удалю. В «Гекльберри Финне» Марк Твен описал несколько таких городков на Миссисипи с их дикими наследственными распрями и не менее дикими вспышками религиозности, а многие из них почти не изменились под новой поверхностью из машин и радиоприемников. До сего дня они остаются, глубоко нецивилизованными.

Я говорю о Юге потому, что именно в одном таком небольшом городишке я однажды увидела, как поверхность на мгновение раскололась и что-то дикое, страшное жутко подняло свою голову. Но трещина тут же закрылась — и когда я снова поехала туда, я, к своему удивлению, обнаружила, что меня по-прежнему чаруют магнолии, поющие на улицах негры и чувственные теплые ночи. Чаруют меня и щедрое гостеприимство, и томная жизнь на свежем воздухе, и — почти всюду — хорошие манеры. Но слишком уж часто я становлюсь жертвой кошмара, который вижу как наяву и который напоминает мне о том, что я пережила в этом городке пять лет назад.

Население Дэвиса (название города я изменила) — около 25 тысяч человек, треть из них — цветные. Это хлопкопрядильный городишко, и рабочие этой профессии, несколько тысяч изможденных и неграмотных «бедных белых», живут скопом в части города, известной под названием Хлопковая Лощина и пользующейся дурной славой.

В ту зиму в Нью-Йорке я чуть ли не до апреля наносила обычные визиты, когда вдруг поняла, что не выиесу, если увижу еще хоть одно приглашение. Я устала и хотела поехать в Европу отдохнуть, но паника 1921 года ударила по делам отца, в результате чего мне вместо Европы предложили съездить на Юг в гости к тетушке Мусидоре Хейл.

Смутно я представляла себе, что еду «в деревню», но в день моего приезда дэвисский «Курьер» поместил на светской странице одну мою забавную старую фотографию, и я

обнаружила, что мне предстоит новый сезон. В меньшем, разумеется, масштабе: танцы по субботам в небольшом загородном клубе, где была площадка для гольфа с девятью лунками, несколько неофициальных вечеринок и внимание интересных и предупредительных парней. Время я проводила совсем не скучно и когда через три недели решила уехать, это было вовсе не потому, что я там умирала со скуки. Напротив, мне хотелось поскорее попасть домой, потому что я позволила себе слишком заинтересоваться одним красивым молодым человеком по имени Чарли Кинкейд, не отдавая себе отчета в том, что он уже обручен.

Нас с самого начала тянуло друг к другу: он был чуть ли не единственный парень в городе, который поехал на Север учиться в колледже, а я была еще настолько молода, что полагала, будто Америка вращается вокруг Гарварда, Принстона и Йеля. Я ему тоже нравилась — я это видела; но когда я услышала, что уж полгода, как объявлено его обручение с одной местной девушкой, Мэри Бэннерман, мне ничего не оставалось, кроме как уехать.

Я уезжала в понедельник, а в субботу мы, как обычно, обедали целой кучей в загородном клубе. Там были Джо Кейбл, сын бывшего губернатора, красивый, беспутный и все же очаровательный молодой человек, Кэтрин Джоунз, миленькая остроглазая девушка с исключительной фигуркой — из-за румян ей можно было дать от 18 до 25, Мэри Бэннерман, Чарли Кинкейд, я сама и еще двое или трое других.

На таких вечеринках я любила слушать веселый поток причудливых местных анекдотов. И мне нравилось добродушное подшучивание, предполагавшее, что каждая девушка бесконечно красива и привлекательна, а парни, каждый с колыбели, тайно и безнадежно влюблены во всех присутствующих дам.

Девушки «божились», ребята «клялись» по самому незначительному поводу, и все то и дело вставляли, «золотко», «золотко», «золотко», «золотко».

Майская ночь на дворе была жаркой — тихая, бархатная ночь, с мягкими лапами, густо усеянная звездами. Тяжелая и сладкая, она без единого звука вползала в большую залу, где сидели мы и где потом мы будем танцевать; лишь изредка на подъездной аллее шуршали шинами подъезжавшие машины.

Ужас, однако, уже навис над нашей маленькой группой; незванный гость, он отсчитывал часы и напряженно ждал момента, когда сможет показать свое бледное, ослепляющее обличье.

Вскоре прибыл оркестр из цветных, за ним последовал первый приток танцующих. В комнату ввалился громадный краснолицый мужчина в заляпанных грязью сапогах по колена и револьвером на ремне; прежде чем подняться наверх в раздевалку, он задержался у нашего стола. Это был Билл Эйберкромби, шериф. Один из ребят что-то спросил его шепотом, и тот, тоже стараясь говорить тихо, ответил:

— Да... Он на болоте, как пить дать: фермер видел его у магазина на перекрестке... Я бы и сам не прочь пальнуть по нему разок-другой.

Я спросила сидевшего рядом со мной парня, в чем дело.

— Да один черномазый, — ответил он. В Киско, около двух миль отсюда. Прячется на болоте, но завтра пойдут его ловить.

— А что с ним сделают?

— Повесят, наверное.

На мгновение мысль о потерявшем надежду чернокожем, жалко скорчившемся в трясине в ожидании зари и смерти, повергла меня в уныние. Но это чувство быстро прошло и забылось.

После обеда. Чарли Кинкейд и я вышли на веранду — он только что узнал о моем отъезде. Я держалась как можно ближе к другим, отвечая на его слова, но не на взгляды — что-то внутри меня протестовало против того, чтобы оставить его под таким обычным предлогом. Меня так и подмывало напоследок дать чувству между нами вспыхнуть.

Девушки стали заходить в здание и подниматься в женскую комнату, чтобы привести себя в порядок, и я — Чарли все еще был рядом — последовала за ними. Именно тогда мне

захотелось заплакать — возможно, у меня уже помутилось в глазах, а может, я просто боялась, как бы этого не произошло, только я по ошибке распахнула дверь небольшой комнатки для игры в карты, и с этой моей ошибкой трагическая машина той ночи пришла в движение. Там, не далее чем в пяти футах от нас, стояли Мэри Бэннерман, невеста Чарли, и Джо Кейбл. Они целовались.

Я быстро захлопнула дверь и, не взглянув на Чарли, отворила нужную мне и побежала наверх.

Несколькими минутами позже в переполненную женскую комнату вошла и Мэри Бэннерман. Увидев меня, она сразу же подошла ко мне, улыбаясь в каком-то притворном отчаянии.

— Ты ведь никому ничего не скажешь, правда, золотко? — прошептала она.

— Разумеется, нет. — Я подивилась, какое это имеет значение, раз Чарли Кинкейд обо всем знает.

— А кто это еще нас видел?

— Только Чарли Кинкейд и я.

— О-о! — Она казалась слегка озадаченной, потом добавила: — Он ушел, не сказав ни слова. Мы вышли, золотко, смотрим, а он уже в дверях. Я боялась, что он дождется нас и набросится на Джо.

— Неужели ты не боялась, что он набросится на тебя? — не удержалась я.

— Ну, за этим дело не станет. — Она кисло улыбнулась. — Но я знаю, как с ним управляться, золотко. Я только и боюсь его, когда он вскипит сразу. — Она присвистнула, будто что-то вспомнив. — Мне ли не знать — однажды такое уже было.

Мне хотелось залепить ей пощечину. Я повернулась к ней спиной и отошла под предлогом, что хочу взять булавку у Кейти, цветной служанки. Вниманием последней завладела Кэтрин Джоунз — она показывала ей коротенькое бумажное одеяние, кото-рое надо было починить.

— Что это? — спросила я.

— Платье для танца, — коротко ответила она — во рту у нее было полно булавок. Вытащив их, она добавила: — Все разлезлось — слишком часто я его надевала.

— Ты будешь сегодня танцевать?

— Хочу попробовать.

Кто-то говорил мне, что она собиралась, стать танцовщицей — даже брала уроки в Нью-Йорке.

— Помочь тебе?

— Спасибо, не надо... хотя... ты умеешь шить? Кейти по субботним вечерам так возбуждается, что ни на что не годится, разве что булавки подавать. Буду бесконечно тебе благодарна, золотко.

Спускаться вниз мне пока не хотелось — у меня были на то основания, — и я села и поработала над ее платьем с полчаса, а сама все думала о Чарли: ушел ли он домой, увижу ли я его вообще, но о том, свободен ли он теперь этически, думать не смела. Когда же я наконец сошла вниз, его нигде не было видно.

Зал уже был полон — столы убрали, танцы стали всеобщими. В то время, сразу после войны, у всех южных парней была манера, вращаясь в танце, на носках, водить пятками из стороны в сторону, и, желая овладеть этим искусством, я потратила немало часов. Многие ребята пришли без девушек, почти все они были навеселе от кукурузной самогонки; мне самой два раза за танец предлагали выпить, но я отказывалась — ужасное предложение, даже когда ее разбавляют, как принято, каким-нибудь безалкогольным напитком, а не хлещут из горлышка теплой бутылки. Только некоторые девушки, вроде Кэтрин Джоунз, тянули иногда из фляжки какого-нибудь парня в темном конце веранды.

Кэтрин Джоунз мне нравилась — в ней, казалось, больше энергии, чем в других девушках, хотя тетушка Мусидора всякий раз, когда Кэтрин заезжала за мной в своем автомобиле, чтобы съездить вместе в кино, презрительно фыркала и говорила, что вот

теперь-то уж определенно «нижняя ступенька добралась до верхней». Она была из «новой и простой» семьи, но мне сама ее простота казалась ценным качеством. В то или иное время чуть ли не каждая девушка в городе доверительно сообщила мне, что ее заветным желанием было «уехать отсюда в Нью-Йорк», но лишь Кэтрин Джоунз решилась на этот шаг.

На этих субботних вечеринках ее часто просили станцевать что-нибудь «классическое» или исполнить какой-нибудь акробатический танец в деревянных башмаках; однажды — этот случай всем запомнился — она досадила правлению, клуба, выдав «шимми» (в то время крик моды в джазе), и новым, даже несколько поразительным оправданием для нее было то, что она была «так пьяна, что все равно не соображала, что делает».

В двенадцать музыка умолкала — в воскресное утро танцы запрещались. В половине двенадцатого раскатистая фанфара трубы и барабан пригласили танцующих и парочки на верандах, а также тех, кто сидел в машинах во дворе или забрел в бар, обратно в танцзал. Внесли стулья и бегом, кучей, с шумом подтащили их к приподнятой платформе — оркестр уже освободил ее и расположился рядом. Затем при убавленном заднем освещении музыканты заиграли мелодию в необычном сопровождении ударных, какого я еще не слышала, и тут же на подмостках появилась Кэтрин Джоунз. На ней были то самое коротенькое, деревенское платьице, над которым я совсем недавно работала, и широкополая шляпа от солнца.

Ничего подобного я еще не видела, а снова увидела только пять лет спустя. Это был чарльстон — наверняка это был чарльстон. Помню двойные удары барабана, похожие на выкрики «Гей! Гей!», непривычные взмахи рук и странное выворачивание коленей. Бог знает, где только она этому научилась.

Ее зрители, знакомые с негритянскими ритмами, так и подались вперед — даже для них это было что-то новое, а у меня в голове эта картина запечатлелась до того ясно и неизгладимо, что я вижу все, как сейчас: раскачивающаяся, и притопывающая фигура на подмостках, возбужденный оркестр, ухмыляющиеся в дверях бара официанты; а со всех сторон — с болот и хлопковых полей, с буйной листвы и мутных теплых потоков — просачивается во все окна мягкая и томная южная ночь. Не знаю, в какой именно момент меня стало обуревать чувство напряженной тревоги; вероятно, беспокойство овладело мною при первых же ударах этой варварской музыки.

Я не из нервных, не подвержена я и панике, но на какое-то мгновение меня вдруг Обуял страх, что, если музыка и танец не прекратятся, я закачу истерику. Что-то вокруг меня творилось — я была в этом так же уверена, как если бы могла заглядывать в души.

Музыка смолкла. Раздались аплодисменты, Кэтрин Джоунз просили повторить, но она, глянув на дирижера, решительно покачала головой и сделала вид, что собирается сойти с подмостей. Крики «бис» продолжались — и снова она покачала головой, и мне показалось, что она даже злится. И тут произошел довольно странный инцидент. Поскольку кто-то из первого ряда настойчиво просил повторить, руководитель цветного оркестра стал импровизировать на тему этой мелодии, точно желая соблазнить Кэтрин Джоунз. Как бы не так! Она повернулась к нему, резко бросила: «Ты разве не слышал, что я сказала?» — и, к всеобщему удивлению, залепила ему пощечину. Музыка прекратилась, а последовавший шумок внезапно смолк, когда раздался приглушенный и все-таки отчетливый, выстрел.

Все повскакивали — стреляли где-то совсем рядом, может быть, даже внутри здания. Одна из девушек вскрикнула, но тут же кто-то сострил: «Опять, наверно, Цезарь залез в курятник», и мгновенная тревога сменилась смехом. Администратор в сопровождении нескольких любопытных парочек вышел на улицу посмотреть, а остальные уже танцевали под музыку «Доброй вам ночи, дамы», которой традиционно кончались танцы.

Я обрадовалась, что они кончилась... Парень, с которым я приехала, пошел но догнать машину, а я, подозвав официанта, послала его за моими клюшками для гольфа, которые лежали в общей куче наверху. Я вышла на крыльцо, а сама все думала, уехал ли Чарли Кинкейд.

И вдруг я осознала — тем странным образом, которым мы осознаем то, что происходит

уже несколько минут, — что внутри какая-то суматоха. Женщины пронзительно кричали, кто-то воскликнул: «О боже мой!», на лестнице стоял топот, по залу бегали взад и вперед. На крыльцо выбежала девушка и упала без чувств — ее примеру тут же последовала другая, и я услышала, как какой-то мужчина по-сумасшедшему орет в телефонную трубку. Бледный и без шляпы, на крыльцо выскочил молодой человек и руками, холодными, как лед, сжал мою руку.

— Что там такое? — крикнула я. — Пожар? Что случилось?

— Убита Мэри Бэннерман! Лежит в женской комнате с простреленным горлом!

Остальное в ту ночь — это серия видений, которые, казалось бы, не имеют никакой внутренней связи, а сменяют одно другое с резкими мгновенными переходами, как сцены в кино. На крыльце собралось несколько человек. То повышая, то понижая голоса, они спорили о том, что следует сделать — надо, мол, учинить допрос с пристрастием всем официантам клуба, «даже старому Мозесу». Мисс Мэри Бэннерман убил какой-то «черномазый» — в первые минуты безрассудства любой, сомневающийся в этом моментально родившемся предположении, непременно бы попал под подозрение. Говорили, что тут не обошлось без Кейти Голстин, цветной служанки, которая, обнаружив тело, потеряла сознание. Говорили, что это «тот ниггер, которого ищут около Киско». И вообще — любой негр.

Через полчаса из клуба стали выходить люди, и каждый добавлял что-нибудь новое. Убийство было совершено из револьвера шерифа Эйберкромби — прежде чем спуститься на танцы, он снял его вместе с ремнем и повесил на стене у всех на виду. Револьвер пропал — сейчас его искали. Смерть наступила мгновенно, заявил доктор, пуля была выпущена с очень близкого расстояния.

Несколько минут спустя вышел еще один молодой человек и возвестил громким и мрачным голосом:

— Чарли Кинкейда арестовали.

У меня голова пошла кругом. Люди, собравшиеся на веранде, благоговейно замолчали.

— Арестовали Чарли Кинкейда!

— Чарли К и н к е й д а!

Господи, он же один из лучших, один из них самих!

— Такой глупости я еще сроду не слышал!

Молодой человек, шокированный не меньше остальных, кивнул, но его так и распирало от важности — принес такую весть!

— Внизу, когда танцевала Кэтрин Джоунз, его не было — он говорит, что сидел в мужской комнате. А Мэри Бэннерман многим девушкам рассказала, что они поссорились и что она боялась, как бы он чего не натворил.

— Такой глупости я еще сроду не слышал! — повторил кто-то.

— Чарли К и н к е й д!

Рассказчик помолчал и добавил:

— Он застал ее, когда она целовалась с Джо Кейблом...

Тут уж я не выдержала.

— Ну и что? — выкрикнула я. — Я как раз была с ним рядом. Он совсем... он вовсе не был зол.

Все посмотрели на меня — испуганные, смущенные, несчастные. Вскоре через зал, громко топая, прошагали несколько человек, и мгновение спустя Чарли Кинкейд со смертельно бледным лицом вышел из парадной между шерифом и еще одним мужчиной. Быстро пересекши веранду, они спустились по ступенькам и растворились в темноте. Минуту спустя послышался шум мотора.

И когда почти тут же я услышала далеко на дороге жуткий вой сирены «скорой помощи», я в отчаянье встала и подозвала своего сопровождающего, ставшего частью шепчущейся кучки.

— Мне надо ехать, — сказала я. — Я уже не могу. Отвезите меня, или мне придется

искать место в другой машине.

Он неохотно положил на плечо мои клюшки — увидев их, я поняла, что в понедельник мне теперь никак не уехать. — и последовал за мной по ступенькам, а темный корпус кареты «скорой помощи» уже сворачивал в ворота — призрачная тень в Светлую звездную ночь.

2

После того как были высказаны первые нелепейшие предположения и первые вспышки безрассудной преданности Чарли Кинкейду погасли, дэвисский «Курьер» и большинство газет штата обрисовали ситуацию следующим образом.

Мэри Бэннерман умерла в женской комнате загородного клуба в Дэвисе оттого, что в субботу вечером, после 11. 45, в нее с близкого расстояния выстрелили из револьвера. Выстрел слышали многие, более того, выстрел, несомненно, был произведен из висевшего у всех на виду на стене соседней комнаты револьвера шерифа Эйберкромби. Сам Эйберкромби в момент убийства был внизу, в танцзале. Это подтверждают многие свидетели. Револьвер не нашли. Насколько известно, в момент выстрела наверху находился только один человек — Чарли Кинкейд. Он был обручен с мисс Бэннерман, но в тот вечер, по показаниям многих свидетелей, они крупно поссорились. Мисс Бэннерман сама упоминала о ссоре и говорила, что боится его и предпочитает держаться подальше, пока он не остынет. Чарли Кинкейд утверждает, что, когда раздался выстрел, он находился в мужской комнате, где, собственно, его и нашли, сразу же вслед за тем, как обнаружили тело мисс Бэннерман. Нет, с ней он в тот вечер вообще не говорил. Выстрел он слышал, но не придавал ему особого значения — если он о чем и подумал, так о том, что «на дворе кто-то шлепает кошек». Почему во время танцев он предпочел оставаться в мужской комнате? Совершенно беспричинно. Просто чувствовал себя усталым и ждал, когда мисс Бэннерман пожелает пойти домой. Труп обнаружила Кейти Голстин, цветная служанка, которую саму нашли в обмороке, когда толпа девушек хлынула наверх за своими пальто. Возвратившись из кухни, где она немного перекусила, Кейти увидела мисс Бэннерман, уже мертвую, на полу. Платье у нее было все в крови.

И полиция, и газеты не обошли вниманием план второго этажа здания. Там было три комнаты — женская и мужская по краям, а между ними гардеробная, где также хранились клюшки для гольфа. Из женской и мужской двери выходили только в гардеробную, а из последней одна лестница вела в танцевальный зал внизу, другая — на кухню. Согласно показаниям трех поваров-негров и белого бригадира кэдди (Кэдди — мальчики, подносящие клюшки и мячи во время игры в гольф.), по лестнице из кухни никто, кроме Кейти Голстин, в тот вечер не поднимался.

Насколько я помню по прошествии пяти лет, сказанное выше довольно точно характеризует обстоятельства, при которых Чарли Кинкейда обвинили в убийстве и отдали под суд. Подозревались и другие люди, в основном — негры (при подстрекательстве верных друзей Чарли Кинкейда), нескольких человек арестовали, но ничего из этого не вышло, а чем эти аресты обосновывались, я давно забыла. Отдельные лица, несмотря на исчезновение пистолета, настаивали, что это самоубийство, и весьма изобретательно пытались объяснить отсутствие оружия.

Теперь, когда известно, как Мэри Бэннерман случилось умереть такой страшной, насильственной смертью, уж кому-кому, а мне было бы проще простого заявить, что я с самого начала верила в Чарли Кинкейда. Но это не так. Я считала, что это он убил ее, и в то же время понимала, что люблю его всем сердцем. То, что именно я случайно натолкнулась на улику, которая принесла ему свободу, произошло не из-за какой-то там веры в его невиновность, но благодаря удивительной отчетливости, с какой отдельные сцены, когда я в состоянии возбуждения, врезаются мне в память, так что я помню каждую деталь, и благодаря тому, как эта деталь в свое время поразила меня.

Как- то в начале июля, когда дело против Чарли Кинкейда, казалось, достигло высшей точки, ужас свершившегося на мгновение оставил меня, и я стала думать о других событиях

того, не дававшего мне покоя вечера. От меня все время ускользала какая-то фраза, сказанная мне Мэри Бэннерман, и я все пыталась ее вспомнить — не потому, что считала ее важной, а потому, что совершенно ее забыла. Она никак не давалась мне. точно была частью того причудливого, невидимого для постороннего глаза течения жизни маленького городка, которое я так сильно почувствовала в тот вечер — почувствовала, что в воздухе чем-то пахнет, что он насыщен старыми тайнами, нерешенными спорами, старой любовью, и враждой, чего мне, пришедшей, ни за что не понять. Всего на какую-то минуту мне показалось, что Мэри Бэннерман отдернула занавеску, которая тут же соскользнула на прежнее место — в доме, куда я могла заглянуть, наступил вечный мрак.

И еще один инцидент — возможно, менее важный — тоже не давал мне покоя. Трагические события, происшедшие несколькими минутами спустя, вышибли его у всех из головы, но какой-то короткий отрезок времени я была уверена, что я не единственная, кого этот инцидент поразил. Когда публика просила Кэтрин Джоунз повторить, ее нежелание было настолько резким, что она залепила пощечину дирижеру. Несоответствие между прегрешением последнего и злобностью этого акта приходило мне на ум снова и снова. Ее поведение было неестественным или — что еще важнее — не к а з а л о с ь естественным. Если учесть, что Кэтрин Джоунз выпила, оно было объяснимо, и все же сейчас этот инцидент, не давал мне покоя, как не давал покоя и тогда. Скорее ради того, чтобы избавиться от наваждения, нежели ради какого-то там расследования я упростила одного весьма обязательного молодого человека оказать мне услугу и сходила с ним к руководителю оркестра.

Его звали Томас, это был очень черный, исключительно простодушный виртуоз-ударник, и нам не понадобилось и десяти минут, чтобы выяснить, что жест Кэтрин Джоунз удивил его не меньше, чем меня. Он знал ее давно, а на танцах видел с тех пор, как она была еще маленькой девочкой, — господи, да ведь танец, что она исполнила в тот вечер, она репетировала с его оркестром недель раньше! А несколько дней спустя пришла и попросила у него прощения.

— Я был уверен, что она придет, — заключил Томас. — Она прямая, добросердечная девушка. Моя сестра нянчила ее до самой школы.

— Ваша сестра?

— Кейти. Служанка в загородном клубе. Кейтн Голстин. Да о ней еще писали в газетах по этому делу Чарли Кинкейда. Это она и есть Кейти Голстин. Та служанка в загородном клубе, которая обнаружила труп мисс Бэннерман.

— Значит, Кейти была мамкой мисс Кэтрин Джоунз?

— Да, мэм.

По дороге домой, обрадованная, но еще не удовлетворенная, я быстро спросила своего спутника:

— Кэтрин и Мэри были хорошие подруги?

— А как же, — не раздумывая ответил он. — Здесь все девушки хорошие подруги, кроме разве тех случаев, когда двое из них пытаются подцепить одного и того же парня. Тогда они слегка взгревают друг друга.

— Как ты думаешь, почему Кэтрин не замужем? У нее что, мало кавалеров?

— Когда как. Они ей нравятся только день-два — все, кроме Джо Кейбла.

3

И тут одна сцена бросилась на меня, захлестнула меня волной. Я вдруг вспомнила — мой разум прямо задрожал от этого соприкосновения, — что сказала мне Мэри Бэннерман в женской комнате: «А кто это еще нас видел?» Уголкем глаза она смутно увидела кого-то еще, чью-то фигуру, проследовавшую так быстро, что она даже не узнала ее.

Одновременно я тоже словно бы увидела эту фигуру — так человек осознает знакомую походку или фигуру на улице задолго до того, как появляются какие-то проблески

узнавания. В уголке моего собственного глаза запечатлелась чья-то спешащая фигура — это могла быть и Кэтрин Джоунз.

Но когда раздался выстрел, Кэтрин Джоунз была на виду у пятидесяти с лишним человек. Возможно ли, что Кейти Голстин, пятидесятилетняя женщина, которую знали и которой доверяли три поколения жителей Дэвиса, по приказу Кэтрин Джоунз хладнокровно застрелит молодую девушку?

«Но когда раздался выстрел, Кэтрин Джоунз была на виду у пятидесяти с лишним человек».

Это предложение билось у меня в голове всю ночь, принимая немыслимые формы, разделяясь на фразы, отрывки, отдельные слова.

«Но когда раздался выстрел, Кэтрин Джоунз была на виду у пятидесяти с лишним человек».

Когда раздался выстрел! Какой выстрел? Тот выстрел, который слышали мы. Когда раздался выстрел... Когда раздался выстрел...

На другой день, в 9 часов утра, с бледностью от бессонной ночи, сокрытой под таким слоем косметики, какого на мне никогда больше — ни до, ни после этого — не было, я поднялась по шаткой лестнице в кабинет шерифа. Эйберкромби, занятый утренней почтой, с любопытством взглянул на меня.

— Это Кэтрин Джоунз! — крикнула я, стараясь изо всех сил, чтобы в моем голосе не было истерических ноток. — Выстрела, которым она убила Мэри Бэннерман, мы не услышали — играл оркестр, все с шумом передвигали стулья. Мы только слышали, как Кейти пальнула из окна, когда музыка смолкла. Чтобы обеспечить Кэтрин алиби!

Я оказалась права, как теперь все знают; но с неделю, пока Кейти Голстин не сломилась перед страшной и безжалостной инквизицией, никто мне не верил. Даже Чарли Кинкейд, как он потом признался, и тот не смел думать, что это может быть правдой.

Каковы были отношения между Кэтрин и Джо Кейблом, никто толком не знал, но, очевидно, она решила, что его тайная связь с Мэри Бэннерман зашла слишком далеко.

Мэри случайно появилась в женской комнате, когда Кэтрин одевалась к своему танцу, — и тут опять-таки возникает некоторая неясность, ибо Кэтрин доказывала, что у Мэри был револьвер, которым она ей угрожала, и что в последовавшей борьбе кто-то из них нажал на курок. Несмотря на все это, Кэтрин Джоунз мне всегда нравилась, но, справедливости ради, надо сказать, что только у простодушных и в высшей степени добрых присяжных она могла получить пять лет...

Выстрелив, она, вероятно, мгновенно все обдумала. Кейти было приказано ждать, когда смолкнет музыка, выстрелить из револьвера и спрятать его — Кэтрин Джоунз не указала, куда именно. Кейти, на грани коллапса, повиновалась, но она так и не вспомнила, куда же она сунула револьвер. И никто этого так и не узнал, пока год спустя, когда мы с Чарли проводили наш медовый месяц, страшное оружие шерифа Эйберкромби не вывалилось из моей сумки для клюшек на площадку для гольфа в Хот Спрингс. Сумка, наверно, стояла как раз за дверью женской комнаты, и Кейти дрожащей рукой опустила револьвер в первое попавшееся отверстие...

Мы живем в Нью-Йорке. В маленьких городах нам обоим как-то не по себе. Каждый день нам приходится читать о растущих волнах преступлений в больших городах, но волна — это хоть что-то осязаемое, против нее можно принять меры предосторожности. Больше всего меня страшат неведомые глубины, непредвиденные течения и водовороты, неясные контуры предметов, дрейфующих в светонепроницаемой тьме под поверхностью моря.

ОПЯТЬ ВАВИЛОН

I

А мистер Кемпбелл где? — спрашивал Чарли.

— Уехал в Швейцарию. Мистер Кемпбелл сильно болеет, мистер Уэйлс.

— Это грустно. Ну, а Джордж Хардт?

— Вернулся в Америку, работает.

— А где Кокаинист?

— На той неделе заходил к нам. Мистер Шеффер, друг его, этот определенно в Париже.

Полтора года, и всего двое из длинного перечня знакомых имен. Чарли набросал в записной книжке адрес и вырвал листок.

— Увидите мистера Шеффера, передайте ему, — сказал он. — Тут адрес моих родных. Я еще не решил, где остановиться.

Париж опустел, но это было не так уж худо. Настораживало гнетущее, непривычное затишье в баре отеля «Риц». Американский дух исчез — теперь здесь невольно хотелось держаться вежливым гостем, не хозяином. Бар вновь отошел к Франции. Чарли ощутил затишье сразу, едва только вылез из такси и увидел, что швейцар, которому в такой час обыкновенно вздохнуть было некогда, судачит у служебного входа с *chasseur*³.

Он двинулся по коридору, и лишь одинокий скучающий голосок долетел до него из дамской комнаты, когда-то полной щебетанья. Свернув в бар, он прошел пятнадцать шагов до стойки по зеленому ковру, глядя по старой привычке прямо перед собой, сел, поставил ногу на опору, а уж тогда повернулся, осмотрелся кругом, и лишь чей-то одинокий взгляд, оторвавшись от газеты, вспорхнул навстречу ему из угла. Чарли спросил, нет ли старшего бармена Поля, который в те дни, когда на бирже еще играли на повышение, приезжал на работу в собственном несерийной модели автомобиле — хоть, правда, из понятной щепетильности оставлял его за углом. Но Поль был сегодня в своем загородном доме, и новости рассказывал Аликс.

— Нет, хватит, — сказал Чарли, — я нынче соблюдаю меру.

Аликс поздравил его.

— А года два назад вы крепко налегали.

— Теперь — кончено, — уверил его Чарли. — Точка. Держусь полтора с лишним года, даже больше.

— Каково сейчас в Америке?

— Я в Америке не был уж сколько месяцев. Веду дела в Праге, представляю кой-какие предприятия. Туда обо мне не дошли слухи.

Аликс улыбнулся.

— Помните, когда Джордж Хардт давал холостяцкий ужин, что здесь было? — сказал Чарли. — А кстати, что с Клодом Фессенденом, где он?

Аликс доверительно понизил голос:

— В Париже, только теперь не показывается сюда. Поль не пускает. У него тут счетов набралось на тридцать тысяч франков, больше года пил, обедал, да и ужинал большей частью — и все в долг. А под конец, когда Поль сказал, что надо платить, дал негодный чек.

Аликс сокрушенно покачал головой.

— Понять не могу, такой приличный человек, и вот поди ты. Теперь к тому же разнесло всего... — Он очертил ладонями пузатое яблоко.

Чарли смотрел, как рассаживается в углу стайка писклявых педерастов.

Этих ничто не берет, думал он. Повышаются и падают акции, люди слоняются без дела или работают, а им все нипочем. Ему становилось тягостно здесь. Он попросил у Аликса игральные кости, и они кинули, кому платить за выпивку.

— Надолго сюда, мистер Уэйлс?

— Дня на четыре, проведать дочь.

— О-о! Так у вас есть дочка?

³ Посыльный (франц.)

Снаружи, сквозь тихий дождик, дымно мерцали вывески, огненно-красные, газово-синие, призрачно-зеленые. Вечерело, и улицы были в движении; светились быстро. На углу бульвара Капуцинок он взял такси. Мимо, розоватая, величественная, проплыла площадь Согласия, за нею логическим рубежом легла Сена, и на Чарли внезапным нестоличным уютом повеяло с левого берега.

Он велел шоферу ехать на авеню Опера, хотя это был крюк. Просто хотелось увидеть, как сизые сумерки затягивают пышный фасад, и в клаксонах такси, бессечно повторяющих начальные такты «Очень медленного вальса» Дебюсси, услышать трубы Второй империи. У книжной лавки Брентано запирали железную решетку, у Дюваля, за чинно подстриженными кустиками живой изгороди, уже обедали. Чарли ни разу не приводилось в Париже есть в настоящем дешевом ресторане. Обед из пяти блюд, и с вином — четыре франка пятьдесят сантимов, то есть восемнадцать центов. Почему-то сейчас он пожалел об этом.

Переехали на левый берег, и, как всегда, окунаясь в его неожиданный провинциальный уют, Чарли думал: я своими руками сгубил для себя этот город. Не замечал, как, один за другим, уходят дни, а там оказалось, что пропало два года, и все пропало, и сам я пропал.

Ему было тридцать пять лет, и он был хорош собой. Глубокая поперечная морщина на лбу придавала сосредоточенность его живым ирландским чертам. Когда он позвонил на улице Палатин в дверь своих родственников, морщина обозначилась резче, брови сошлись к переносице; у него заныло под ложечкой. Горничная отворила дверь, и прелестная девочка лет девяти выскочила из-за ее спины, взвизгнула: «Папа!» — и забилась, точно рыбка, повиснув у него на шее. Она за ухо пригнула к себе его голову и прижалась к его щеке.

— Старушечка моя, — сказал он.

— Ой, папа, папа, папочка!

Она потянула его в гостиную, где дожидалось все семейство — мальчик с девочкой, ровесники его дочери. свояченица, ее муж. Он поздоровался с Марион обдуманно ровным голосом, без неприязни, но и без наигранной радости, она отозвалась откровенно кислым тоном и тут же перевела взгляд на его ребенка, стирая с лица неистребимую отчужденность. Мужчины дружески поздоровались за руку, и ладонь Линкольна Питерса мимоходом опустилась Чарли на плечо.

В комнате было тепло, было удобно на американский привычный лад. Дети играли во что-то свое, переходя через желтые прямоугольники, ведущие в другие комнаты; в предобеденном благодушии смачно причмокивал огонь, ему вторили отголоски французских священнодействий на кухне. Но Чарли не удавалось расслабиться, сердце комом застряло в горле — спасибо, что поминутно подходила дочка, баюкая дареную куклу, — она прибавляла ему уверенности.

— Отлично, представь себе, — ответил он на вопрос Линкольна. — Кругом, куда ни поглядишь, полный застой, а у нас дела идут вовсю. Черт его знает, прямо лучше прежнего. Вот в будущем месяце жду сестру из Америки, будет вести хозяйство. Такого дохода, как в последний год, не получал, даже когда был при капитале. Чехи, понимаешь... — Он расхвастался неспроста, но в этот миг в глазах у Линкольна прошла беспокойная тень, и он перевел разговор на другое.

— Хорошие у вас дети, воспитанные, умеют себя вести.

— А мы довольны Онорией, хоть куда девица.

Вернулась из кухни Марион Питерс. Высокая, с вечно озабоченными глазами от свежей американской миловидности не осталось и следа. Впрочем, Чарли никогда не находил ее привлекательной, только удивлялся, когда кто-нибудь вспоминал, какая она была хорошенькая. Они невзлюбили друг друга безотчетно, с первой минуты.

— Ну, как Онория, на твой взгляд?

— Чудесно. До чего выросла за десять месяцев, поразительно. Да вся троица загляденье.

— Вот уж год не знаем, что такое врач. Как тебе в Париже после такого перерыва?

— Непривычно как-то, совсем не видно американцев.

— И слава богу, — мстительно сказала Марион. — По крайней мере, заходишь в магазин, никто тебя не принимает за миллионершу. Мы пострадали не меньше других, но, вообще говоря, так оно куда лучше.

— И все же славно было, как вспомнишь, — сказал Чарли. — На нас смотрели, точно на сказочных принцев и принцесс, которым все дозволено и все прощается. А сегодня в баре... — он осекся, слишком поздно заметив свою оплошность,...я не встретил ни одной знакомой души.

Она бросила на него острый взгляд.

— Казалось бы, хватит с тебя баров.

— Я заходил всего на минуту. У меня правило, виски с содовой раз в день, и больше ни капли.

— Может быть, выпьешь коктейль перед обедом? — спросил Линкольн.

— Мое правило — один раз в день, значит, на сегодня довольно.

— Будем надеяться, что это надолго, — сказала Марион.

Она говорила холодно, с явной неприязнью, но Чарли только усмехнулся, не стоило обращать внимания на мелочи, когда решалось главное. Наоборот, ее враждебность была ему на руку, он понимал, что нужно лишь выждать. Дождаться, пока они заведут разговор о том, что привело его в Париж, ведь они знают, зачем он приехал.

За обедом он старался и не мог определить, на кого Онория больше похожа, на него или на мать. Счастье, если ей не достались от обоих те свойства, которые навлекли на них беду. Его захлестнуло желание оградить, уберечь. Он, кажется, знал, что ей нужно больше всего. Он верил в твердость духа, он хотел перенестись на целое поколение назад и вновь уповать на твердость духа, как некую непреходящую ценность. Все прочее снашивалось дотла.

После обеда он просидел недолго, но не поехал домой. Любопытно было взглянуть на ночной Париж новыми глазами, яснее, строже, чем в те прежние дни. Он взял strapontin⁴ в «Казино» и смотрел, как изгибается в арабесках шоколадное тело Жозефины Бейкер.

Через час он вышел и не спеша направился в сторону Монмартра, вверх по улице Пигаль, на площадь Бланш. Дождь перестал; по-вечернему одетые люди высаживались из такси у дверей кабаре, в одиночку и по двое прохаживались cocoties⁵, было много негров. Он миновал освещенный подъезд, из которого доносилась музыка, и, почуяв что-то знакомое, остановился, — это оказалось заведение Бриктопа, и сколько часов сюда ухнуло, сколько денег. Еще несколько дверей, и еще одно полузабытое место давних сборищ; он опрометчиво заглянул в дверь. Тут же с готовностью грянул оркестр, вскочила на ноги пара профессиональных танцоров, и с возгласом: «Милости просим, сэр, поспели к самому сбору!» — к нему устремился метрдотель. Чарли поспешил убраться. Да, думал он, для такого нужно черт те сколько выпить.

У Зелли было закрыто, и сомнительные гостинички по соседству прятали свои облезлые стены в темноте, зато на улице Бланш светились огни, слышался бойкий говор парижан. «Пещеры поэтов» не стало, но по-прежнему разверзали пасти кафе «Рай» и кафе «Ад» — и даже, у него на глазах, заглотнули скудное содержимое туристского автобуса — одного немца, одного японца и чету американцев, которая покосилась на него испуганно.

Вот и все, к чему сводился Монмартр, его старания, ухищрения. Порок и расточительство обставлены были совершенно по-детски, и Чарли вдруг осознал, что значат слова «вести рассеянный образ жизни» — рассеять по ветру, обратить нечто в ничто. В предутренние часы всякий переход из одного заведения в другое был как бы резкий скачок в иное человеческое состояние, скачок в цене за возможность все более замедлять свой ход.

⁴ Откидное место (франц.)

⁵ Уличные девицы (франц.)

Вспомнились тысячные бумажки, отданные в оркестр за то, что сыграли по заказу одну вещь; сотенные бумажки, брошенные швейцару за то, что кликнул такси.

Впрочем, все это отдавалось не даром.

Все это, вплоть до совсем уж дико промотанных денег, отдавалось, как мзда судьбе, чтобы не вспоминать главное, о чем только и стоило помнить, о чем теперь он будет помнить всегда, — что у него забрали ребенка, что жена скрылась от него на вермонтском кладбище.

В пронзительном свете brasserie⁶ с ним заговорила женщина. Он взял для нее омлет и кофе, потом, стараясь не встречаться с ее зазывным взглядом, дал ей двадцать франков, сел в такси и поехал в гостиницу.

II

Когда он проснулся, стоял осенний солнечный день — подходящая погода для футбола. Вчерашняя хандра прошла, встречные на улице радовали глаз. В двенадцать он сидел против Онории в «Ле Гран Ватель» — из всех знакомых ресторанов только этот не приводил на память ужины с шампанским, долгие обеды, которые начинались в два пополудни и завершались в расплывчатых, мутных сумерках.

— Ну, а как ты насчет овощей? Возьмем тебе что-нибудь?

— Давай.

— Есть epinards⁷, chou-fleur⁸, морковка есть, haricots⁹.

— Chou-fleur, если можно.

— Еще что хочешь?

— Я за обедом больше не ем.

Официант переигрывал, изображая, как любит детей.

— Qu' elle est mignonne la petite! Elle parle exactement comme une francaise¹⁰.

— Что скажешь насчет сладкого? Или подождем, там видно будет?

Официант скрылся. Онория с надеждой взглянула на отца.

— Что мы сегодня будем делать?

— Первым делом идем на улицу Сент-Оноре в магазин игрушек, и ты выбираешь, что твоей душе угодно. Потом едем в театр «Ампир» на утренник.

Она помялась.

— Утренник — это хорошо, а в игрушечный лучше не надо.

— Почему?

— Ты уже мне привез куклу. — Кукла была при ней. — И потом, у меня и так много всего. Мы ведь теперь не богатые, правда?

— И не были никогда. Но сегодня тебе будет все, что пожелаешь.

— Ладно, — покорно согласилась она.

Когда рядом были мать и няня-француженка, он считал нужным держаться строго, теперь он ломал все, чем отгораживался от нее раньше, учился быть терпимым — она должна была найти в нем и отца и мать, должна знать, что он не останется глух ни к одному ее зову.

⁶ Пивная (франц.)

⁷ Шпинат (франц.)

⁸ Цветная капуста (франц.)

⁹ Стручковая фасоль (франц.)

¹⁰ Что за милая девчурка! И говорит совсем как француженка (франц.)

— Я хочу познакомиться с тобой поближе, — серьезно сказал он. — Во-первых, разрешите представиться. Я — Чарлз Джей Уэйлс, живу в Праге.

— Ой, папа! — У нее голос сорвался от смеха.

— А вас как зовут, позвольте узнать? — не отступался он, и она мгновенно включилась в игру.

— Онория Уэйлс, живу в Париже, улица Палатин.

— Одна или с мужем?

— Одна. Я не замужем.

Он указал на куклу.

— Но я вижу, у вас ребенок, мадам.

Обидеть куклу было выше сил, Онория прижала ее к груди и быстро нашлась:

— Верно, я была замужем, а теперь — нет. У меня муж умер.

Чарли поспешно задал другой вопрос:

— И как же зовут вашу девочку?

— Симона. В честь моей школьной подружки, самой лучшей.

— Я так доволен, что у тебя успехи в школе.

— На третьем месте в этом месяце, — похвалилась она. — Элси всего на восемнадцатом, по-моему... — Элси была ее двоюродная сестра, — А Ричард и вовсе в хвосте.

— Нравятся они тебе, Ричард и Элси?

— Да, вполне. Ричард очень нравится, и она тоже ничего.

Он спросил осторожно, как бы между прочим:

— А тетя Марион и дядя Линкольн — из них кто больше?

— Наверно, дядя Линкольн все-таки.

С каждой минутой он все острее ощущал ее присутствие. Когда они входили, вслед им шелестело «...прелесть», и сейчас молчание за соседним столиком посвящено было ей, ее разглядывали открыто, словно цветок, который не способен чувствовать, что им любуются.

— Почему я живу не с тобой? — внезапно спросила она, — Потому что мама умерла?

— Тебе полезно здесь пожить, подучишь французский как следует. Папе трудно было бы так хорошо за тобой смотреть.

— За мной больше не нужно особенно смотреть. Я все умею сама.

Они выходили из ресторана, как вдруг его окликнули двое, мужчина и женщина.

— Ба, Уэйлс собственной персоной!

— Лорейн, сколько лет... Здравствуй, Дунк.

Нежданные тени из прошлого — Дункан Шеффер, приятель и однокашник по колледжу, Лорейн Куолз, хорошенькая пепельная блондинка лет тридцати, из той компании, с чьей помощью в то бесшабашное времечко три года назад месяцы пролетали, как короткие дни.

— Муж в этом году приехать не мог, — ответила она на его вопрос. — Вконец обнищали. Определил мне двести в месяц и пожелал истратить их наихудшим для себя образом... Девочка ваша?

— Может быть, вернешься, посидим? — спросил Дункан.

— Рад бы, да не могу. — Хорошо, что было чем отговориться. Как всегда, он не остался равнодушен к дразнящему, влекущему обаянию Лорейн, однако ритм его жизни был теперь иной.

— Тогда пообедаем вместе? — спросила она.

— Если бы я был свободен. Вы мне оставьте ваш адрес, и я вам позвоню.

— Чарли, у меня подозрение, что вы трезвый, — осуждающе сказала она. Дунк, я, кроме шуток, подозреваю, что он трезв. Ущипните-ка его, и мы проверим.

Чарли показал глазами на Онорию. Они прыснули.

— Ты-то где живешь? — недоверчиво спросил Дункан. Чарли помедлил, называть гостиницу не было никакой охоты.

— Еще не знаю толком. Лучше все-таки я вам позвоню. Мы идем на утренник в театр «Амфир».

— Вот! Как раз то, что мне надо, — сказала Лорейн. — Желаю смотреть клоунов, акробатов, жонглеров. Дунк, решено, чем заняться.

— У нас еще до этого есть дела, — сказал Чарли. — Там, вероятно, увидимся.

— Ладно уж, сноб несчастный... До свидания, красивая девочка.

— До свидания.

Онория сделала вежливый книксен.

Как-то нехстати эта встреча. Он им нравится, потому что он занят делом, твердо стоит на ногах — он сейчас сильнее, чем они, оттого они льнут к нему, ища опору в его силе.

В театре Онория гордо отказалась сидеть на сложенном отцовском пальто. Она была уже личность, с собственными понятиями и правилами, и Чарли все сильнее проникался желанием вложить в нее немножко себя, пока она не определилась окончательно. Тщетно было пытаться узнать ее близко за такой короткий срок.

После первого отделения, в фойе, где играла музыка, они столкнулись с Дунканом и Лорейн.

— Не выпьешь с нами?

— Давайте, только не у стойки. Сядем за стол.

— Ну, образцовый родитель.

Слушая рассеянно, что говорит Лорейн, Чарли смотрел, как глаза Онории покинули их столик, и с нежностью и печалью старался угадать, что-то они видят. Он перехватил ее взгляд, и она улыбнулась.

— Вкусный был лимонад, — сказала она.

Что это она такое сказала? Что он рассчитывал услышать? В такси, на обратном пути, он притянул ее к себе, и ее голова легла ему на грудь.

— Дочка, ты маму вспоминаешь когда-нибудь?

— Иногда вспоминаю, — небрежно отозвалась она.

— Мне хочется, чтобы ты ее не забывала. Есть у тебя ее карточка?

— Есть, по-моему. У тети Марион — наверняка есть. А почему ты хочешь, чтоб я ее не забывала?

— Она тебя очень любила.

— И я ее.

Они на минуту примолкли.

— Пап, я хочу уехать и жить с тобой, — сказала она вдруг.

У него забилося сердце, он мечтал, чтобы это случилось в точности так.

— Тебе разве худо живется?

— Нет, просто я тебя люблю больше всех. И ты меня больше, да? Раз мамы нету...

— Еще бы. Только тебе-то, милая, я не всегда буду нравиться больше всех. Вот вырастешь большая, встретишь какого-нибудь сверстника, выйдешь замуж и думать забудешь, что у тебя есть папа.

— Да, это правда, — безмятежно согласилась она.

Он не стал входить с нею в дом. В девять ему предстояло быть тут снова, хотелось вот таким, обновленным, нетронутым, сохранить себя для того, что он должен сказать.

— Прибежишь домой, выгляни на минутку в окно.

— Ладно. До свидания, папа, папочка мой. Он постоял на неосвещенной улице, пока она не показалась в окошке наверху, разгоряченная, розовая, и не послала ему в темноту воздушный поцелуй.

III

Его ждали. Марион, внушительная в вечернем черном платье, — не совсем траур, но все-таки... — сидела за кофейным сервизом. Линкольн возбужденно расхаживал по

комнате, — явно только что кончил говорить что-то и еще не остыл. Очевидно было, что им, как и ему, не терпится перейти к делу. Он начал почти сразу:

— Вам известно, я полагаю, для чего я пришел — . с чем, собственно, и ехал в Париж.

Марион, хмурая лоб, перебирала черные звездочки ожерелья.

— Я ужасно хочу, чтобы у меня был свой дом, — продолжал он. — И ужасно хочу, чтобы в этом доме была Онория. Спасибо вам, что из любви к матери вы приютили девочку, но теперь обстоятельства изменились... — Он запнулся и тотчас повторил, тверже: — Обстоятельства у меня изменились решительным образом, и я вас прошу пересмотреть положение вещей. Я не спорю, и глупо было бы, — года три назад я действительно вел себя скверно...

Марион подняла на него тяжелый взгляд.

— ...однако все это позади. Я говорил уже, что год с лишним я вообще не пью, только один раз в день, да и то нарочно, чтобы у меня в сознании не слишком разрасталась мысль о выпивке. Ясно ли, в чем тут суть?

— Нет, — отрубил Марион.

— Самотренировка, что ли. Слежу, чтобы вопрос не становился проблемой.

— Что ж, ясно, — сказал Линкольн; — Доказываешь себе, что незапретный плод теряет сладость.

— Примерно так. Бывает, что и забуду, не выпью. Хотя стараюсь не забывать. Но вообще-то при такой работе, как у меня, пьянство так или иначе исключается. На службе довольны тем, что мне удалось проделать, больше чем довольны, так что — вот, вызвал к себе из Берлингтона сестру вести хозяйство и просто мечтаю, чтобы Онория тоже жила у меня. Вспомните, даже когда у нас с ее матерью не клеилось, никогда мы не допускали, чтобы это хоть как-либо задело Онорию. Она ко мне привязана, я знаю, заботиться о ней я способен, это я тоже знаю, и... короче, вот так. Дальше ваше слово.

Теперь ему, конечно, зададут жару. Расправа затянется на час, а то и на два, и стерпеть будет нелегко, но если прикрыть ответное раздражение постным смирением кающегося грешника, можно в конечном счете добиться своего.

Держи себя в руках, говорил он себе. Тебе не оправдание нужно. Тебе нужна Онория.

Первым заговорил Линкольн:

— После того, как от тебя в том месяце пришло письмо, мы не раз это обсуждали. Нам-то ничуть не в тягость, что Онория у нас. Она милое существо, и мы только рады сделать для нее, что можем, но не в том, естественно, вопрос...

Его внезапно перебила Марион:

— Насколько хватит твоей решимости не пить, Чарли?

— Думаю, на всю жизнь.

— Где доказательство, что это не слова?

— Ты сама знаешь, я никогда не пьянствовал, пока не забросил работу и не приехал сюда, на заведомое безделье. А тут еще нас с Элен угораздило связаться с...

— Будь добр, оставь в покое Элен. Не могу слышать, когда ты позволяешь себе так говорить о ней.

Он посмотрел на нее угрюмо — при жизни Элен у него не было уверенности, что сестры обожают друг друга.

— Всерьез я пил только года полтора, с того времени, как мы сюда приехали, и до того, как я... ну, в общем, сорвался.

— Срок немалый.

— Срок немалый, это верно.

— Я считаюсь единственно со своим долгом перед Элен, — сказала она. Стараюсь исходить из того, что пожелала бы она. Ты же, честно говоря, с той ночи, когда так гнусно обошелся с нею, перестал для меня существовать. И тут уж ничего не поделаешь. Она мне сестра.

— Да-да.

— Перед смертью она меня просила, чтобы я не оставила Онорию. Возможно, если бы ты в ту пору не изволил пребывать на излечении, было бы проще.

На это ответить было нечего.

— В жизни не забуду то утро, когда Элен постучалась ко мне и сказала, что ты запер дверь и не пускаешь ее в дом, — до нитки мокрая, иззябшая.

Чарли вцепился пальцами в края стула. Он предвидел, что будет нелегко, но так... Хотелось возразить, объяснить, но он сказал только:

— В то утро, когда я запер дверь... — и она оборвала его:

— Я сейчас не в состоянии в это вдаваться.

Все смолкли на минуту, потом Линкольн сказал:

— Мы что-то уклоняемся. Ты, значит, хочешь, чтобы Марион официально сложила с себя опеку и отдала Онорию тебе. Для нее, как я понимаю, самое главное — можно ли на тебя положиться или нет.

— Я не осуждаю Марион, — с расстановкой сказал Чарли, — и все же думаю, что положиться на меня можно смело. До того, что началось три года назад, меня не в чем было упрекнуть. Конечно, трудно поручиться, что я ни разу не оступлюсь, — чего не бывает. Но если ждать, откладывать, тогда еще немного, и ее детство для меня потеряно, а с ним — надежда создать себе дом. — Он покачал головой. — Да я, попросту потеряю ее, как вы не понимаете.

— Нет, я понимаю, — сказал Линкольн.

— Что ж ты об этом раньше не задумался? — спросила Марион.

— Пожалуй, что и задумывался, но начались нелады с Элен... На опекунство дал согласие, когда сидел в лечебнице, а верней, лежал на обеих лопатках, если учесть, что крах на бирже пустил меня по миру. Я сознавал, что вел себя из рук вон, думал, соглашусь на что угодно, если Элен так будет спокойней. Теперь другое дело. Я работаю, черт возьми, веду примерный образ жизни со всем, что...

— Не ругайся при мне, будь любезен, — сказала Марион.

Он взглянул на нее оторопело. С каждым словом все сильнее выпирала наружу ее неприязнь к нему. Весь свой страх перед жизнью она вложила в некий оборонительный заслон и выставляла его ему навстречу. Как знать, может быть, за обедом провинилась кухарка — и готов повод для мелочной придирки. В нем нарастала тревога, было страшно оставлять Онорию в этой враждебной ему обстановке; сегодня это будет слово, завтра неодобрительное покачивание головой — и рано или поздно что-то неизбежно прорвется, заронит в детскую душу недоверие, которое не вытравишь после. Но Чарли согнал досаду с лица, запрятал ее глубже, — он все-таки выиграл очко: Линкольн в ответ на вздорный окрик жены вскользь осведомился, с каких это пор ее коробит от слова «черт».

— И еще одно, — сказал Чарли. — Я теперь могу для нее кое-что сделать. Собираюсь взять с собой в Прагу французскую гувернантку. Уже снял новую квартиру... — Он не договорил, сообразив, что дал маху. Едва ли разумно напоминать, что он опять вдвое их богаче.

— Да, ты, конечно же, в состоянии окружить ее роскошью, какая нам не по средствам, — сказала Марион. — Было время, ты сорил деньгами направо и налево, а у нас каждые десять франков были на счету... И, конечно же, ты все начнешь сначала.

— Э, нет, — сказал он. — Теперь я стал умней. Я десять лет работал, не покладая рук, ты же знаешь, — а потом повезло на бирже, и многим, не одному мне. Неслыханно повезло. Казалось, работать нет смысла, я и бросил.

На этот раз молчание было долгим. Чувствовалось, что у всех сдают нервы, и впервые за год Чарли потянуло выпить... Он уже был уверен, что Линкольн Питерс за то, чтобы отдать ему дочь.

Марион вдруг передернулась. Краем сознания она как будто и понимала, что у Чарли теперь под ногами надежная почва, материнским чутьем не могла не ощутить, как естественно то, чего он хочет, однако странное нежелание верить, что сестра счастлива

замужем, уже давно вселило в нее стойкое предубеждение предубеждение, которое за одну жуткую ночь обратилось в ее потрясенной душе в ненависть. У нее в ту пору подошла такая минута, когда под бременем расстроенного здоровья и незавидных житейских обстоятельств ей необходимо стало найти себе вполне определенное злодейство и определенного злодея — и тогда-то разыгрались все события.

— Я не могу приказывать себе думать так, а не иначе! — выкрикнула она. — А насколько ты повинен в смерти Элен — больше, меньше, — этого я не знаю. Это уж ты выясняй наедине со своей совестью.

Боль пронзила его электрическим током, еще секунда — и он вскочил бы на ноги, нерожденный звук рвался из гортани. Он сумел удержаться на волоске, и секунда прошла — одна, другая.

— Полегче, не надо так, — с неловкостью сказал Линкольн. — Я, например, никогда не считал, что тут есть твоя вина.

— Элен умерла оттого, что у нее было что-то с сердцем, — глухо сказал Чарли.

— Вот именно — что-то с сердцем, — сказала Марион, как бы вкладывая свой смысл в эти слова.

Но ее запал уже иссяк, и, отрезвленная, она увидела Чарли таким, каков он есть, увидела, что он, неведомо как, сделался хозяином положения. Взглянув на мужа, она поняла, что от него поддержки ждать нечего, и разом, словно речь шла о чем-то несущественном, перестала сопротивляться.

— Ах, да поступай как знаешь! — вскочив со стула, воскликнула она. — Твоя дочь, в конце концов. Я не тот человек, чтобы становиться тебе поперек дороги. Хотя, будь это моя девочка, я скорей бы, кажется, пох... — Она успела совладать с собой. — Решайте сами. Я не могу больше. Я совсем разбита. Пойду лягу.

Она быстрыми шагами вышла, и Линкольн сказал, на сразу:

— У нее сегодня тяжелый день. Ты знаешь, как она остро воспринимает... Голос у него звучал почти что виновато. — Уж если женщина что-нибудь вбила себе в голову...

— Это конечно.

— Все образуется. По-моему, она уже видит, что ты способен, м-м... позаботиться о ребенке, а раз так, зачем нам становиться поперек дороги тебе или Онории.

— Спасибо тебе, Линкольн.

— Пойти, пожалуй, посмотреть, как она там.

— Да, ухажу.

Его еще била дрожь, когда он вышел из дома, но достаточно было пройтись по улице Бонапарт пешком до quai¹¹, как она унялась, и по пути на ту сторону Сены, нетронутой, обновленной в свете прибрежных фонарей, его настигло ликование. Однако после, в гостинице, сон не шел к нему. Образ Элен маячил перед ним неотступно. Как он любил ее, пока они вдвоем не принялись безрассудно топтать ногами свою любовь, не надругались над нею. В ту февральскую жуткую ночь, которая так врезалась в память Марион, между ними час за часом лениво тянулась перебранка. Во «Флориде» разразилась сцена, потом он пробовал увезти ее домой, потом где-то за столиком она поцеловалась с этим мальчишкой Уэббом, — а потом были слова, которые она наговорила ему, уже не помня себя. Домой он приехал один и со зла, плохо соображая, что делает, повернул ключ в двери. Откуда ему было знать, что через час она вернется без провожатых, и поднимется снежный буран, и она в легких туфельках побредет сквозь снег, точно в дурмане, не сообразив даже поискать такси? И какой все это был ужас после, когда она чудом не получила воспаление легких. Они, что называется, заключили мир, но все равно это было начало конца, и Марион, став очевидицей злодейства и поверив, что этот случай — один из многих в жизни мученицы-сестры, так и не простила ему.

¹¹ Набережная (франц.)

Блуждая в прошлом, он приблизился к Элен, и сам не заметил, как в белесом свете, который мягко крадется в полусон на исходе ночи, разговорился с нею, как встарь. Она говорила, что он совершенно правильно все решил насчет Онории и она хочет, чтобы Онория была у него. Говорила, как ее радует, что он хорошо живет, а работает и того лучше. Она еще много что говорила — очень сердечно, только все время раскачивалась, как на качелях, в своем белом платье, быстрее, быстрее, так что под конец уже трудно было расслышать, что она говорит.

IV

Он проснулся от счастья. Мир снова распахнул перед ним двери. Он строил планы, рисовал себе картины их с Онорией будущего и загрустил неожиданно, когда вспомнил, какие планы они строили вместе с Элен. Она не собиралась умирать. Настоящее, вот что имело цену, — работа, которую делаешь, кто-то рядом, кого любишь. Только нельзя позволять себе любить чрезмерно; он знал, как может отец напортить дочери или. мать сыну, приучив к чрезмерно тесным узам, — после, Оторвавшись от дома, дети будут искать у спутника жизни ту же нерассуждающую нежность и, быть может, не найдя ее, ожесточатся и на любовь, и на самое жизнь.

День выдался опять погожий, бодрый. Чарли позвонил Линкольну Питерсу на службу в банк и спросил, твердо ли может рассчитывать, что в Прагу едет с Онорией. Линкольн тоже считал, что откладывать нет оснований. Но с одной оговоркой — насчет формальностей. Марион хочет еще на некоторое время остаться опекуном. Ее основательно взбудоражило это событие, и, чтобы все сошло гладко, лучше, если она будет знать, что еще год последнее слово остается за ней. Чарли согласился, лишь бы сама девочка была с ним рядом.

Пора было решать с гувернанткой. В унылом бюро по найму Чарли сидел и беседовал сперва с какой-то ведьмой из Беарна, потом — с деревенской пышкой из Бретани; ни ту, ни другую он не вытерпел бы и дня. Были еще какие-то, но тех он отложил на потом.

Завтракая вместе с Линкольном Питерсом у Гриффонса, Чарли старался, чтобы его ликование не слишком бросалось в глаза.

— Родной ребенок — с этим, конечно, ничто не сравнится, — говорил Линкольн. — Но и Марион тоже надо понять.

— Она забыла, сколько я работал в Америке, целых семь лет, — сказал Чарли. — Запомнила одну ночь, и кончено.

— Видишь ли, тут еще что, — Линкольн замялся. — Пока вы с Элен раскатывали по Европе, сорили деньгами, мы сводили концы с концами, и не более того. Пресловутое процветание не коснулось меня никак — я туго продвигаюсь по службе, и у меня тогда ничего не было за душой, разве что страховка. Думаю, Марион усматривала в этом своего рода несправедливость, — что ты, палец о палец для того не ударяя, становишься все богаче.

— Быстро текло в руки, быстро и утекало, — сказал Чарли.

— Верно, и оседало в чужих карманах: chasseurs, саксофонисты, метрдотели ну, да что там, карнавал окончен. Это я так сказал, чтобы стало ясно, с чем связаны для Марион те сумасшедшие годы. Ты заходи-ка сегодня часиков в шесть, когда Марион еще не слишком устанет, и мы сразу же обсудим все подробности.

В гостинице Чарли обнаружил, что его дожидается pneumatique¹² — его переслали сюда из бара «Рица», где Чарли оставил свой адрес на тот случай, если объявится нужный ему человек.

«Милый Чарли!

Вы вчера так странно держались при встрече с нами, что я подумала, уж не

¹² Письмо, доставленное по пневматической почте (франц.)

обидела ли Вас чем-нибудь. Если да, значит, сама того не ведая. Наоборот, я что-то подозрительно часто о Вас думала этот год, и когда ехала сюда, в глубине души все надеялась, что вдруг Вас встречу. Признайтесь, разве не весело нам было вместе в ту сумасшедшую весну — помните, как мы ночью стащили у мясника трехколесный велосипед с тележкой, а другой раз порывались нанести визит президенту и у Вас был на голове старый котелок без тульи, а в руках трость из проволоки. Все в последнее время сделались какие-то старые, а я ни чуточки себя не чувствую старой. Хотите, встретимся сегодня, помянем былое? Сейчас у меня с похмелья раскалывается голова, но к вечеру станет лучше, и часов в пять я Вас жду в баре „Рица“, на обычном рабочем месте.

Неизменно Ваша

Лорейн».

Его в первый миг охватило чувство, похожее на священный ужас: чтобы он, взрослый человек, и впрямь стянул чужой велосипед и с глубокой ночи до рассвета колесил вокруг площади Звезды, катая Лорейн... Сегодня это походило на страшный сон. Запереть дверь и не впустить в дом Элен — такое ни с чем не вязалось в его жизни, ни с одним поступком, но случай с велосипедом — вязался, он был действительно один из многих. Сколько же дней, сколько месяцев надо было вести этот самый рассеянный образ жизни, чтобы дойти до подобного состояния, когда все на свете трин-трава?

Он силился восстановить в памяти, какой ему представлялась Лорейн в те дни, — она очень ему нравилась; Элен молчала, но он знал, что ее это мучит. Вчера в ресторане Лорейн ему показалась поблекшей, увядшей, несвежей. Меньше всего ему хотелось с ней встречаться, хорошо хоть, Аликс не проболтался, в какой он гостинице. Как отрадно вместо того помечтать об Онории, о том, как они будут вдвоем проводить воскресенье, как он будет здороваться с ней по утрам, а вечером ложиться спать с сознанием, что она тут же, под одной с ним крышей, дышит тем же воздухом в темноте.

В пять он сел в такси и отправился покупать Питерсам подарки, каждому особый, — задорную тряпичную куклу, ящик с солдатиками в одежде римских воинов, цветы для Марион и большие полотняные носовые платки для Линкольна.

Видно было, когда он приехал, что Марион смирилась с неизбежным. Теперь она его встретила, как члена семьи, непутевого, но своего — до сих пор он был посторонний, был опасен. Онории сказали, что она уезжает, и Чарли с удовольствием отметил, что у нее хватило деликатности не слишком показывать, как она счастлива. Она улучила минуту, когда сидела у него на коленях, и только тогда шепнула ему на ухо: «Ура!» — шепнула: «А скоро?» — и, соскользнув с колен, убежала к Ричарду и Элси.

Они с Марион остались в комнате одни, и Чарли под влиянием минуты отважился заговорить:

— Болезненная это штука, распри между родными. Как-то не по правилам протекают. Не болячка, не рана — так, трещина на коже, которая никак не затянется из-за того, что не хватает ткани. Хорошо бы, у нас с тобой немного наладились отношения.

— Не всякое легко забывается, — отозвалась она. — Сначала надо, чтоб было доверие. — Он не ответил, и, помолчав, она спросила: — Ты когда думаешь ее забирать?

— Сразу, как найду гувернантку. Послезавтра, я полагаю.

— Послезавтра — ни в коем случае. Мне еще приводить в порядок ее вещи. В субботу, не раньше.

Он покорился. В комнату вернулся Линкольн, предложил ему выпить.

— Выпью положенное, — сказал Чарли. — Виски с содовой.

Здесь было тепло, люди были у себя дома, люди сошлись к очагу. Дети держались очень уверенно, с достоинством; отец и мать чутко, внимательно наблюдали за ними. У родителей были заботы поважней, чем приход гостя. Что, в самом деле, важнее для Марион — вовремя дать ребенку ложку лекарства или выяснять отношения с родственником. Не скучные люди, нет, просто жизнь крепки прижимает, обстоятельства. Чарли подумал, нельзя

ли как-нибудь вытащить Линкольна из банка, где он тянет ляжку.

Протяжный, залиvistый звонок в дверь; через комнату в коридор прошла *bonne a tout faire*¹³. Под второй протяжный звонок дверь открылась, трое в гостиной выжидательно подняли головы. Ричард придвинулся на такое место, откуда видно, что происходит в коридоре. Марион встала. Прислуга пошла обратно по коридору, за нею по пятам надвигались голоса, они вышли на свет и приняли образ Дункана Шеффера и Лорейн Куолз.

Им было весело, их разбирал отчаянный смех, они покатывались со смеху. Чарли в первые секунды остолбенел, тупо соображая, каким образом они ухитрились пронюхать, где живут Питерсы.

— Ая-яй! — Дункан шаловливо погрозил Чарли пальцем. — Ая-яй!

Их скорчило в три погибели от нового приступа смеха. В тревоге и замешательстве Чарли торопливо поздоровался, представил их Линкольну и Марион. Марион, почти не разжимая губ, кивнула. Она отступила к камину; с ней рядом стояла дочь, и Марион одной рукой обняла девочку за плечи.

Закипая от досады, Чарли ждал объяснений. Дункану понадобилось время, чтобы собраться с мыслями.

— Пришли звать тебя обедать, — сказал он. — Ломается, видите ли, играет в прятки — мы с Лорейн требуем, чтобы это прекратилось.

Чарли подступил ближе, незаметно тесня их назад, к коридору.

— Не могу, к сожалению. Скажите, где вас найти, и через полчаса я позвоню.

Это не возымело действия. Лорейн с размаху криво плюхнулась на стул, и в поле ее зрения попал Ричард.

— Боже, чей это такой милый мальчик! — вскричала она. — Поди сюда, милый!

Ричард оглянулся на мать и не тронулся с места. Лорейн демонстративно пожалала плечами и снова повернулась к Чарли:

— Идем пообедаем. Пожалуйста. Родные не обидятся. Так редко видимся. Вернее, р-робко.

— Я не могу, — сказал Чарли отрывисто. — Вы обедайте без меня, я позвоню потом.

У нее вдруг сделался неприятный голос.

— Хорошо, мы уйдем. Я только помню случай, когда вы дубасили ко мне в дверь в четыре утра. Вас приняли и дали выпить, — так люди поступают с приятелями. Идем, Дунк.

Все еще заторможенные в движениях, с набрякшими и злыми лицами, они нетвердой походкой удалились по коридору.

— Всего хорошего, — сказал Чарли.

— Всего наилучшего! — едко отозвалась Лорейн.

Когда он вернулся в гостиную, Марион стояла как вкопанная на том же месте, но теперь подле нее, в полуколыске другой ее руки, был и сын. Линкольн все раскачивал на коленях Онорию, туда-сюда, словно маятник.

— Безобразие! — взорвался Чарли. — Нет, каково безобразиие!

Никто не ответил. Чарли присел в кресло, взял свой стакан, поставил обратно.

— Два года людей в глаза не видел, и у них хватает наглости...

Он не договорил. Потому что Марион стремительно, яростно выдохнула: «А-ах!» — круто, всем телом, повернулась и вышла из комнаты.

Линкольн бережно спустил Онорию на пол.

— Садитесь-ка, дети, за стол, суп стынет, — сказал он и, когда они послушно скрылись в столовой, прибавил, обращаясь к Чарли: — У Марион неважно со здоровьем, ей дорого обходятся встряски. Она в буквальном смысле слова не переносит подобного рода публику.

— Я их не звал сюда. Они сами у кого-то выпытали, где ты живешь. И умышленно...

— Очень жаль, одно могу сказать. Во всяком случае, это не упрощает дело. Извини, я

¹³ Прислуга (франц.)

сейчас.

Он вышел; Чарли замер в кресле, подобрался. Было слышно, как едят в соседней комнате дети, односложно переговариваются, успев забыть о неурядице между взрослыми. Из другой комнаты слышались невнятные на отдалении обрывки разговора, звякнул телефон, когда с него сняли трубку, и Чарли в смятении отошел в другой конец комнаты, чтобы не получилось, что он подслушивает.

Через минуту вернулся Линкольн.

— Вот что, Чарли. Похоже, обед сегодня отменяется. Марион плохо себя чувствует.

— Рассердилась на меня?

— Есть отчасти. — Линкольн говорил резковато. — Не по ее силам...

— Ты что, хочешь сказать, она передумала насчет Онории?

— Сейчас, по крайней мере, она слышать ничего не хочет. Сам не знаю. Лучше позвони мне завтра в банк.

— Объясни ты ей, пожалуйста, я понятия не имел, что эти люди могут сюда явиться. Я сам возмущен не меньше вашего.

— Сейчас не время ей что-то объяснять. Чарли встал. Он взял пальто, шляпу, сделал несколько шагов по коридору. Он открыл дверь в столовую и проговорил чужим голосом:

— Дети, до свиданья.

Онория вскочила из-за стола, подбежала и крепко обхватила его руками.

— До свиданья, доченька, — сказал он машинально и спохватился, стараясь говорить мягче, стараясь еще умиловить неизвестно что. — До свиданья, ребятки.

V

Сгоряча он отправился прямо в бар «Рица», думая застать там Лорейн и Дункана, но их не было, да и все равно, здраво рассуждая, что он мог бы сделать. У Питерсов он даже не пригубил свой стакан и теперь взял себе виски с содовой. Подошел Поль, поздоровался.

— Кругом перемены, — сказал он печально. — У нас вот дела свернулись чуть ли не вдвое против прежнего. И на каждом шагу слышишь, что кто-нибудь, кто возвратился в Штаты, все потерял во время краха — не в первый раз, так во второй. Говорят, ваш друг Джордж Хардт потерял все до последнего. Что же, и вы возвратились в Штаты?

— Нет, я служу в Праге.

— Говорят, вы тоже немало потеряли во время краха.

— Верно говорят. — И угрюмо прибавил: — Но все по-настоящему ценное я потерял во время бума.

— Задешево отдали.

— Вроде того.

Опять, как страшный сон, к нему прихлынули воспоминания тех дней — люди, с которыми они познакомились во время поездок, и другие люди, которые смутно представляли себе, сколько будет дважды два, и не умели толком связать двух слов. Замухрышка, который на пароходе пригласил Элен танцевать, и она пошла, а он в десяти шагах от их столика оскорбил ее; одурманенные винными парами или наркотиками женщины и девушки, которые заливались бессмысленным смехом, когда их выволакивали за дверь...

...Мужчины, которые запирались в доме, а жен оставляли на снегу, потому что снег в двадцать девятом был словно бы и не снег. Хочешь, и будет не снег, стоит только заплатить деньги.

Он пошел к телефону и позвонил Питерсам; трубку взял Линкольн.

— Прости, что звоню, ничто другое в голову не идет. Ну как Марион, говорит что-нибудь определенное?

— Марион слегла, — сухо ответил Линкольн. — Я согласен, в этой истории нет твоей прямой вины, но я не могу допустить, чтобы Марион из-за нее совсем расхворалась. Видимо, придется нам с этим делом повременить полгодика, нельзя больше доводить ее до такого

состояния, я не пойду на это.

— Понятно.

— Ты уж не взыщи, Чарли.

Он вернулся за свой столик. Стакан из-под виски стоял пустой, но Чарли качнул головой, когда Аликс взглянул на него вопросительно. Теперь делать нечего, — хотя можно послать Онории подарки; да, он ей завтра пошлет целый ворох подарков. И опять это будет всего-навсего деньги, думал он со злостью, а кому только он не совал деньги...

— Нет, хватит, — сказал он незнакомому официанту. — Сколько с меня?

Он еще вернется когда-нибудь, не заставят же его расплачиваться всю жизнь. Но дочь была нужна ему сейчас, и остальное в сравнении с этим как-то слабо утешало. Это в молодости хорошо думается и мечтается наедине с собою, а молодость прошла. Он точно знал, что никогда Элен не пожелала бы для него такого одиночества.

ДВЕ ВИНЫ

1

— Смотрите — видали ботиночки? — сказал Билл. — Двадцать восемь монет.

Мистер Бранкузи посмотрел.

— Неплохие.

— На заказ шиты.

— Я и так знаю, что вы франт каких мало. Не за этим же вы меня звали?

— Совсем даже не франт. Кто сказал, что я франт? — возмутился Билл. Просто я получил хорошее воспитание, не то что иные прочие в театральном мире.

— И еще, как известно, вы красавец писанный, — сухо добавил Бранкузи.

— Конечно. Уж не вам чета. Меня девушки принимают за актера... Закурить есть? И что самое главное, у меня мужественный облик, чего уж никак не скажешь про здешних мальчиков.

— Красавец. Джентльмен. В шикарных ботинках. И везуч как черт.

— А-а, вот тут вы ошибаетесь, — заспорил Билл. — Голова на плечах, это — да. За три года — девять постановок, четыре прошли на «ура», одна провалилась. Ну при чем здесь везение?

Бранкузи надоело слушать, он задумался, уставившись в одну точку невидящими глазами. Сидящий перед ним молодой румяный ирландец всеми поразами источал такое самодовольство — не продохнуть. Но пройдет немного времени, и он, как всегда, спохватится, услышит сам себя и, устыдившись, поспешит спрятаться в свое второе «я» — такого утонченно-высокомерного покровителя искусств по образу и подобию ультраинтеллигентов из Театральной гильдии. Между этими двумя ипостасями Билл Мак-Чесни до сих пор еще не сделал окончательный выбор, такие натуры обычно определяются годам к тридцати.

— Возьмите Эймса, возьмите Гопкинса, Гарриса — любого возьмите, продолжал разглагольствовать Билл. — Кто из них лучше меня?... В чем дело? Хотите выпить? — спросил он, видя, что Бранкузи посматривает на стену, где висел винный шкафчик.

— Я не пью по утрам. Просто там кто-то стучит. Вы б им велели перестать. Слышать не могу, страшно действует на нервы.

Билл встал и распахнул дверь.

— Никого нет... — начал он. — Эй! Вам чего?

— Ой, простите, — ответил женский голос. — Простите, ради бога! Я разволновалась и сама не заметила, что, оказывается, держу в руке карандаш.

— А что вам здесь надо?

— Я к вам. Секретарь говорит, что вы заняты, а у меня к вам письмо от Алана

Роджерса, драматурга. Я хотела передать вам его лично.

— Мне некогда. Обратитесь к мистеру Кадорна.

— Я обратилась. Но он был не слишком любезен, а мистер Роджерс говорил...

Бранкузи нетерпеливо пододвинул стул и посмотрел в открытую дверь. Посетительница была очень юная, с копной ослепительных золотых волос и гораздо более волевым лицом, чем можно было подумать по ее лепету. У нее был твердый характер, потому что она родилась и выросла в городке Делани, штат Южная Каролина, но откуда было знать об этом мистеру Бранкузи?

— Как же мне быть? — спросила она, без колебаний отдавая свою судьбу в руки Билла. — У меня было письмо к мистеру Роджерсу, а он вот дал мне письмо для вас.

— Ну, и что я должен сделать? Жениться на вас? — взорвался Билл.

— Я хотела бы получить роль в одном из ваших спектаклей.

— Тогда сидите тут и ждите. Я сейчас занят... Где мисс Кохалан? — Он позвонил, с порога еще раз сердито оглянулся на посетительницу и закрыл за собой дверь. Но за это время с ним произошла обычная метаморфоза, и теперь с мистером Бранкузи разговор возобновил человек, который на проблемы театрального искусства смотрит, можно сказать, просто глазами Макса Рейнгардта.

К половине первого он уже ни о чем не помнил, кроме того, что будет величайшим на свете режиссером и что сейчас, за ленчем, он встретится с Солом Линкольном, которому все это втолкует. Он вышел из кабинета и вопросительно посмотрел на мисс Кохалан.

— Мистер Линкольн не сможет с вами встретиться, — дoloжила она. — Он только что звонил.

— Ах, только что звонил, — в сердцах повторил Билл. — Тогда вычеркните его из списка приглашенных на четверг.

Мисс Кохалан провела черту поперек лежащего перед нею листа бумаги.

— Мистер Мак-Чесни, вы, наверно, про меня забыли?

Билл обернулся к посетительнице.

— Да нет, — неопределенно ответил он и добавил, опять обращаясь к секретарше: — Ладно, черт с ним, все равно пригласите его на четверг.

Есть в одиночку ему не хотелось. Он теперь ничего не любил делать в одиночку, ведь для человека известного и влиятельного общество удивительно приятная вещь.

— Может быть, вы уделите мне две минуты, — снова начала рыженькая.

— Сейчас, к сожалению, не могу.

И вдруг он понял, что таких красивых, как она, не видел никогда в жизни. Он не мог оторвать от нее глаз.

— Мистер Роджерс мне говорил...

— Может, перекусим вместе? — предложил он и, дав мисс Кохалан несколько поспешных и противоречивых указаний, распахнул перед своей дамой дверь.

Они стояли на Сорок второй улице и дышали воздухом для избранных — его было так мало, что хватало всего на несколько человек. Был ноябрь, театральный сезон начался уже давно. Биллу стоило повернуть голову вправо — и там сияла реклама одного спектакля, потом влево — и там горели огни другого. Третий шел за углом — тот, что он поставил вместе с Бранкузи и с тех пор зарекся работать на пару.

Они вошли в «Бедфорд-отель», и среди официантов и служителей поднялась суматоха.

— Как тут мило, — любезно, но искренне сказала девушка.

— Актерская берлога. — Он кивал каким-то людям. — Привет, Джимми... Билл... Джек, здорово... Это Джек Демпси... Я редко сюда хожу. Больше в Гарвардский клуб.

— Так вы учились в Гарварде? Один мой знакомый...

— Да.

Он колебался. Относительно Гарварда существовали две версии, и неожиданно он выбрал ту, которая соответствовала истине.

— В Гарварде. Меня там считали деревенщиной, никто знаться со мной не хотел, не то

что теперь. На той неделе я гостил у одних на Лонг-Айленде такой фешенебельный дом, боже ты мой, — так там у них двое светских молодчиков, которые в Кембридже меня в упор не замечали, вздумали панибратствовать, я им теперь, видите ли, «старина Билл».

Он еще поколебался и вдруг решил на этом поставить точку.

— Так вам что, работа нужна? — спросил он. Он вдруг вспомнил, что увидел у нее дырявые чулки. Перед дырявыми чулками он пасовал, терялся.

— Да. Иначе мне придется уехать обратно домой, — ответила она. — Я хочу стать балериной, заниматься русским балетом, знаете? Но уроки такие дорогие, вот и приходится искать работу. Заодно, я думала, немного привыкну к сцене.

— Пляски, значит?

— Нет, что вы, классический балет.

— Павлова, например, она разве не пляшет?

— Ну что вы! — Она ужаснулась, но потом продолжила свой рассказ. — Дома я занимаюсь у мисс Кэмпбелл, вы, может, быть, слышали? Джорджия Берримен Кэмпбелл. Ученица Неда Уэйберна. Она просто замечательная! Она...

— Да? — Он слушал рассеянно. — Дело нелегкое. В агентствах от актеров отбою нет, и послушать их всех, так они что угодно могут — до первой пробы. Вам сколько лет?

— Восемнадцать.

— Мне двадцать шесть. Приехал сюда четыре года назад без единого цента в кармане.

— Ну да?

— А теперь могу хоть сегодня прикрыть лавочку, мне хватит до конца жизни.

— Честное слово?

— В будущем году устрою себе отпуск на год. Женюсь... Айрин Риккер, слышали про такую?

— Еще бы! Моя любимая актриса.

— Мы помолвлены.

— Правда?

Потом, когда они снова вышли на Таймс-сквер, Билл небрежно спросил:

— А что вы сейчас делаете?

— Работу ищу.

— Да нет же. Вот сейчас.

— Ничего.

— Может, зайдем ко мне, выпьем кофе? Я живу на Сорок шестой улице.

Глаза их встретились, и Эмма Пинкард решила, что в случае чего сможет за себя постоять.

В просторной светлой комнате-студии с огромным диваном в десять футов шириной она выпила кофе, он — виски с содовой, и его рука легла ей на плечи.

— С какой стати я должна вас целовать? — решительно сказала она. — Мы почти незнакомы, и потом вы помолвлены с другой.

— Пустяки. Она не рассердится.

— Так я и поверила!

— Вы — хорошая девушка.

— Во всяком случае, не дура.

— Ну и ладно. Оставайтесь себе хорошей девушкой.

Она поднялась с дивана и стала рядом, свежая и спокойная и ничуть не смущенная.

— Я так понимаю, что теперь мне работы у вас не получить? — беззлобно спросила она.

Он думал уже о другом — о каком-то разговоре, о репетициях, — но, поглядев, опять увидел на ней дырявые чулки. И позвонил по телефону:

— Джо, это Нахал говорит... Что, думали, я не знаю, как вы меня называете?... Ладно, ничего... Слушайте, вы уже набрали мне трех девушек для сцены с гостями? Ну, так оставьте место, я вам сейчас пришлю одну южаночку.

И, довольный собою, гордо посмотрел на нее, чувствуя себя самым что ни на есть отличным малым.

— Прямо не знаю, как вас благодарить. И мистера Роджерса, — дерзко добавила она. — До свидания, мистер Мак-Чесни.

Он не снизошел до ответа.

2

Во время репетиций он часто приходил в театр и стоял с умным выражением на лице, будто каждого видел насквозь. На самом же деле, оглушенный собственным успехом, он воспринимал действие на сцене смутно, как в тумане, да и не особенно интересовался. В конце недели он обычно уезжал на Лонг-Айленд и гостил у своих новоявленных роскошных друзей. Бранкузи величал его не иначе как «светский лев», а он отругивался:

— Ну и что? Разве я не учился в Гарварде? Думаете, я, как вы, у зеленщика в тележке отыскался?

Новые знакомые ценили его за приятную внешность, и за легкий характер, и, конечно, за успех.

И только помолвка с Айрин Риккер омрачала его жизнь. Они давно действовали друг другу на нервы, но ни он, ни она не решались на разрыв. Как двух юных отпрысков двух самых богатых семейств в городе уже одно их исключительное положение часто сводит вместе, так и Билл Мак-Чесни с Айрин Риккер, оба вознесенные на вершину успеха, не могли не принести друг другу дань взаимного восхищения. Но ссоры, в которых они отводили душу, становились все чаще и ожесточеннее, и конец неотвратимо приближался. Он принял облик рослого красавца Фрэнка Ллуэлина, актера, игравшего в паре с Айрин. Билл быстро понял, к чему идет дело, и взял с ними особый горько-иронический тон; через неделю репетиций отношения в труппе стали натянутыми.

А между тем Эмми Пинкард, у которой теперь хватало денег на крекеры с молоком и был приятель, водивший ее в ресторан, благоденствовала. Приятеля звали Истон Хьюз, он тоже был из Делани и учился в Колумбийском университете на зубного врача. Иногда он приводил с собою и других молодых людей, которые тоже учились на зубных врачей и страдали от одиночества, и за мизерную плату в два-три торопливых поцелуя в такси Эмми всегда могла пообедать. Как-то вечером у актерского подъезда она познакомила Истона с Биллом Мак-Чесни, и с тех пор при встрече с нею Билл всегда разыгрывал ревность.

— Я вижу, этот зубодер опять перебежал мне дорогу? Ну, ладно. Смотрите только, не разрешайте ему давать вам наркоз.

Разговаривали они не часто, но всегда смотрели друг на друга. Он, взглядывая на нее, всякий раз делал сначала большие глаза, словно встретил ее впервые, и только потом спохватывался и принимался ее дразнить. А она, взглядывая на него, видела многое — яркий, солнечный день, толпы народу на улицах; очень хороший новый лимузин у тротуара, и двое очень хорошо одетых людей в него садятся и едут туда, где все как в Нью-Йорке, только это где-то далеко и там еще гораздо веселее. Часто она жалела, что не поцеловала его тогда, но чаще радовалась, потому что проходили недели, и он забывал про любезности, привязанный, как и все они, к скрипучему колесу работы.

Премьеру назначили в Атлантик-Сити. И здесь настроение у Билла вдруг окончательно испортилось, это заметили все. Он был сух с помрежем и язвителен с актерами. А все потому, говорили в труппе, что Айрин Риккер приехала из Нью-Йорка одним поездом не с ним, а с Фрэнком Ллуэлином. Вечером во время генеральной репетиции он сидел рядом с автором в полутемном зале, и вид у него был довольно злобный; но репетиция шла, а он хранил молчание, и только в конце второго акта, когда Ллуэлин остался на сцене вдвоем с Айрин Риккер, вдруг крикнул:

— Еще раз этот кусок! И прошу без глупостей!

Ллуэлин подошел к рампе.

— Что значит «без глупостей»? Так написано в роли.

— Сами знаете. Никакой отсебятины.

— Не понимаю.

Билл вскочил с кресла.

— Никаких перешептываний! Понятно?

— Мы и не перешептывались. Я только спросил...

— Неважно. Повторяем!

Ллуэлин в сердцах повернулся и уже готов был начать сцену, когда Билл вполне внятно произнес:

— Даже пешке надо все-таки делать, что велят.

Ллуэлин обернулся, как будто его дернули.

— Я не намерен терпеть такое обращение, мистер Мак-Чесни.

— Почему? Думаете, вы не пешка? Напрасно. Спектакль ставлю я, а вы обязаны делать, что я приказываю. — Он пошел вперед по проходу. — Если вы и этого не можете, как вас тогда называть?

— Мне не нравится ваш тон!

— Да? Ну и что же с того?

Ллуэлин спрыгнул в оркестровую яму.

— Я не потерплю! — заорал он.

— Да вы что, с ума оба сошли? — крикнула со сцены Айрин Риккер. Но Ллуэлин размахнулся и одним коротким мощным ударом отбросил Билла в партер. Билл перелетел через ряды кресел, вышиб сиденье и застрял вниз головой. Началась паника. Кто-то держал Ллуэлина, автор без кровинки в лице вытаскивал Билла, помреж со сцены орал: «Я убью его, шеф! Расквашу ему жирную морду!» Ллуэлин тяжело дышал, Айрин Риккер трепетала.

— По местам! — еще в объятиях автора, распорядился Билл, прижимая к лицу платок. — Всем вернуться на свои места. Еще раз последний кусок, и никаких разговоров! Ллуэлин, на сцену!

Никто не успел опомниться, а уже все было готово к возобновлению репетиции. Айрин Риккер тянула Ллуэлина за рукав и что-то торопливо говорила. В зале по ошибке дали свет и тут же опять приглушили. Когда был выход Эмми, она успела заметить, что Билл сидит в зале и лицо его залеплено целой маской окровавленных платков. Она была страшно зла на Ллуэлина. И ведь из-за него все могло расстроиться и пришлось бы возвращаться в Нью-Йорк. Хорошо, что Билл спас спектакль, хотя сам же его чуть не погубил. По своей воле Ллуэлин не бросит сейчас работу, это повредило бы его карьере. Второй акт доиграли и сразу, без перерыва, приступили к третьему. А когда кончили, Билл уже уехал.

На следующий вечер, во время премьеры, он сидел на стуле в кулисах на виду у всех, кто проходил на сцену или со сцены. Лицо у него распухло, под глазом разлился синяк, но видно, было, что ему не до того, и обошлось без язвительных замечаний. Один раз после антракта он вышел в зал, потом вернулся, и тотчас же распространился слух, что от двух нью-йоркских агентств поступили выгодные предложения. Он опять добился успеха — они все добились успеха.

Сердце Эмми захлестнула волна признательности к этому человеку, которому они все стольким были обязаны. Она подошла и поблагодарила его.

— Да, я умею сделать верный выбор, рыжик, — сумрачно ответил он.

— Спасибо вам, что выбрали меня.

И неожиданно для себя самой Эмми опрометчиво добавила:

— Ой, как у вас разбито лицо! Я... по-моему, с вашей стороны было так благородно, что вы не дали вчера всей нашей работе пойти насмарку.

Минуту он испытующе разглядывал ее, потом на его распухшем лице появилось подобие иронической улыбки.

— Вы мною восхищаетесь, детка?

— Да.

- И вчера восхищались, когда я полетел вверх тормашками?
- Зато как быстро вы навели порядок.
- Вот это преданность! В таком дурацком положении и то нашла чем восхищаться.
- Все равно, — восторженно вздохнула она. — Вы держались просто замечательно.

Она стояла перед ним, такая юная, свежая, что ему вдруг захотелось после долгого, трудного дня прижаться распухшей щекой к ее щеке.

С этим желанием и с синяком под глазом он назавтра уехал в Нью-Йорк; синяк рассосался, а желание осталось. Потом они перебрались играть в Нью-Йорк, и как только он увидел, что вокруг нее теснятся другие мужчины, привлеченные ее красотой, для него весь этот спектакль стал — она, и этот успех — она, и в театр он теперь приезжал ради нее одной. Спектакль играли весь сезон, а когда закрылись, Билл Мак-Чесни слишком много пил и особенно нуждался в участии близкого человека. Неожиданно в начале июня в Коннектикуте они поженились.

3

Двое сидели в баре лондонского «Савоя» и убивали время. Подходил к концу месяц май.

- И симпатичный он парень? — спросил Хабл.

— Очень, — ответил Бранкузи. — Очень симпатичный, очень красивый, и все его любят.

Помолчав, он добавил:

- Вот хочу вытащить его домой.

— Не понимаю, — сказал Хабл. — Разве здешние театры могут сравниться с нашими? Чего он здесь торчит?

- Он водит дружбу с герцогами и графинями.

— А-а.

— На той неделе я его встретил, с ним были три важные дамы: леди Такая-то, леди Сякая-то и, леди Еще Какая-то.

- Я думал, он женат.

- Уже три года, — сказал Бранкузи. — Есть ребенок, ждут второго.

Он замолчал, потому что в эту минуту вошел Билл Мак-Чесни. На пороге он демонстративно огляделся по сторонам — у него было очень американское лицо и высоко подложенные плечи.

- Алло, Мак. Познакомьтесь, это мой друг, мистер Хабл.

— Привет. — Билл сел и продолжал разглядывать присутствующих. Хабл вскоре ушел. — Что за птица? — спросил Билл.

— Так один, только месяц как приехал и титулом не успел обзавестись. Вы вон тут уже полгода болтаетесь.

Билл ухмыльнулся.

— Считаете, что низкопоклонствую? Зато не лицемерю. Мне это по сердцу, нравится мне, понятно? Хорошо бы, и меня тоже звали, скажем, маркиз Мак-Чесни.

- Попробуйте, может, допьетесь и до маркиза, — сказал Бранкузи.

— Еще чего! Откуда вы взяли, что я пью? Вот, значит, теперь какие разговоры обо мне ходят? Послушайте, назовите мне за всю историю театра хоть одного американского продюсера, который имел бы в Лондоне такой же успех, как я, за неполных восемь месяцев, и я завтра же уезжаю с вами обратно в Америку. Вы только сами скажите...

— Успех имеют ваши старые постановки. А в Нью-Йорке у вас две последние работы провалились.

Билл встал, стиснул зубы.

— А вы кто такой? — мрачно спросил он. — Вы специально из Америки приехали, чтобы так со мной разговаривать?

— Напрасно обижаетесь, Билл. Просто я хочу, чтобы вы вернулись домой. Ради этого я готов что угодно сказать. Выдайте еще три таких сезона, как в двадцать втором и двадцать третьем, и вы обеспечены на всю жизнь.

— Да ну его к черту, этот Нью-Йорк, — хмуро ответил Билл. — Там один день ты король, потом делаешь две промашки, и все начинают болтать, что твоя песенка спета.

Бранкузи покачал головой.

— Не поэтому. Так стали поговаривать, когда вы расплевались с Аронсталем, вашим лучшим другом.

— Тоже мне друг!

— Ну, ближайший сотрудник. И потом...

— Не будем об этом говорить. — Билл посмотрел на часы. — Да, вот что, Эмми, к сожалению, плохо себя чувствует, так что, боюсь, с сегодняшним обедом у нас ничего не выйдет. Обязательно загляните в мою контору перед отъездом.

Пять минут спустя, стоя у табачного ларька, Бранкузи увидел, как Билл снова вошел в вестибюль «Савоя» и спустился в чайную.

«Дипломатом стал, как я погляжу, — подумал о нем Бранкузи. — Раньше, бывало, говорил прямо, что, мол, иду на свидание. Понабрался тут лоску от герцогов и графинь».

Возможно, он слегка обиделся, хотя вообще-то был не из обидчивых. Во всяком случае, он тут же, не сходя с места, заключил, что Мак-Чесни катится по наклонной плоскости, и раз навсегда вычеркнул его из своего сердца, что было вполне на него похоже.

А никаких признаков, что Билл катится по наклонной плоскости, не было. Одна удачная постановка в «Новом Стрэнде», другая — в «Театре принца Уэльского», и еженедельные поступления текли почти так же обильно, как в Нью-Йорке два-три года назад. Разве энергичный, деловой человек не вправе переменить район операций? А человек, который час спустя входил, торопясь к обеду, в свой дом возле Гайд-парка, не достиг еще и тридцати и был полон энергии. Эмми, измученная, беспомощная, лежала на кушетке в верхней гостиной. Он обнял ее и прижал к себе.

— Осталось немножко, — сказал он ей. — Ты очень красивая.

— Не смей меня.

— Правда. Ты всегда красивая. Не знаю, почему. Наверно, потому, что у тебя сильный характер, и это всегда видно, даже когда ты вот такая.

Ей было приятно, что он так говорит; она провела пальцами по его волосам.

— Характер — самое главное в человеке, — продолжал он. — А у тебя его хватит на семерых.

— Ты виделся с Бранкузи?

— Да. Ну его к черту. Я решил не привозить его к обеду.

— Почему?

— Да так... очень разважничался. Говорит о моей ссоре с Аронсталем, будто это я во всем виноват.

Она помолчала, поджав губы, потом тихо сказала:

— Ты подрался с Аронсталем, потому что был пьян.

Он вскочил.

— И ты тоже?...

— Нет, Билл, но ты и теперь слишком много пьешь, ты сам знаешь.

Он знал, но постарался переменить тему, и они спустились к обеду. За столом, разогретый бутылкой красного вина, он вдруг заявил, что с завтрашнего дня вообще не возьмет в рот спиртного, пока она не родит.

— Я ведь захочу — всегда могу перестать пить, разве нет? И если я что сказал, значит, так и будет. Ты видела хоть раз, чтобы я пошел на попятный?

— Не видела.

Они выпили кофе, потом он собрался уходить.

— Возвращайся пораньше, — сказала Эмми.

— Конечно... Что с тобой, детка?

— Ничего. Просто плачу. Не обращай внимания. Да уходи же, ну что ты стоишь как дурак?

— Но я беспокоюсь, разве не понятно? Не люблю, когда ты плачешь.

— Ну, просто я не знаю, куда ты уходишь по вечерам; не знаю, с кем ты. И эта леди Сибил Комбринк, что все время сюда звонила. Чепуха все, я понимаю, но я просыпаюсь ночью, и мне так одиноко, Билл. Ведь мы всегда были вместе, правда? До недавних пор.

— Мы и теперь вместе... Что это на тебя нашло, Эмми?

— Это все бред, я знаю. Мы ведь никогда не предадим друг друга, да? Как до сих пор...

— Ну, конечно...

— Возвращайся пораньше или когда сможешь.

Он заехал на минутку в «Театр принца Уэльского», потом пошел в соседнюю гостиницу и позвонил по телефону.

— Нельзя ли попросить ее светлость? Это говорит мистер Мак-Чесни.

Голос леди Сибил ответил не сразу.

— Вот так сюрприз. Я уже несколько недель не имела удовольствия вас слышать.

Тон ее был резок, как удар хлыста, и холоден, как домашний ледник, такая манера вошла в моду с тех пор, как английские дамы стали подражать своим портретам из английских романов. На него это сначала производило впечатление. Но недолго. Голову он не терял.

— Не было ни минуты свободной, представляете? — ответил он. — Вы на меня не дуетесь, надеюсь?

— Дуюсь? Я вас не понимаю.

— А я боялся, что дуетесь. Даже не прислали мне приглашение на сегодняшний бал. Я считал, раз мы тогда обо всем переговорили и согласились...

— Говорили — вы, и довольно много, — прервала его леди Сибил. Пожалуй, даже чересчур много.

И неожиданно, к изумлению Билла, повесила трубку.

Подумаешь, британская леди, разозлился он. Скetch под заглавием «Дочь Тысячи Пэров».

Он был задет, это подчеркнутое безразличие подогрело его угасший было интерес. Обычно женщины прощали ему непостоянство, так как знали о его трогательной преданности жене, и сохраняли о нем грустные, но приятные воспоминания. Ничего подобного в голосе леди Сибил он не услышал.

Надо выяснить отношения, сказал он себе. Будь на нем фрак, он мог бы заехать к ней на бал и объясниться. Но ехать домой переодеваться не хотелось. Чем больше он размышлял, тем неотложнее представлялся ему этот разговор; под конец он стал подумывать, что, может быть, стоит поехать прямо так, в чем был; американцам позволялись некоторые вольности в одежде. Впрочем, пока еще было рано, и следующий час он провел в обществе нескольких стаканов виски с содовой, всесторонне обдумывая ситуацию.

Ровно в полночь он поднялся по ступеням к дверям ее особняка в Мэйфэре. Лакеи в гардеробе укоризненно разглядывали его пиджак, а швейцар безуспешно искал его фамилию в списке приглашенных. По счастью, в это же время подъехал его добрый знакомый сэр Хамфри Данн и убедил швейцара, что произошло какое-то недоразумение.

Переступив порог. Вилл сразу же стал высматривать хозяйку дома.

Леди Сибил, молодая женщина очень высокого роста, была наполовину американка и оттого еще больше англичанка, чем кто бы то ни было. Билла Мак-Чесни она, в каком-то смысле, открыла, скрепив своим именем его репутацию обаятельного дикаря; его измена нанесла удар по ее самолюбию, какого она еще не испытывала с тех пор, как ступила на стезю порока.

Она здоровалась с прибывающими гостями, стоя наверху лестницы рядом с мужем, — Билл никогда раньше не видел их вместе. Он решил подождать и потом подойти к ней в

менее торжественной обстановке.

Но гости шли и шли, и ему с каждой минутой становилось все неудобнее. Знакомых вокруг почти не было; к тому же его пиджак явно привлекал внимание. Леди Сибил, конечно, видела его и могла бы помахать рукой, он бы тогда не чувствовал себя так по-идиотски. Но леди Сибил не показывала вида, что знает о его присутствии. Он уже не рад был, что пришел, однако теперь уйти было бы и вовсе нелепо. Он пробрался к буфетному столу и подкрепился бокалом шампанского.

А когда снова обернулся, она стояла наконец одна. Он устремился было к ней, но его остановил дворецкий:

— Прошу прощения, сэр. У вас есть приглашительная карточка?

— Я Друг леди Сибил, — раздраженно ответил Билл и пошел через зал.

Дворецкий догнал его.

— Очень сожалею, сэр, но должен просить вас пройти со мною и выяснить это недоразумение.

— Незачем. Я сейчас пойду поговорю с леди Сибил.

— У меня другие предписания, сэр, — твердо возразил дворецкий.

И не успел Билл опомниться, как ему ловко прижали локти к бокам и проворно провели в какую-то комнатку позади буфета.

Здесь его встретил человек в пенсне, Билл узнал в нем домашнего секретаря Комбринков.

Секретарь, кивнул дворецкому, сказал: «Да, этот самый», — и Биллу отпустили руки.

— Мистер Мак-Чесни, — произнес секретарь, — вы сочли уместным проникнуть в этот дом без приглашения, и его светлость просит вас немедленно удалиться. Будьте добры передать мне ваш номерок от гардероба.

Тут Билл наконец понял. С его губ сорвалось единственное слово, подходящее, по его мнению, для леди Сибил; в тот же миг секретарь подал знак двум лакеям, и отчаянно отбивающегося Билла поволокли через буфетную, где на него с любопытством оглядывались официанты, потом длинным коридором до дверей — и вытолкали в ночь. Двери захлопнулись; потом еще раз отворились, вслед за ним, надувшись парусом, вылетело его пальто, по ступенькам со стуком скатилась трость.

Он еще стоял там, ошарашенный, потрясенный, когда перед ним затормозило свободное такси, и шофер, приоткрыв дверцу, позвал:

— Эй, хозяин! Голова-то не болит?

— Что?

— Я знаю местечко, где можно опохмелиться. И поздний час не помеха.

Дверца такси захлопнулась за ним, и начался кошмар. Какое-то подпольное ночное кабаре; какие-то чужие люди, неизвестно откуда взявшиеся; потом какой-то скандал, он пытался расплатиться чеком и вдруг стал громко кричать, что он — Уильям Мак-Чесни, знаменитый режиссер, но никого не мог убедить, ни других, ни самого себя. Сначала было очень важно немедленно связаться с леди Сибил и призвать ее к ответу; потом уже вообще ничего не было важного. Он опять сидел в такси, шофер тряс его за плечи, и перед ним был его собственный дом.

В холле, когда он входил, раздался телефонный звонок, но Билл тупо прошел мимо горничной и расслышал ее голос, только уже поднимаясь по лестнице.

— Мистер Мак-Чесни, это опять из больницы. Миссис Мак-Чесни у них, они звонят каждый час.

Все еще как в тумане, он приложил трубку к уху.

— Говорят из Мидлендской больницы по поручению вашей жены. Она разрешилась сегодня в девять часов утра мертворожденным младенцем.

— Постоите, — хриплым, ломающимся голосом сказал он. — Я не понимаю.

Но потом он все же понял: у Эмми родился мертвый ребенок, и она зовет его. На подкашивающихся ногах он снова вышел на улицу искать такси.

В палате стоял полумрак. Постель была скомкана. Эмми подняла голову и увидела Билла.

— Это ты, — сказала она. — Господи, я думала, тебя нет в живых. Где ты был?

Он упал на колени возле кровати, но Эмма отвернулась.

— От тебя разит, — сказала она. — Противно.

Но пальцы ее остались у него на волосах, и он долго, не двигаясь, стоял перед ней на коленях.

— Между нами все кончено, — чуть слышно говорила она. — Но как было жутко, когда я думала, что ты умер. Все умерли. Пусть бы и я умерла.

Ветром откинуло штору на окне, он поднялся поправить ее, и Эмми увидела его в ясном свете утра — бледного, страшного, в мятом костюме, с разбитым лицом. На этот раз она чувствовала озлобление против него, а не против его обидчиков. Чувствовала, что его образ уходит из ее сердца и на этом месте возникает пустота, и вот его уже нет для нее, и она даже может простить, может его пожалеть. И все — за какую-то минуту.

Она упала у больничного подъезда, когда одна выходила из такси.

4

Когда Эмми оправилась физически и душевно, ею овладело неотступное желание учиться балету — давняя немеркнущая мечта, которую зароняла в ней мисс Джорджия Берримен Кэмпбелл из Южной Каролины, манила, точно светлый путь, уводящий назад, к ранней юности и к нью-йоркским дням радости и надежды. Под балетом она понимала ту изысканную совокупность извилистых поз и формализованных пируэтов, которая, родилась в Италии несколько столетий назад и достигла расцвета в России в начале нынешнего века. Она хотела приложить силы к тому, во что могла верить, ей представлялось, что танец — это возможность для женщины выразить себя в музыке; вместо сильных пальцев тебе дано гибкое тело, чтобы исполнять Чайковского и Стравинского; и ноги в «Шопениане» могут быть не менее выразительны, чем голоса в «Кольце Нибелунгов». В низших своих проявлениях балет — это номер в цирковой программе между акробатами и морскими львами; в высших — Павлова и Искусство.

Как только они устроились в нью-йоркской квартире, она с головой погрузилась в работу. Занималась неумоимо, как шестнадцатилетняя девочка, — по четыре часа в день у станка, позиции, антраша, пируэты, арабески. Это стало основным содержанием ее жизни, и единственное, что ее беспокоило, не поздно ли? Ей было двадцать лет, и приходилось наверстывать за десять лет, но у нее было пластичное тело прирожденной балерины — и это прелестное лицо...

Билл поощрял ее занятия; он собирался, когда она выучится, создать для нее первый настоящий американский балет. По временам он даже немного завидовал ее увлеченности; его собственные дела после возвращения на родину шли не блестяще. Во-первых, он нажил себе много врагов еще в годы своей самоуверенной молодости; ходили преувеличенные рассказы о том, как он много пьет, как груб с актерами и как с ним трудно работать.

Не в его пользу было и то, что он никогда не мог отложить денег и для каждой новой постановки вынужден был искать финансовую поддержку. А кроме того, он был на свой лад настоящим тонким художником, что и не побоялся доказать рядом некоммерческих постановок, но, поскольку за ним не стояла Театральная гильдия, все потери он должен был возмещать из собственного кармана.

Успехи тоже были; но давались, они теперь труднее — или это было обманчивое впечатление, просто сказывался нездоровый образ жизни. Он все собирался поехать отдохнуть, собирался поменьше курить, но в театральном мире была такая конкуренция, с каждым днем появлялись новые деятели, пользующиеся славой непогрешимых, да и не привык он к размеренной жизни. Он любил работать запоями, в чаду вдохновения и черного кофе, как принято в театре, но после тридцати лет за это приводится дорого платить. Так

получилось, что он постепенно стал все больше опираться на Эмми, на ее физическое здоровье и душевные силы. Они постоянно были вместе, и если его все же смущало, что он нуждается в ней больше, чем она в нем, то ведь у него еще все могло перемениться к лучшему — в будущем месяце, в следующем сезоне.

Однажды ноябрьским вечером Эмми возвращалась из балетной школы, помахивая своей серенькой сумочкой, низко надвинув шляпу на отсыревшие волосы, — вся во власти приятных мыслей. Она знала, что уже несколько недель люди приходят в студию специально, чтобы посмотреть на нее. Она была готова для выступлений. Когда-то с такой же настойчивостью и так же долго она трудилась над своими отношениями с Биллом, и тогда это кончилось срывом и болью; но теперь ей не от кого было опасаться предательства, здесь она полагалась только на себя. И она с замиранием сердца говорила себе: «Неужели вот оно? Неужели я наконец буду счастлива?»

Она торопилась. Были кое-какие обстоятельства, которые ей хотелось обсудить с Биллом.

Билла она застала уже в гостиной и позвала с собой наверх, чтобы поговорить, пока она будет переодеваться. Сразу, не оглянувшись на него, начала рассказывать.

— Ты только послушай! — Она говорила громко, чтобы льющаяся в ванну вода не заглушала ее голоса. — Поль Макова хочет, чтобы я в этом сезоне танцевала с ним в «Метрополитен-опера». Но окончательно еще не решено, имей в виду, поэтому — секрет, даже я ничего не знаю.

— Замечательно.

— Вот только, может быть, для меня лучше был бы дебют за границей? Во всяком случае, Донилов говорит, я готова. Ты как считаешь?

— Не знаю.

— Ты, кажется, не особенно в восторге?

— Мне тоже нужно тебе кое-что сказать. Потом. Ты продолжай.

— Все, мой милый. Если ты по-прежнему думаешь поехать на месяц в Германию, как ты говорил, Донилов берется устроить мне дебют в Берлине, но я, пожалуй, предпочла бы начать здесь и танцевать с Полем Макова. Представь себе... — Она не договорила, вдруг ощутив сквозь толстую — кожу своего довольства всю его отрешенность. — Теперь расскажи, что там у тебя.

— Я был сегодня у доктора Кирнса.

— И что он сказал? — Душа ее еще пела. Что Билл мнителен, ей было давно известно.

— Я ему рассказал про сегодняшнее кровотечение, и он опять повторил то же, что в прошлом году: что это у меня, вернее всего, лопнул какой-то сосудик в горле. Но раз я кашляю и волнуюсь, лучше на всякий случай сделать просвечивание и удостовериться. И мы удостоверились. Левого легкого у меня, в сущности, уже нет.

— Билл!

— Зато на правом, к счастью, ни одного затемнения.

Она слушала, вся похолодев.

— Сейчас мне это очень некстати, — продолжал он ровным голосом, — но ничего не подделаешь. Он говорит, что надо поехать на зиму в Адирондакские горы или в Денвер, в Денвер, он считает, лучше. И тогда через каких-нибудь полгода это должно пройти.

— Ну, конечно, мы обязательно... — Она осеклась.

— Тебе, по-моему, незачем ехать — тем более, у тебя открываются такие возможности.

— Глупости, конечно, я поеду, — поспешно возразила она. — Твое здоровье важнее. Мы ведь всюду ездим вместе.

— Право же, не стоит.

— Чепуха. — Она постаралась, чтобы ее голос звучал твердо и решительно. — Мы всегда были вместе. Разве я смогла бы здесь жить без тебя? Когда тебе ведено ехать?

— Чем раньше, тем лучше. Я зашел к Бранкузи, хотел выяснить, не перекупит ли он ричмондскую постановку. Но он не выразил особого восторга. — Билл стиснул зубы. —

Правда, ничего другого у меня сейчас пока не будет, но нам хватит, мне еще следует и за...

— Как стыдно, что от меня тебе нет никакой помощи! — перебила его Эмми. — Ты работаешь, как вол, а я все это время на одни уроки тратила по двести долларов в неделю. Еще смогу ли я когда-нибудь зарабатывать такие деньги, неизвестно.

— Конечно, через полгода я буду опять совершенно здоров — так он говорит.

— Разумеется, милый! Мы поставим тебя на ноги. Надо все устроить и немедленно ехать.

Она обняла его за плечи и поцеловала.

— Вот я какая дрянная. Должна была видеть, что моему любимому худо.

Он по привычке полез за сигаретой, но не донес руки до кармана.

— Забыл — придется бросать курить.

И вдруг сумел подняться над собою:

— Нет, детка, я решил, поеду один. Ты там с ума сойдешь от скуки, а я только буду терзаться, что из-за меня ты лишилась своих танцев.

— Об этом не думай. Главное — тебя вылечить.

Так они спорили целую неделю, и при этом оба говорили все, кроме правды: что ему очень хочется, чтобы она с ним поехала, а она всей душой жаждет остаться в Нью-Йорке. Она успела разведать, что думает ее учитель Донилов, и, как выяснилось, он считал промедление для нее пагубным. Другие ученицы балетной школы строили планы на зимний сезон, и она готова была умереть, до того ей не хотелось уезжать, и полностью скрыть от Билла свои терзания ей не удавалось. У них возникла было мысль ехать все-таки в Адирондакские горы и чтобы Эмми прилетала туда аэропланом на субботу и воскресенье, но Билл тем временем начал температурить, и врач решительно предписал ему Запад.

Конец всем спорам в один ненастный воскресный вечер положил он сам — в нем взяло верх то чувство простой человеческой справедливости, которое в свое время покорило Эмми, которое теперь, в беде, делало из него фигуру почти трагическую, как делало его в общем-то славным малым в дни успеха, несмотря на все его несносное фанфаронство.

— Это дело — мое, и только мое, детка. Я сам виноват, что довел себя до этого, характера не хватило — характер в нашей семье весь у тебя, — и теперь никто меня не спасет, если я не спасу себя сам. А ты три года трудилась, перед тобой открылись возможности, которые ты честно заслужила, если ты теперь уедешь, ты мне до конца жизни не простишь, — он усмехнулся. — А этого я не вынесу. И потом там плохо для маленького.

И она сдалась, уступила, с болью — и с облегчением. Потому что мир ее работы, в котором она существовала без Билла, оказался для нее теперь гораздо важнее, чем малый мир, где они были вместе. В нем простор для радости был шире, чем простор для сожаления в мире прежнем.

А через два дня он уже уезжал, поезд отходил в пять часов, билет лежал в кармане, и они в последний раз сидели вдвоем и говорили о будущем. Она опять настаивала на том, чтобы ехать вместе, и была искренна; прояви он хоть минутную слабость, и она бы за ним последовала. Но с ним под влиянием несчастья произошла перемена, он выказал твердость, какой за ним много лет не водилось. Быть может, разлука действительно пойдет ему на пользу.

— До весны! — говорили они друг другу.

На вокзале, при маленьком Билли, Билл большой сказал:

— Терпеть не могу этих кладбищенских расставаний. Попрощаемся здесь. Мне еще до отправления надо позвонить из поезда.

За шесть лет они и двух ночей кряду не провели врозь, не считая того времени, что Эмми была в больнице; не считая эпизода в Англии, они всегда пользовались славой самой нежной и преданной пары, хотя Эмми с первых дней чувствовала что-то ненадежное и угрожающее в такой рекламе. И когда Билл один прошел на перрон, Эмми была рада, что ему нужно позвонить, что он там сейчас сидит и ведет деловой разговор.

Она была хорошая женщина; она вышла за человека, которого любила всем сердцем. И

на Тридцать третьей улице ей теперь показалось, будто вокруг нее пустыня; квартира, за которую он платил, тоже без него опустеет; а вот она, Эмми, осталась здесь, и ей будет хорошо.

Она прошла несколько кварталов и остановилась. Что я делаю, говорила она себе. Ведь это ужасно. Предаю его, как самая последняя дрянь. Оставила его в несчастье, а сама что же, поеду обедать с Дониловым и Полем Макова, который мне нравится, потому что он красивый и у него глаза и волосы одного цвета? А Билл там в поезде один-одинешенек.

И она вдруг рывком повернула маленького Билли назад. Ей так ясно представилось, как Билл сидит в купе, бледный и усталый и такой одинокий без своей Эмми.

— Я не должна, не могу предать его, — твердила она себе, и жалость волна за волной захлестывала ей сердце. Но только жалость — ведь он-то предал ее, ведь он тогда в Лондоне делал все, что хотел.

— Бедный, бедный Билл!

В нерешительности она стояла посреди тротуара, с последней, беспощадной ясностью понимая, как скоро она все это забудет и найдет себе оправдание. Она нарочно заставляла себя думать про Лондон, и тогда ее совесть успокаивалась. Но разве не дурно вспоминать это, когда Билл там в поезде один? Еще не поздно, еще можно успеть на вокзал, сказать ему, что она едет с ним. Но она все стояла на месте, и жизнь билась в ней, билась за нее. Тротуар был узок, из театра в это время хлынула толпа людей, подхватила ее с маленьким Билли и увлекла.

А Билл в поезде разговаривал по телефону, до самой последней минуты оттягивая возвращение в свое купе, потому что знал почти наверняка, что ее там не будет. Поезд уже тронулся, когда он вернулся, и действительно — в купе было пусто, только чемоданы в сетке и какие-то журналы на диванах.

И тогда он понял, что она для него потеряна. Он не обманывался — этот Поль Макова, и месяцы работы бок о бок, и одиночество — нет, то, что было, никогда не вернется. Он все думал и думал об этом, просматривая журналы, и постепенно ему стало представляться, что Эмми словно бы нет в живых.

«Она была замечательная женщина, — думал он о ней. — Редкостная. С характером».

Он прекрасно сознавал, что во всем виноват сам и что здесь сработал некий закон равновесия. Сознавал и то, что теперь, уехав, он снова уравнился с нею, стал не хуже ее; теперь наконец они квиты.

Несмотря на все, даже на свое горе, он испытывал облегчение оттого, что отдался во власть посторонних, высших сил; а от слабости и неуверенности этих свойств, которые всегда были ему противны, — не так уж страшно казалось, даже если там, на Западе, его ждет смерть. В конце, он знал, Эмми все равно приедет, чем бы она ни была занята и какой бы выгодный ангажемент ни получила.

САМА ПО СЕБЕ

Когда он прошел по палубе в третий раз, Эвелина посмотрела на него. Она стояла, прислонясь к фальшборту, а потом, слышав его шаги, откровенно повернулась и упорно глядела ему в глаза, пока он их не опустил: так порой делают женщины, чувствуя себя под защитой других мужчин. Барлотто, игравший в пинг-понг с Эдди О'Салливаном, заметил это.

— Ага! — сказал он, оторвавшись от игры, когда незнакомец еще не покинул пределов слышимости. — Значит, тебя интересуют не только немецкие принцы?

— Откуда ты знаешь, что он не принц? — спросила Эвелина.

— Знаю, потому что принц — тот белоглазый, с лошадиным лицом. А этот... — он извлек из кармана список пассажиров, — либо мистер Джордж Айвз, либо мистер Джубал Эрли Роббинс с камердинером, либо мистер Джозеф Уиддл с миссис Уиддл и шестью

детьми.

Они плыли на небольшом немецком судне, пять дней тому назад отправившемся на запад из Шербура. Стоял февраль месяц, и море было грязно-серое, подернутое дождевой рябью. Над всеми открытыми участками прогулочной палубы натянули парусину, и даже стол для пинг-понга блестел от влаги.

Тик-пок, тик-пок. Барлотто внешне смахивал на Валентино¹⁴ с тех пор как он позволил себе дерзость во время румбы, она не любила выходить с ним на сцену. Но Эдди О'Салливан оставался одним из ее ближайших друзей в труппе. Подсознательно она ожидала, что незнакомец сделает по палубе еще один круг, но он больше не появился. Отвернувшись, она снова стала глядеть на море сквозь оконные стекла; вдруг горло у нее сжалось, и она прикинула теснее к деревянному поручню, чтобы унять дрожь в плечах. В ушах у нее звенело: мой отец мертв... когда я была маленькой, мы гуляли по городу воскресным утром, я в накрахмаленном платьице, и он покупал себе сигару и вашингтонскую газету и так гордился своей хорошенькой девочкой! Он всегда очень гордился мной... приезжал в Нью-Йорк посмотреть на меня, когда я открывала сезон с братьями Маркс¹⁵, и всем в гостинице рассказывал, что он мой отец, даже мальчикам-лифтерам. И пускай, ведь это доставляло ему столько удовольствия: наверное, он с юношеских лет ничему так не радовался. Ему бы понравилось, знай он, что я поехала к нему из такого далека, из самого Лондона.

— Партия, — сказал Эдди.

Она обернулась.

— Пойдем-ка разбудим Барни и сыграем в бридж, что ли, — предложил Барлотто.

Эвелина двинулась первой, время от времени совершая пируэты на мокрой палубе, потом, подхлестнутая порывом сырого ветра, запела «Дорогу в Буффало». У двери она поскользнулась, нырнула вниз, еле успев схватиться одной рукой за перила трапа и чудом удержавшись на ногах, — и буквально нос к носу столкнулась с давешним одиноким незнакомцем. Ее рот комично раскрылся; она с трудом восстановила равновесие. Потом мужчина сказал: «Прошу прощения» — по выговору в нем безошибочно угадывался южанин. Прежде чем разойтись, они снова встретились взглядами.

На следующий день, в курительной, незнакомец спросил у Эдди О'Салливана:

— Кажется, вы и ваши друзья играли на лондонской сцене в «Хроническом недуге»?

— Да, три дня назад еще играли. До окончания контракта оставалось полмесяца, но мисс Лавджой вызвали в Америку, так что пришлось закрыться.

— И вся труппа теперь на борту? — Любопытство чужака было ненавязчивым, это был просто добродушный интерес с примесью вежливого уважения к романтике театра. Эдди О'Салливану новый собеседник показался приятным.

— Присаживайтесь, пожалуйста. Нет, здесь только Барлотто, наш красавчик, и мисс Лавджой, да еще Чарльз Барни, продюсер, вместе с женой. Мы уехали почти сразу же, а остальные вернутся на «Гомерике».

— Мне очень понравилось ваше представление. Я ездил по свету, две недели назад очутился в Лондоне — так хотелось чего-нибудь американского, и тут как раз вы.

Часом позже Эвелина заглянула в курительную и обнаружила их там.

— Что это вы здесь прячетесь? — требовательно спросила она. — А кто будет смеяться моим штучкам? Эта банда шулеров внизу?

Эдди познакомил ее с мистером Джорджем Айвзом. Эвелина увидела симпатичного, хорошо сложенного человека с волевым, беспокойным лицом. Тонкие морщинки в уголках глаз говорили о стремлении навязать миру свои правила игры. Джордж Айвз, со своей стороны, увидел довольно маленькую темноволосую девушку двадцати шести лет, горящую

¹⁴ Рудольф Валентино (1895–1926) — актер и танцовщик, звезда немого кинематографа.

¹⁵ Братья Маркс — знаменитые американские комики первой половины XX века.

энтузиазмом, который нельзя было назвать иначе как профессиональным. Иначе говоря, он не был любительским — таким, какой можно истратить целиком на кого-то одного или даже на группу людей. Временами он овладевал ею столь безраздельно, преображая каждый оттенок выражения, каждый случайный жест, что казалось, будто у нее вовсе нет собственной индивидуальности. Ее рот был сложен из двух небольших вишеночек — разлучаясь, они порождали обворожительную улыбку, — а темно-карие глаза были огромны. Не такая уж красавица в общепринятом смысле, она за считанные секунды могла убедить окружающих в обратном. В ее прелестной фигурке таились маленькие железные мышцы. Сейчас она была в черном и, пожалуй, немного чересчур нарядном платье — она всегда одевалась шикарно и немного чересчур.

— Я восхищаюсь вами с тех самых пор, как вы бросились на меня вчера днем, — сказал он.

— Надо же было как-то вас заинтриговать. Что еще делать девушке в море — удить рыбу?

Они сели.

— Долго вы пробыли в Англии? — спросил Джордж.

— Около пяти лет — на меня там спрос. — В серьезные минуты в ее голосе проскальзывала тень британского акцента. — Вообще-то я не умею как следует делать что-нибудь одно: немножко пою, немножко танцую, немножко кривляюсь, так что англичане считают меня выгодным приобретением. В Нью-Йорке нужны специалисты.

Было ясно, что она предпочла бы такую же популярность в Нью-Йорке.

В комнату вошли Барни, миссис Барни и Барлотто.

— Ага! — воскликнул Барлотто, когда им представили Джорджа Айвза. — А она не верила, что вы не принц. — Он положил руку на колено своему новому знакомому:

— Мисс Лавджой искала принца с того самого дня, как услышала, что он на борту. Мы сказали ей, что это вы.

Эвелина устала от Барлотто, устала от всех них, кроме Эдди О'Салливана, однако ей хватало такта не показывать этого, когда они работали вместе. Она огляделась. Кроме их компании и двух русских священников за шахматной доской, в курительной никого не было: первым классом ехали всего тридцать пассажиров, хотя в нем вполне могли бы разместиться две сотни. И вновь она задумалась о том, какая Америка ее ждет. Вдруг комната стала угнетать ее — она была слишком велика, слишком пуста, — и Эвелина ощутила настоящую потребность создать вокруг немного отзывчивой суеты и веселья.

— Пойдемте ко мне в салон, — сказала она, вложив в голос весь свой пыл, так что в нем прозвенело свободное, волнующее обещание. — Включим фонограф, позовем судового врача и старшего механика и заставим их играть в покер. Я буду приманкой.

Когда они спускались на нижнюю палубу, она уже знала, что затевает все это ради новичка. Ей хотелось сыграть для него, показать, какую радость она умеет дарить людям. Под причитания фонографа — на нем завели песенку «Ты сводишь меня с ума» — она дала волю фантазии. Она была гангстершей, «марухой», а все путешествие служило единственной цели: заманить мистера Айвза в лапы мафии. С наигранной хрипотцой она обращалась то к одному, то к другому; двух немцев из судовой команды тоже вовлекли в происходящее, и они, плохо понимая английский, тем не менее уловили живость и обаяние этого импровизированного спектакля. Она была Энн Пеннингтон, Хелен Морган¹⁶, жеманным официантом, явившимся, чтобы принять заказ, — всеми ими по очереди, и все это в такт непрекращающейся музыки.

Позже Джордж Айвз пригласил всех поужинать с ним сегодня вечером в ресторане наверху. А когда народ разошелся и глаза Эвелины обратились к нему, ища одобрения, он

¹⁶ Хелен Морган, Энн Пеннингтон — американские актрисы и певицы, популярные в 20 — 30-х годах прошлого века.

спросил, не хочет ли она прогуляться с ним перед ужином.

На палубе было еще сыро, и парусина по-прежнему защищала их от надоедливой мороси. Тускло мерцали желтые лампочки, на пустых шезлонгах валялись брошенные одеяла.

— Здорово у вас получается, — похвалил он. — Вы похожи на... на Микки-Мауса.

Она схватила его за руку и повисла на ней, скорчившись от смеха.

— Мне нравится быть Микки-Маусом. Послушайте — именно здесь я стояла и смотрела на вас, когда вы проходили мимо. Почему вы не сделали четвертый круг?

— Вы меня смутили, и я поднялся на шлюпочную палубу.

Когда они добрались до носовой части, вдруг разом распахнулось множество дверей и люди ринулись из них к бортам. — Наверное, им дали что-нибудь не то на ужин, — сказала Эвелина. — Нет... глядите!

Это была «Европа» — плавучий остров света. Она становилась больше с каждой минутой, на глазах превращаясь в заманчивую волшебную страну: на палубе огромного корабля играла музыка, лучи прожекторов скользили по его собственным бокам. В бинокль можно было различить фигурки, выстроившиеся вдоль поручней, и Эвелина мигом сочинила забавную историю о человеке, который сам гладит себе в каюте брюки. Зачарованные, они смотрели, как стремительно движется вперед быстроходный лайнер.

— Ой, папочка, купи! — воскликнула Эвелина, и тут что-то у нее внутри оборвалось: великолепное зрелище и реакция на недавнее возбуждение наложились друг на друга, у девушки перехватило дух, и ей снова живо вспомнился отец. Без единого слова она ушла вниз.

Два дня спустя они с Джорджем Айвзом стояли на палубе, а мимо плыли гигантские, неуклюжие сооружения Кони-Айленда.

— Что тебе сейчас сказал Барлотто? — спросила она.

Джордж рассмеялся:

— Он повторил то, что я уже слышал сегодня от Барни, только с большей настойчивостью.

Она испустила стон.

— Он сказал, что ты всем морочишь голову... и что с моей стороны будет очень глупо считать этот легкий флирт на корабле чем-то серьезным: все они по очереди были в тебя влюблены, и из этого ни разу ничего не вышло.

— Он не был в меня влюблен, — возразила она. — Просто позволил себе лишнее, когда мы танцевали вместе, и я его осадила.

— Барни тоже немножко волновался: сказал, что ты ему как дочь.

— Они мне надоели, — выпалила она. — Теперь им кажется, что они меня любят, только потому, что...

— Потому что видят, как влюблен я.

— Потому что я, по их мнению, заинтересовалась тобой. Два дня назад никто из них и не думал беспокоиться. Пока я их смешу, все в порядке, но стоит мне захотеть чего-нибудь своего, как они тут же начинают волноваться и проявлять заботу. Наверное, Эдди О'Салливан будет следующим.

— Зря я поделился с ними нашим открытием, сказал, что наши дома в Мэриленде разделяет всего несколько миль.

— Да нет, просто я единственная девушка с приличной внешностью в восьмидневном рейсе, яблоко раздора в мужской компании. В Нью-Йорке никто из них обо мне и не вспомнит.

Они были еще вместе, когда на них в ранних сумерках надвинулся город — высокая белая гряда южного Нью-Йорка, сбегаящая вниз, точно пролет гигантского моста, и снова взмывающая к вершинам в центре, увенчанная диадемами пенистого света под россыпью звезд. — Не пойму, что со мной такое, — всхлипнула Эвелина. — Последнее время я все плачу и плачу. Как будто трагическую роль репетирую.

На палубе заиграл немецкий оркестрик, но под сенью величественного города марш показался каким-то жалким брэнчанием; через несколько минут музыка смолкла.

— О боже! Это так прекрасно... — ее голос сорвался на шепот.

Если бы он не ехал с ней на юг, их роман, наверное, закончился бы часом позже, на таможне. И на следующий день, когда они направлялись в Вашингтон, ее новый друг временно отступил на задний план, а на передний выдвинулся отец. Джордж Айвз был просто милый американец, привлекательный для нее физически: с таким приятно немного понежничать в темноте за спасательной шлюпкой, но и только. У железной решетки на Вашингтонском вокзале, где их пути расходились, она поцеловала его на прощание и совсем не вспоминала о нем, пока ее поезд тащился к глинистым, поросшим низкими перелесками равнинам южного Мэриленда. Прикрывшись ладонями, Эвелина провожала взглядом погруженные во тьму редкие поселки и разбросанные там и сям огоньки одиноких ферм. На маленьком полустанке Роктауна ее встретил брат с соседским «фордом»: вся обивка в машине облезла, так что Эвелине стало неловко за свои добротные чемоданы. Она увидела знакомую звезду, из полумрака донесся смех негра, вместе с прохладным ветерком к ней прилетел слабый узнаваемый запах — она была дома. Утром, во время заупокойной службы на Роктаунском кладбище, Эвелине мешало ощущение, что она на сцене, что на нее смотрят, и это приглушило ее печаль; потом все кончилось, и сельский врач обрел свое место среди десятков Лавджоев, Дорси и Крошоу. Здесь, в окружении многочисленных родственников, его можно было оставить с чистой совестью. Потом, когда они отошли от могилы, Эвелина наткнулась взглядом на Джорджа Айвза; он стоял чуть поодаль, держа в руке шляпу. У ворот он заговорил с ней. — Извини, что пришел незваным. Мне нужно было убедиться, что у тебя все нормально.

— Пожалуйста, заberi меня отсюда поскорее, — сказала она, поддавшись внезапному импульсу. — Я не могу долго это выносить. Хочу сегодня же поехать в Нью-Йорк.

У него вытянулось лицо.

— Так скоро?

— Мне нужно выучить много новых танцев и обновить репертуар. За границей как-то отстаешь от жизни.

Он заехал за ней ближе к вечеру, свежий и чистый, как его маленький автомобиль. Когда они отправлялись, она заметила, что работники на бензоколонке откликаются на его просьбы с готовностью и уважением. Приятно было видеть этого человека на фоне пробуждающейся весенней природы, его изысканная вежливость напоминала о славном прошлом Мэриленда. В нем не было европейской широты, он не старался то и дело напоминать ей о ее привлекательности; порой он словно вовсе забывал о ее существовании и молчал чуть ли не по полчаса.

Они еще раз остановились у кладбища: она взяла с собой охапку цветов, чтобы в знак последнего прощания положить их на отцовскую могилу. Он ждал ее в машине, около ворот.

Цветы рассыпались по рыхлой, не успевшей осесть земле. Теперь ее больше ничто здесь не удерживало, и она не знала, вернется ли сюда еще когда-нибудь. Она опустилась на колени. Все эти мертвецы вокруг — она знала их всех, знала их побитые непогодой лица с твердым взглядом ярких синих глаз, их крепкие худощавые тела, их души, сотворенные из новой глины под сенью леса в долгой густой тьме семнадцатого столетия. Минута за минутой чары росли, и вот уже стало трудно вырваться обратно в тот мир, где она ужинала с королями и принцами, где ее имя, выведенное аршинными буквами, бросало вызов таинству ночи. Ей вспомнились строчки Уильяма Макфи¹⁷.

О друг мой преданный, ты голову сложил, Покуда я впустую море бороздил.

Потом слова ушли — и она внезапно будто надломилась и поникла, горько плача.

Сколько протекло времени, она не знала. Цветы уже стали невидимыми, когда ее

¹⁷ Уильям Макфи (1881–1966) — известный американский писатель.

окликнули сзади по имени; тогда она поднялась и вытерла слезы.

— Иду! — и после: — Ну что же, прощай, отец... все отцы.

Джордж усадил ее в машину и накинул ей на плечи теплый плащ. Потом сделал большой глоток из фляги с местным ржаным виски.

— Поцелуй меня, и поедem, — вдруг сказал он.

Она почти коснулась губами его щеки.

— Нет, по-настоящему. Поцелуй.

— Не сейчас.

— Я тебе не нравлюсь?

— Мне сейчас не хочется, и лицо у меня грязное.

— Какая разница.

Его настойчивость вызвала у нее досаду.

— Поехали, — сказала она.

Он завел мотор.

— Спой мне что-нибудь.

— Потом, сейчас мне не хочется.

Через полчаса быстрой езды он остановил машину под большими развесистыми деревьями.

— Пора еще выпить. А ты не будешь? Холодает.

— Ты ведь знаешь, что я не пью. Пей сам.

— Если не возражаешь.

Сделав глоток, он снова повернулся к ней.

— Может быть, теперь ты меня поцелуешь?

Она покорно поцеловала его, но он не был удовлетворен.

— Я просил по-настоящему, — повторил он. — Не так осторожно. Ты же знаешь, как я влюблен, и говоришь, что я тебе нравлюсь.

— Конечно, — нетерпеливо откликнулась она. — Но сейчас неподходящее время. Потом как-нибудь. Ну, поехали!

— Но я думал, я тебе нравлюсь.

— Если будешь так себя вести, разонравишься.

— Значит, и не нравился никогда.

— Ох, не валяй дурака, — вырвалось у нее. — Конечно, ты мне нравишься, но я хочу попасть в Вашингтон.

— У нас уйма времени, — и потом, не дождавшись ответа: — Поцелуй хоть разок, и поедem. Она рассердилась. Будь он не так ей симпатичен, она перевела бы все в шутку. Но в ней не было смеха — только усиливающееся недовольство.

— Видишь ли, — со вздохом сказал он, — мой автомобиль очень упрям. Он не тронется с места, пока ты меня не поцелуешь. — Он хотел взять ее за руку, но она отпрянула.

— Ну вот что, — она почувствовала, как ее щеки и даже лоб теплеют от гнева. — Если ты действительно хотел все испортить, по-моему, это тебе удалось. Я думала, такое бывает только в комиксах. Это так грубо и... — она поискала слово, — так по-американски. Ты бы еще назвал меня «своей девочкой».

— Ох. — Через минуту он завел двигатель, потом машина тронулась. На небе впереди висело красное зарево Вашингтона. — Эвелина, — вскоре сказал он. — Для меня нет ничего более естественного, чем желание поцеловать тебя, и я... — Это было так бесцеремонно, — прервала его она. — Выпить полпинты виски, а потом заявить, что ты никуда не поедешь, пока я тебя не поцелую. Я не привыкла к таким вещам. Мужчины всегда обращались со мной исключительно деликатно. Некоторых вызывали на дуэль только за то, что они посмотрели на меня в казино, — и вдруг ты выкидываешь такое, а ведь ты мне по-настоящему нравился. Надо же было... — и она вновь с горечью повторила: — Это так по-американски.

— Что ж, я не чувствую за собой вины, но мне жаль, что я тебя огорчил.

— Неужели ты не понимаешь? — возмутилась она. — Если бы мне захотелось

целоваться, я бы дала тебе знать.

— Мне очень жаль, — повторил он.

Они поужинали в привокзальном буфете. Он расстался с ней у двери вагона.

— До свидания, — сказала она, но уже с прохладой. — Спасибо за интересную поездку. И загляни ко мне, когда будешь в Нью-Йорке.

— Ну и глупо, — отозвался он. — Ты даже не хочешь поцеловать меня на прощанье.

Ей совсем этого не хотелось, и она помедлила, но потом все же чуть наклонилась к нему со ступеньки. Но в этот раз он отпрянул сам.

— Ничего, — сказал он. — Я понимаю, каково тебе сейчас. Увидимся, когда приеду в Нью-Йорк.

Он снял шляпу, вежливо поклонился и зашагал прочь. Чувствуя себя очень одинокой и потерянной, Эвелина вошла в вагон. Вот они, корабельные знакомства, подумала она. И все-таки ощущение одиночества почему-то не проходило. Она поднялась по лестнице среди стали, стекла и бетона, прошагала под высоким гулким куполом и вышла в Нью-Йорк. Она стала его частью, еще не успев добраться до своей гостиницы. Увидев ожидающих ее письма и цветы в номере, она поняла, как сильно ей хочется жить и работать здесь, в могучем потоке радостного волнения, не отпускающего душу с рассвета и до заката.

Через два дня все вошло в привычную колею: по утрам несколько часов разминки, чтобы вернуть гибкость отвыкшим от нагрузки мышцам, час на разучивание модных танцев с чечеточником Джо Крузо, а потом путешествие по городу и знакомство со всеми новинками эстрады, появившимися за время ее отсутствия.

Думала она и о своих перспективах, об очередном ангажементе. На заднем плане маячила возможность отправиться в Лондон в качестве участницы гершвиновского шоу, которое затем собирались привезти обратно. Но Англия ей наскучила. Ее привлекал Нью-Йорк, и она хотела найти что-нибудь здесь. Это оказалось трудно: в Америке у нее было меньше поклонников, да и вся индустрия развлечений переживала не лучшие времена. Наконец ее агент раздобыл несколько предложений на роли в спектаклях, которые должны были ставиться этой осенью. Тем временем она успела слегка залезть в долги; слава богу, что почти всегда находились мужчины, желающие пригласить ее на ужин и в театр.

Март промчался незаметно. Эвелина обновила свой танцевальный репертуар и выступила в нескольких бенефисах; сезон шел на убыль. Как обычно, она торговалась с молодыми импресарио, которые хотели «соорудить с ней что-нибудь», но которым почему-то всегда не хватало либо денег, либо театра, либо сценария. За неделю до того, как нужно было принять решение относительно поездки в Англию, она получила известие от Джорджа Айвза.

Это известие имело вид телеграммы, возвещающей о его прибытии; когда она упомянула об этом в присутствии своего адвоката, тот присвистнул.

— Женщина, неужто на твой крючок попался сам Джордж Айвз? Тогда тебе больше не нужна работа. Многие девицы стерли свои каблучки до самой подошвы, бегая за ним по пятам.

— И чем же он так хорош?

— Богат, как Крез — самый преуспевающий молодой юрист на Юге, и сейчас его выдвинули на выборах в губернаторы штата. А в свободное время он один из лучших игроков в поло во всей Америке.

Теперь присвистнула Эвелина.

— Ну и ну, — сказала она.

Новость потрясла ее. Вдруг ее чувства по отношению к нему изменились: все его поступки неожиданно показались исполненными смысла. На Эвелину произвело впечатление то, что он, визнав все возможное о ее положении в обществе, ничего не сказал ей о своем. Только сейчас она вспомнила, что в порту он перемолвился словечком с какими-то репортерами.

Он приехал в погожий, по-весеннему трогательный день, учтивый и энергичный. У нее

была назначена встреча за ланчем, но потом он забрал ее из «Рица» и привез в Центральный парк. Когда она увидела в новом свете его славные глаза и маленькие складки в уголках рта, говорящие о том, как требователен он к самому себе, ее душа рванулась к нему — она сказала, что жалеет о своем поведении в тот вечер.

— Я не возражала против того, что ты делал, только против способа, — сказала она. — Все забыто. Давай будем счастливы.

— Все произошло слишком внезапно, — сказал он. — Я совсем растерялся, когда поднял глаза там, на борту, и увидел девушку, которую искал всю жизнь.

— Разве ты не обрадовался?

— Я думал, то, что так похоже на случайно найденный цветок, не заслуживает уважения. Но все наоборот: тем больше было причин обращаться с тобой бережно.

— Очень мило, — засмеялась она. — Если будешь продолжать в том же духе, я начну бояться, что меня выбросят под колеса трамвая.

Ах, как он ей нравился! Они поужинали вместе, пошли в театр, а в такси, по дороге обратно в гостиницу, она посмотрела на него в ожидании.

— Подумаешь о том, чтобы выйти за меня замуж?

— Ладно, подумаю.

— Разумеется, если ты за меня выйдешь, мы будем жить в Нью-Йорке.

— Назови меня Микки-Маусом, — вдруг сказала она.

— Зачем?

— Не знаю... Ужасно было смешно, когда ты назвал меня Микки-Маусом.

Такси остановилось у дверей гостиницы.

— Ты не зайдешь? — спросила она. — Поболтали бы еще.

Ее груди было тесно в лифе.

— Моя мать приехала со мной в Нью-Йорк. Я обещал прийти, чтобы она не скучала.

— А.

— Поужинаешь со мной завтра?

— Конечно.

Она поспешила наверх, к себе в номер, и включила фонограф. «О господи, он собирается меня уважать, — подумала она. — Он ничего обо мне не знает, ничего не знает о женщинах. Он хочет сделать из меня богиню, а я хочу быть Микки-Маусом». Она подошла к зеркалу и стала перед ним, чуть раскачиваясь из стороны в сторону: Сегодня наши именины, Споем под звуки мандолины.

Утром, у своего агента, она столкнулась с Эдди О'Салливаном.

— Ты еще не замужем? — поинтересовался он. — Или вообще его больше не видела?

— Я не знаю, что делать, Эдди. По-моему, я в него влюблена, но у нас все как-то не в лад.

— Так прибери его к рукам.

— Именно этого я и не хочу. Хочу, чтобы меня саму прибрали к рукам.

— Что ж, тебе уже двадцать шесть, и ты его любишь. Почему бы не выйти замуж? Да и сезон плохой.

— Он американец до мозга костей, — пожаловалась она.

— Ты так долго жила за границей, что теперь сама не знаешь, чего хочешь.

— Вот пусть мужчина мне и объяснит.

Она догадывалась, что ей предстоят смотрины; в мятежном настроении, вызванном этим предчувствием, она договорилась пойти в полночь на чаплинский фильм с двумя другими знакомыми: «...потому что я напугала его в Мэриленде, и он только вежливо распрощается со мной у дверей». Вытащив из гардероба все свои платья, она решительно выбрала самое вызывающее, от «Вьонне»; в семь часов, когда Джордж зашел за ней, она пригласила его в номер и показала свой наряд, втайне надеясь, что он станет возражать.

— Может, ты предпочел бы, чтобы я выглядела как монашка?

— Не надо ничего менять. Я боготворю тебя.

Но она не хотела, чтобы ее боготворили.

На улице еще не стемнело, и ей было приятно сидеть рядом с ним в машине. В свежем, молодом шелку она чувствовала себя свежей и молодой — она с радостью ехала бы с ним вечно, если бы только знала, что впереди их что-то ждет.

...Апартаменты «Плазы» сомкнулись вокруг них; в гостиной горели люстры.

— В Мэриленде мы и вправду почти соседи, — сказала миссис Айвз. — В округе Сент-Чарльз хорошо знают вашу фамилию — там есть прекрасный старый дом, который называется Лавджой-Холл. Вы не думали купить его и отремонтировать?

— Наш род обеднел, — смело ответила Эвелина. — Я их единственная надежда, но актрисы не умеют копить деньги.

Когда явился другой гость, Эвелина вздрогнула. Из всех теней прошлого... ну надо же, полковник Кэри! Ей захотелось или засмеяться, или спрятаться. На мгновение у нее даже мелькнула мысль, уж не подстроено ли все это, — но по его удивлению она поняла, что никакого плана быть не могло.

— Рад видеть вас снова, — просто сказал он. Когда они сели за стол, миссис Айвз заметила:

— Мисс Лавджой из наших краев в Мэриленде.

— Понятно, — полковник Кэри взглянул на Эвелину и неуклюже попытался ей подмигнуть. От досады она залилась румянцем. Очевидно, он не знал ничего об ее успехе на сцене, помнил только эпизод шестилетней давности. Когда подали шампанское, она позволила слуге наполнить ее бокал, чтобы полковник не решил, будто она изображает неискренность.

— Я думал, ты вовсе не берешь в рот спиртного, — обронил Джордж.

— Так и есть. Кажется, это мой третий бокал за всю жизнь.

Похоже, вино прояснило ситуацию; благодаря ему она осознала необходимость опередить полковника, который мог потом все рассказать Айвзам по-своему. Ее бокал наполнили вновь. Чуть позже полковник Кэри помог ей начать, спросив:

— Чем вы занимались все эти годы?

— Играла на сцене, — она повернулась к миссис Айвз: — Мы с полковником познакомились, когда у меня была самая трудная полоса.

— Неужели?

Лицо у полковника покраснело, но Эвелина упрямо продолжала:

— Два месяца я была так называемой девушкой для вечеринок.

— Девушкой для вечеринок? — озадаченно повторила миссис Айвз.

— Есть такое нью-йоркское изобретение, — сказал Джордж.

Эвелина улыбнулась полковнику.

— Это меня забавляло.

— Да, было весело, — подтвердил он.

— Мы с подружкой только что закончили школу и решили пойти в актрисы. Не один месяц обивали пороги разных агентств и контор; бывали дни, когда нам буквально нечего было есть.

— Какой ужас, — откликнулась миссис Айвз.

— Потом кто-то рассказал нам о девушках для вечеринок. Иногда предпринимателям хотелось развлечь клиентов из других городов — пение, танцы, шампанское и все такое, — чтобы те почувствовали себя в Нью-Йорке своими. Тогда они снимали зал в ресторане и приглашали дюжину девушек для вечеринок. Все, что от нас требовалось, — это надеть хорошее вечернее платье и просидеть два часа рядом с каким-нибудь пожилым мужчиной, смеяться его шуткам и, может быть, поцеловать его на сон грядущий. Иногда, садясь за стол, мы находили у себя в салфетке банкноту в пятьдесят долларов. Звучит ужасно, не правда ли, — но в те три кошмарных месяца это было для нас спасением.

В комнате повисла тишина — недолгая, если считать на секунды, но такая гнетущая, что Эвелина ощущала ее тяжесть на своих плечах. Она знала, что источник этой тишины

кроется где-то в глубине души миссис Айвз, что миссис Айвз стыдно за нее и что она считает подобного рода борьбу за выживание не достойной порядочной женщины. В те же секунды она почувствовала, как губы полковника под вежливыми усами искривились в легкой злобещей усмешке, уловила, как напряглись морщинки у глаз Джорджа.

— Наверное, это было невыносимо трудно — начать сценическую карьеру, — прервала молчание миссис Айвз. — Скажите... вы в основном выступали в Англии?

— Да.

Что она такого сказала? Только правду — всю правду, и пусть этот старик ухмыляется сколько угодно. Она допила бокал до дна. Полковник загудел снова, обращаясь к миссис Айвз; воспользовавшись этим, Джордж быстро и тихо проговорил:

— Не много ли будет столько шампанского, если ты к нему не привыкла?

Она вдруг увидела в нем человека, покорного своей властной матери; ее маленькая откровенность шокировала его. Для девушки, которая вынуждена жить сама по себе, все выглядит иначе, и он, по крайней мере, должен был понять, что ей следовало опередить полковника с его возможными сомнительными намеками. Но от очередной порции шампанского она отказалась.

После ужина они с Джорджем сели за фортепиано.

— Наверное, не надо мне было говорить этого за столом, — прошептала она.

— Чепуха! Мама знает, что нынче все по-другому.

— Она была недовольна, — стояла на своем Эвелина. — А этот старикан! Прямо ожившая карикатура Питера Арно¹⁸! Как Эвелина ни старалась, она не могла избавиться от впечатления, что к ней относятся чуть пренебрежительно. До сих пор ей всегда доставались лишь комплименты и восхищение.

— Если бы вам пришлось выбирать еще раз, вы опять выбрали бы сцену? — спросила миссис Айвз.

— Мне нравится моя жизнь, — с ударением сказала Эвелина. — Если бы у меня были дочери и у них обнаружился талант, я посоветовала бы им то же самое. Мне определенно не хотелось бы, чтобы они стали просто светскими девушками.

— Но ведь талант есть не у всех, — возразил полковник.

— Конечно, со сценой связаны самые невероятные предрассудки, — упорствовала Эвелина.

— В наши дни их гораздо меньше, — сказала миссис Айвз. — Столько милых девушек идут в актрисы.

— Девушек с положением, — добавил полковник.

— Обычно они долго не продерживаются, — сказала Эвелина. — Стоит мне услышать об очередной дебютантке, которая думает ослепить мир, как я уже знаю: скоро на Бродвее опять будет провал. Но больше всего меня раздражает человеческая снисходительность. Помню одно гастрольное турне... все эти местечковые политические лидеры приглашают тебя на вечеринки, а потом шепчутся и хихикают по углам. Хихикать над Глэдис Ноулс! — голос Эвелины зазвенел от негодования: — Когда Глэдис приезжает в Европу, она обедает с самыми знаменитыми людьми во всех странах, с людьми, которые даже не подозревают о существовании этих жалких провинциалов...

— Она обедает и с их женами? — спросил полковник Кэри.

— Да, и с женами, — она остро взглянула на миссис Айвз. — Позвольте сказать вам, что девушки со сцены отнюдь не считают себя второсортными, и настоящие аристократы никогда не проявляют снисходительности по отношению к ним. Вновь наступила тишина, еще более тяжкая и глубокая, но на сей раз Эвелина, взволнованная собственными словами, этого не заметила.

¹⁸ Питер Арно (1904–1968) — американский карикатурист, долгие годы сотрудничавший с журналом «Нью-Йоркер».

— Так уж устроены американки, — сказала она. — Чем меньше у них своих достоинств, тем охотнее они критикуют тех, у кого они есть.

Она вздохнула полной грудью; ей было душно.

— Боюсь, мне пора идти, — сказала она.

— Я провожу, — сказал Джордж.

Все были на ногах. Последовали прощальные рукопожатия. Ей понравилась мать Джорджа: в конце концов, она не пыталась проявлять снисходительность.

— Было очень приятно, — сказала миссис Айвз.

— Надеюсь, мы скоро встретимся. Доброй ночи.

Сев с Джорджем в такси, она назвала шоферу адрес кинотеатра на Бродвее.

— У меня там встреча, — призналась она.

— Понятно.

— Ничего важного. — Она глянула на Джорджа и коснулась его руки. Почему он не попросит отменить эту встречу? Но он сказал только:

— Лучше поехать по Сорок пятой.

Что ж, может быть, ей и правда стоит вернуться в Англию... и быть Микки-Маусом. Он ничего не знал о женщинах, ничего не знал о любви, а для нее это было непростительным грехом. Но почему вдруг черты его застывшего лица в свете вечерних фонарей так напомнили ей отцовские?

— А ты не хочешь в кино? — предложила она.

— Я немного устал... пойду домой.

— Позвонишь завтра?

— Обязательно.

Она помедлила. Что-то было неладно, и она боялась расставаться с ним. Он помог ей выйти из такси и расплатился с шофером.

— Пойдем с нами, — сказала она почти с тревогой. — Послушай, если хочешь...

— Я хочу прогуляться!

Она заметила приятелей, которые ждали ее у здания, и помахала им.

— Джордж, что-нибудь не так? — спросила она.

— Все в порядке.

Он никогда еще не казался ей таким притягательным, таким желанным. Когда подошли ее друзья, двое актеров — рядом с ним они выглядели простоватыми, чуть ли не подозрительными, — он снял шляпу и сказал:

— Доброй ночи, надеюсь, картина вам понравится.

— Джордж...

...И тут случилось странное. Только сейчас она впервые осознала, что ее отец умер, что она осталась одна. Она считала, что может сама себя обеспечить: ведь за иной сезон она зарабатывала столько, сколько его практика не приносила и за пять лет. Но он всегда как-то незаметно ее поддерживал, его любовь всегда помогала ей... она никогда не чувствовала себя перекасти-полем, у нее всегда был родной уголок.

И вот она осталась одна — одна в этой толкотне, среди равнодушной толпы. Что же, она думала полюбить этого человека, который обещал ей так много, с наивным романтизмом восемнадцатилетней? Он любил ее — любил сильнее, чем кто бы то ни было в этом мире. Она знала, что ей никогда не стать великой актрисой, и понимала, что в ее возрасте девушке пора позаботиться о себе.

— Послушайте, — сказала она. — Мне надо идти. Подождите меня... или нет, не надо.

Подобрав полы своего длинного платья, она пустилась по Бродвею за ним вдогонку. Из всех театров валом валили зрители, и проспект был запружен народом. Она надеялась заметить цилиндр Джорджа, но теперь вокруг было много цилиндров. На бегу она отчаянно озиралась, заглядывала в чужие лица. Ей крикнули вслед что-то оскорбительное, и она содрогнулась, вновь почувствовав свою незащищенность. На перекрестке она со страхом посмотрела вперед: весь следующий квартал кишел людьми. Но Джордж, наверное, покинул

Бродвей, и она метнулась налево, по полутемной Сорок восьмой улице. И тут она увидела его — он шагал быстро, как человек, который хочет что-то забыть, — и нагнала на Шестой авеню.

— Джордж! — окликнула она.

Он обернулся; его лицо было жестким и несчастным.

— Я не хотела идти на этот фильм, Джордж, я хотела, чтобы ты попросил меня не ходить. Почему ты меня не попросил?

— Мне было все равно, пойдете вы или нет.

— Что ты говоришь! — вскричала она. — Значит, тебе на меня наплевать?

— Хотите, я поймаю вам такси?

— Нет, я хочу быть с тобой.

— Я иду спать.

— Тогда я тебя провожу. Что стряслось, Джордж? В чем я виновата?

Они пересекли Шестую авеню, и улица стала темнее.

— Что случилось, Джордж? Пожалуйста, скажи. Если я сделала что-то не то у твоей матери, почему ты меня не остановил?

Он вдруг оборвал шаг.

— Вы были нашей гостьей, — сказал он.

— Что я сделала?

— Нет смысла это обсуждать, — он махнул проезжающему такси: — Совершенно очевидно, что мы смотрим на вещи по-разному. Я собирался написать вам завтра, но если уж вы меня спросили, можно покончить с этим и сегодня. — Но почему, Джордж? — взмолилась она. — Что я такого сделала?

— Вы приложили все усилия к тому, чтобы самым нелепым образом обидеть пожилую женщину, которая отнеслась к вам со всем возможным тактом и любезностью.

— Ах, Джордж, я этого не делала! Я пойду к ней и извинюсь. Сегодня же пойду.

— Она не поймет. Просто мы по-другому смотрим на вещи.

— О-о... — она замерла, пораженная.

Он хотел было сказать что-то еще, но, глянув на нее, открыл дверцу такси:

— Здесь всего два квартала. Простите, что не еду с вами.

Она отвернулась и прислонилась к железным перилам какой-то лестницы.

— Сейчас, — сказала она. — Не ждите.

Она не играла. Ей и впрямь хотелось умереть. «Это слезы по отцу, — сказала она себе, — не по нему, а по отцу».

Ей было слышно, как он зашагал прочь, остановился, помешкал... вернулся.

— Эвелина.

Его голос прозвучал сзади, совсем рядом.

— Ах ты, бедная девочка, — промолвил он. Затем ласково развернул ее за плечи, и она приникла к нему. — Да, да, — воскликнула она с гигантским облегчением. — Бедная девочка... Твоя бедная девочка.

Она не знала, любовь это или нет, но всем своим сердцем и душой чувствовала одно: что больше всего на свете ей хочется спрятаться у него в кармане и вечно сидеть там в покое и безопасности.

БУРНЫЙ РЕЙС

1

В океанском порту, под навесом пирса, вы сразу оказываетесь в призрачном мире: уже не Здесь, но еще и не Там. Особенно ночью. Длинную туманно-желтую галерею захлестывает гул многоголосого эха. Грохот грузовиков и шорох шагов, резкое стрекотание корабельной лебедки и первый солоноватый запах океана. Время у вас есть, но вы

торопитесь. Ваша прошлая жизнь — на суше — позади, будущая мерцает огнями иллюминаторов, а нынешняя, в этом коридоре без стен, слишком мимолетна, чтобы с нею считаться.

Вверх по трапу — и ваш новый мир, резко уменьшаясь, обретает реальность. Вы гражданин республики крохотной Андорры. Ваша жизнь почти не зависит от вас. Каюты похожи на одиночные кельи, надменны лица пассажиров и провожающих, невозмутимы помощники корабельного эконома, отрешенно внушителен помощник капитана, неподвижно застывший на верхней палубе. Слишком поздняя догадка, что лучше бы остаться, заунывный рев корабельной сирены, и ваш мир — не просто рейсовый корабль, а воплощенная в жизнь человеческая мысль — вздрогнув, отчаливает навстречу тьме.

Адриан Смит, «знаменитость» рейса — не слишком знаменитый, но все же удостоенный вспышки магния, потому что репортеру назвали это имя, хотя он и не мог припомнить, в связи с чем, — Адриан Смит и его белокурая жена Ева поднялись на прогулочную палубу, миновали углубленного в себя помощника капитана и, отыскав уединенный уголок, остановились у борта.

— Наконец-то! — радостно воскликнул Адриан, и оба весело рассмеялись. Теперь-то уж мы в безопасности. Теперь они до нас не доберутся.

— Кто?

— Эти. — Он неопределенно махнул рукой в сторону сверкающей тиары города. — Они соберутся толпой, принесут списки наших преступлений вместо ордеров на обыск или арест, позвонят у двери на Парк-авеню — подать сюда Смитов, да не тут-то было: Смиты с детьми и няней отбыли во Францию.

— Тебя послушать, так мы и правда преступники.

— Я отнял тебя у них, — сказал он хмурясь. — Вот их и душит ярость: они знают, что у меня нет на тебя прав, — и бесятся. Как же я рад, что мы вырвались отсюда!

— Любимый...

Ей было двадцать шесть — на пять лет меньше, чем ему. Каждый, с кем она знакомилась, пленялся ею навсегда.

— Здесь гораздо уютней, чем на «Маджестике» и «Аквитании», — сказала она, вероломно отрекаясь от кораблей их свадебного путешествия.

— Тесновато, пожалуй.

— А по-моему,нисколько, Зато наш корабль по-настоящему шикарный. И мне очень нравятся эти маленькие киоски в коридорах. А каюты здесь даже просторней.

— Ну и чванливый же вид у всех пассажиров, ты заметила? Будто им кажется, что они попали в сомнительную компанию. И ведь дня через три все станут приятелями.

Мимо них как раз проходили пассажиры — четыре девушки, взявшись под руки, совершали прогулку по палубе. Три взгляда мельком зацепили Смитов; а четвертый, чуть более внимательный, вспыхнул секундным волнением. Это был взгляд единственной из четверых спутницы Смитов — остальные девушки просто провожали ее. Ей было не больше восемнадцати — хрупкая черноволосая красавица, она искрилась тем хрустальным блеском, который у брюнеток заменяет мягкое сияние белокурых женщин.

— Интересно, кто она? — подумал вслух Адриан. — Я ее где-то видел.

— Очень мила, — проговорила Ева.

— Очень, — рассеянно отозвался он, и Ева дала ему несколько минут на воспоминания, а потом, улыбнувшись, попыталась вернуть в их закрытый для других мир.

— Расскажи мне еще, — попросила она.

— О чем?

— О нас — как мы замечательно проживем во Франции и будем еще ближе и счастливей, и так навсегда.

— Разве мыслимо быть ближе? — Он положил ей руку на плечо и привлек к себе.

— Нет, я говорю, чтоб мы больше не ссорились по мелочам. Знаешь, на прошлой неделе, когда ты принес мне этот подарок ко дню рождения, — она обласкала пальцами

нитку мелкого жемчуга на шее, — я дала себе слово, что больше никогда не буду тебя пилить.

— Бог с тобой, родная, ты никогда меня и не пилила.

Он плотнее прижал ее к своему плечу, но она понимала, что их внутреннее уединение распалось, едва родившись. Антенны его чувств уже снова воспринимали сигналы внешнего мира.

— Большинство наших спутников, — сказал он, — пренеприятные с виду людишки: какие-то мелкорослые, темненькие, уродливые. Раньше американцы выглядели совсем не так.

— Да, унылое зрелище, — согласилась Ева. — А вот давай не будем ни с кем знакомиться, только ты да я, ладно?

Меж тем над кораблем уже плыли удары гонга, и стюарды, проталкиваясь по палубам, кричали: «Провожających просят сойти на берег!» — и гомон толпы стал пронзительно резким. Несколько минут на сходнях бурлила суетливая толча, потом они опустели, и люди с Приклеенными к лицам улыбками, стоящие за барьером пирса, принялись выкрикивать неразборчивые напутствия. Портовые матросы уже отдавали швартовы, когда к сходням поспешно протолкался плосколицый, явно не в себе молодой человек, поддерживаемый носильщиком и шофером такси. Корабль равнодушно проглотил опоздавшего словно какого-нибудь захудалого миссионера в Бейрут, — и пассажиры ощутили под ногами едва заметную, но мощную дрожь. Лица провожających начали отодвигаться, какое-то мгновение корабль казался частью внезапно расколовшегося пирса, потом лица стали расплывчатыми, немymi, а громада пирса превратилась в желтоватое пятно на берегу. Теперь уже и весь Город зримо уходил назад.

В северных широтах формировался ураган и, предшествуемый штормовым ветром, начинал смещаться к юго-юго-востоку. Ему предстояло накрыть амстердамский грузовоз «Питер И.Юдим» с шестьюдесятью шестью членами экипажа; сломать стрелу подъемного крана у крупнейшего в мире пассажирского лайнера и обречь на нужду и горе жен нескольких сотен моряков. Корабль, увозивший из Нью-Йорка Смитов, взял курс на восток в воскресенье вечером и должен был встретиться со штормом во вторник, а войти в зону урагана еще через сутки, к ночи.

2

Адриан и Ева переступили порог салон-бара во вторник. Это не входило в их планы: они думали, что, уехав из Америки, «даже не вспомнят о спиртном», — но не вынесли забытого ими чувства острейшего одиночества, которое охватывает человека на корабле и которое можно развеять только в баре. Вот они и заглянули туда — на минутку.

Бар был полон. Некоторые посетители остались здесь после завтрака, некоторые собирались просидеть до обеда, а самые верные пришли к открытию — в девять утра. Это преуспевающее общество развлекало себя картами пасьянс, бридж, — детективами, болтовней, выпивкой и флиртом. На первый взгляд, обычная атмосфера заурядного клуба или казино в любой стране, но раскаленная нетерпеливой и едва сдерживаемой нервической напряженностью, которая охватывает в море всех, от мала до велика. Путешествие началось и поначалу было приятным, однако недостаточно разнообразным, чтобы развлекать пассажиров шесть дней подряд, а поэтому всем уже хотелось поскорее его закончить.

За столиком неподалеку Адриан заметил юную брюнетку, которая задержала на нем взгляд в день отплытия. Он опять был очарован ее изящной привлекательностью — дымная суета многолюдного салона не пригасила в ней хрупкого блеска. Смиты уже прочитали список пассажиров и решили, что эта девушка, вероятней всего, «Мисс Элизабет Д'Амидо с горничной», а проходя мимо теннисной площадки, Адриан слышал, что ее называют Бетси. Среди молодежи за ее столиком сидел и плосколицый молодой человек, которого последним «загрузили» на корабль; в понедельник он уныло слонялся по палубам, но сейчас, видимо,

почти оправился. Мисс Д'Амидо что-то шепнула ему, и он с любопытством посмотрел на Смитов. Адриан слишком недавно стал знаменитостью и смутился.

— А нас покачивает, чувствуешь? — спросила Ева.

— Давай выпьем чего-нибудь легкого, — предложил Адриан. — Хочешь шампанского?

Пока Адриан разговаривал с официантом, молодежь за столиком мисс Д'Амидо о чем-то совещалась; потом один из молодых людей встал и подошел к Смитам.

— Если не ошибаюсь, мистер Адриан Смит?

— Да.

— Мы подумали, может, вы примете участие в нашем теннисном турнире? Мы хотим организовать теннисный турнир.

— Видите ли... — Адриан колебался.

— Моя фамилия Стэкомб, — выпалил молодой человек. — Нам всем нравятся ваши... ну, в общем, ваши пьесы, вот мы и подумали — может, вы пересядете за наш столик?

Адриан рассмеялся — немного, впрочем, принужденно. Стэкомб, развязный и расхлябанный, ждал ответа с таким видом, словно сказал Смитам нечто весьма лестное.

Поэтому Адриан ответил:

— Благодарю вас, но мне кажется, будет удобнее, если вы переберетесь к нам.

— У нас больше столик.

— А у нас... у нас — возраст.

Молодой человек добродушно улыбнулся, как бы говоря: «Пожалуйста, переберемся мы».

— Запишите меня, мистер Стэкомб, — сказал Адриан. — Сколько я должен внести?

— Ставка у нас доллар. А меня называйте Стэк.

— Почему? — с удивлением спросил Адриан.

— А так короче.

Когда он ушел, они глянули друг на друга и широко улыбнулись.

— Господи, — ошарашенно шепнула Ева, — они, кажется, в самом деле решили перебираться.

И действительно. Пятеро молодых людей — трое юношей и две девушки залпом осушали бокалы, с шумом отодвигали стулья и громко призывали официантов, явно собираясь присоединиться к Смитам. Если кто-нибудь и почувствовал неловкость при столь стремительном знакомстве, то только хозяева столика: молодежь, рассаживаясь, разглядывала их открыто и уважительно — слишком уважительно, как бы решая про себя: «Вряд ли это будет особенно занятно... хотя, впрочем, может оказаться полезным — вроде ученья в школе».

Мисс Д'Амидо проворно поменялась местами с одним из молодых людей, под села к Адриану и озарила его восхищенными глазами.

— Я влюбилась в вас с первого взгляда, — сказала она без малейшего смущения, — и за нашу бесцеремонность нужно винить меня одну. Я видела вашу пьесу четыре раза.

Адриан окликнул официанта.

— Скоро начнется шторм, — добавила мисс Д'Амидо, — и вас может свалить морская болезнь до конца рейса, так что у меня не оставалось другого выхода.

Он видел, что в ее словах нет ни скрытого смысла, ни тайных намеков ей это было не нужно. Она сказала именно то, что хотела, и его очень тронула откровенность, с которой она отдавала ему предпочтение перед молодыми людьми. Он ощутил легкую возбужденность — путешествие становилось волнующим.

Ева не разделяла радости Адриана; но с молодым человеком, чья фамилия была Баттеруорт, у нее нашлись общие знакомые, и это скрасило ей пустую никчемность происходящего. Она не любила новых знакомств, если они не сулили «духовного обогащения», так что пестрый калейдоскоп самых разных людей — по уму, состоятельности, общественному положению, — втянутых в орбиту Адриановой жизни, частенько утомлял и даже раздражал ее. Она была обаятельной и многогранно одаренной, а поэтому ни в ком не

нуждалась, считая, что случайные знакомые не имеют права на ее духовную щедрость.

Когда через полчаса настало время провести детей, она даже обрадовалась, что пора уходить. На палубе было прохладно и сыро — плотный туман казался мельчайшей моросью, — и явственно ощущалась качка. Открыв дверь своей каюты, она с недоумением увидела стюарда: он безжизненно сидел на ее постели, уткнувшись головой в подушку. Он тоже увидел ее, но не встал.

— Если вы уже выпалились, то смените мне наволочку, — едко проговорила она.

Стюард не пошевелился. И тут она заметила, что лицо у него землисто-серое.

— А если у вас морская болезнь, — с неумолимой твердостью добавила Ева, — то лежите у себя.

— Бок, не продохнуть, — чуть слышно выговорил стюард. Он сделал усилие встать, хрипло охнул и снова сел. Она вызвала звонком горничную.

Качка — и бортовая и килевая — заметно усилилась; Еве не было жаль стюарда, она просто хотела избавиться от него как можно скорей. Возмутительно! Корабельный стюард не может справиться с морской болезнью. Когда явилась горничная, Ева попыталась выразить ей свое возмущение, но у нее у самой уже гудело в голове — она прилегла на постель и закрыла глаза.

— Это он виноват, — простионала она вслед стюарду, который выходил в коридор, опираясь на плечо горничной. — Я его увидела, и меня стало мутить. Чтоб его черти взяли!

Адриан пришел через несколько минут.

— Меня мутит! — жалобно воскликнула она.

— Бедная моя девочка. — Он наклонился и обнял ее. — Почему ты мне сразу не сказала?

— Наверху-то все было в порядке, а тут стюард... Ох, меня мутит, я не могу разговаривать!

— Наверно, тебе лучше пообедать в каюте.

— Пообедать? О господи!

Он терпеливо ждал, но она хотела слышать его голос, хотела, чтобы он заглушил надрывный скрип переборки.

— Где ты был?

— Помогал записывать участников турнира.

— Разве при такой качке будет турнир? Потому что, если будет, я не смогу как следует играть.

Адриан промолчал; открыв глаза, Ева увидела, что он хмурится.

— Я не знал, что ты собираешься играть в миксте, — сказал он.

— Тут же нет никаких других развлечений.

— Я обещал взять в пару эту девушку, Д'Амидо.

— Вот как?

— Да, не подумал. Ведь с тобой-то мне играть гораздо приятней.

— Почему ж ты меня не записал?

— Просто не пришло в голову.

Она вспомнила, что тогда, на «Маджестике», они вышли в финал и получили приз. Несколько лет назад. Но она знала — Адриан вот так покаянно хмурится, только когда чувствует, что не прав. Переступая по качающемуся полу каюты, он вынимал из кофра смокинг; она закрыла глаза.

Корабль резко завалило набок, и Ева очнулась от зыбучего забытья, Адриан, уже одетый к обеду, повязывал галстук. Он выглядел по-обычному бодрым, и глаза у него весело блестели.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил. — Может, все-таки пообедать?

— Не хочу.

— Может, я могу что-нибудь для тебя сделать перед уходом?

— Куда ты идешь?

— В бар, к этим ребятам. Может, я могу что-нибудь для тебя сделать?

— Не надо.

— Мне страшно не хочется оставлять тебя в таком состоянии.

— Не глупи. Мне просто надо поспать.

Какой озабоченный взгляд. И ведь она понимала, что ему не терпится поскорее удрать из их душной каюты. Она даже обрадовалась, когда хлопнула дверь. Ей хотелось только спать, спать, спать.

Вверх — вниз — вкось. Эй, не так высоко! Лево, лево руля — выправляй! А теперь правой, правой забирай! Ввысь — хрясь! — вниз.

Через несколько часов Ева смутно ощутила, что Адриан склонился над ее постелью. Она хотела, чтобы он обнял ее и вырвал из этого колышущегося небытия, но, открыв глаза, увидела, что его уже нет. Он просто забежал на минуту и сразу ушел. В следующий раз она очнулась ночью — Адриан спал.

Утро было свежее и прохладное, море немного успокоилось, и Ева без содрогания подумала о завтраке. Они поели в каюте, потом, с помощью Адриана, она кое-как привела себя в порядок, и они поднялись на палубу. Теннисный турнир уже начался — на радость нескольким кинолюбителям; но большинство пассажиров, словно забытые в креслах тюки, маялись перед подносами с нетронутой едой.

Партнерша Адриана — они играли первую партию — была изящно ловкой и беспардонно излучала здоровье. Ее матовая кожа как бы светила изнутри даже явственней, чем накануне. В перерыве между сетами к ней подошел старший помощник капитана, а люди, которых она еще вчера не знала, по-приятельски называли ее Бетси. Она была принцессой рейса, отрадой для скучающих взглядов.

Но Еве эта пара не доставляла радости, и она подняла глаза вверх, на неустойчивое — из-за качки — небо и чаек, прижимавшихся к радиомачте. Почти все их попутчики со своими кинокамерами, которые они выволокли, как только начался турнир, а теперь не знали, что, собственно, ими снимать, выглядели глуповато и суетливо, но матросы, красившие шлюпбалки, казались ей спокойными, усталыми и симпатичными — они, вероятно, тоже хотели, чтобы этот рейс побыстрее закончился.

Вскоре к ней подсел Баттеруорт.

— Врач оперирует одного из стюардов. Представляете себе — при такой качке?

— Оперирует? Почему? — спросила она равнодушно.

— Аппендицит. Они были вынуждены начать операцию прямо сейчас, потому что ожидается ухудшение погоды. Из-за этого и маскарад перенесли на сегодняшний вечер.

— Господи, несчастный человек! — воскликнула она, сообразив, что это, вероятно, стюард, который сидел в их каюте.

Адриан демонстрировал обходительность и заботливость к партнерше.

— Простите!.. Вы не ушиблись?... Нет-нет, это я виноват... Советую вам накинуть пальто — так недолго и простудиться...

Матч закончился, и они выиграли. Разгоряченный и доброжелательный, он подошел к Еве.

— Как ты себя чувствуешь?

— Ужасно.

— Победители заказывают выпивку, — проговорил он извиняющимся тоном.

— Я тоже пойду в бар, — сказала Ева, приподымаясь; но приступ головокружения заставил ее снова сесть.

— Ты уж лучше побудь пока тут. Я пришлю тебе чего-нибудь выпить.

Она заметила, что на людях он держится с ней чуть скованней, чем раньше.

— Ты вернешься?

— Конечно, через несколько минут.

Все пассажиры спустились в бар; только по мостику, привычно сохраняя равновесие, расхаживал помощник капитана. Когда ей принесли коктейль, она через силу выпила его и

почувствовала себя немного лучше. Чтобы развлечься, она попыталась вспомнить их жизнерадостные планы — уютная маленькая вилла в Бретани, дети учат французский; больше ей сейчас ничего не припоминалось — уютная маленькая вилла в Бретани, дети учат французский — она повторяла эти слова снова и снова, пока они не стали такими же пустыми и бессмысленными, как бескрайнее белесое небо. Она вдруг забыла, куда и зачем они плывут, их путешествие стало бесцельным, ненужным и случайным, ей страстно хотелось, чтобы Адриан, всегда такой отзывчивый и нежный, поскорее вернулся и успокоил ее. Кажется, они решили уехать на год из Америки в надежде вновь обрести ту небрежную юную уверенность, ту способность жить изящно и легко, которая покидает людей вместе с юностью...

День, сырой и сумрачный, уныло тянулся, палуба была почти безлюдной, шатающееся мокрое небо толчками валилось вниз. А потом вдруг как-то сразу стало пять часов, и они уже опять сидели в баре, и мистер Баттеруорт рассказывал ей свою жизнь. Она выпила много шампанского, но ее все равно мучило от качки, словно ее душа с помощью морской болезни пробивалась сквозь густые пары алкоголя к нормальной жизни.

— Когда я вас увидал, я понял, как выглядели греческие богини, — сказал ей Баттеруорт.

Ей было приятно, что, увидев ее, он понял, как выглядели греческие богини, — но где пропадал Адриан? Он ушел с мисс Д'Амидо на носовую палубу — «окунуться в океанские брызги». Ева услышала, что обещает Баттеруорту достать свои краски и нарисовать на его манишке Эйфелеву башню для сегодняшнего маскарада.

Когда Адриан и Бетси, омоченные океанскими брызгами, с трудом открыли плотно припертую ветром дверь на прогулочную палубу, они оказались в желанном затишье и, одновременно остановившись, повернулись друг к Другу.

— Что ж... — начала мисс Д'Амидо — и умолкла. Но он, не решаясь заговорить, неподвижно стоял спиной к борту и смотрел на нее. Она тоже молчала, потому что не хотела быть первой; несколько мгновений ничего не происходило. Потом она шагнула к нему, и он обнял ее и поцеловал в лоб.

— Вам просто жалко меня, я знаю. — Она всхлипнула. — Вы просто очень добрый.

— Я чувствую себя околдованным. — Его голос прерывался.

— Тогда поцелуйте меня.

На палубе никого не было. Он мимолетно склонился к ней.

— Нет, по-настоящему.

Давно он не прикасался к таким юным, таким невинным губам. Солоноватые брызги, словно слезы о нем, застыли на ее фарфоровых щеках. Она была свежа и непорочна, но в ее глазах таилось неистовство.

— Я люблю вас, — прошептала она, — я ничего не могу с собой поделать, ничего! Я полюбила вас с первого взгляда — не на пароходе, нет, а уже год назад, когда Грейс Хили привела меня в театр на репетицию, а вы вдруг встали из второго ряда и начали им говорить, как нужно играть. Я написала вам письмо, да только не отправила, разорвала.

— Нам надо идти.

Они шли по палубе, и она протяжно всхлипывала, а потом еще раз, уже перед дверью своей каюты, страшно неосмотрительно, подняла к нему лицо для поцелуя. Когда он снова переступил порог бара, кровь тяжкими молотами стучала у него в висках.

Он был рад, что Ева, видимо, не заметила его прихода, а по всей вероятности, даже и не знала, что он уходил. Он немного переждал, а потом сделал вид, что очень заинтересован ее занятием.

— Что это?

— Ева рисует мне на манишке Эйфелеву башню для сегодняшнего маскарада, — объяснил ему Баттеруорт.

— Ну вот. — Ева отложила кисть и обтерла платком руки. — Получилось?

— Истинный шедевр!

Ее глаза скользнули по группе зрителей и как бы случайно задержались на Адриане.

— Ты совсем промок. Пойди переоденься.

— Пойдем вместе.

— Я лучше выпью еще шампанского.

— По-моему, тебе хватит. И нам надо одеться для маскарада.

Она неохотно сложила краски и пошла впереди него к выходу из бара.

— Стэккомб заказал столик на девятерых, — сказал Адриан, шагая вслед за ней по коридору.

— Молодое поколение, — проговорила она с преувеличенной горечью. — Уж конечно, молодое. И ты позабыл обо всем на свете — с ребенком.

Они еще долго разговаривали в каюте: она едко, он уклончиво; разговор оборвался, когда корабль вдруг резко швырнуло вверх, и Ева, неожиданно выдохнув остатки хмеля, опять почувствовала себя плохо. Им не оставалось ничего другого, как заказать два коктейля в каюту; но, выпив, они все же решили пойти на маскарад; возможно, он убедил ее, что она волнуется понапрасну, а возможно, ей стало все равно.

Адриан был готов через несколько минут — он не признавал маскарадных костюмов.

— Я подымусь наверх. А ты собирайся поскорей, хорошо?

— Пожалуйста, подожди меня — такая ужасная качка.

Он присел на кровать, пытаясь скрыть нетерпение.

— Тебе ведь не трудно подождать, правда? Мне не хочется появляться там одной.

Она ушивала восточный костюм, взятый напрокат у парикмахера.

— Морское путешествие может свести с ума, — сказала она. — Ненавижу корабли!

— Ты права, — рассеянно отозвался он.

— Когда мне становится совсем худо, я представляю себе, что забралась на дерево и его качает ветром. Да только потом мне начинает казаться, что я все время представляюсь, и нормальной тоже только представляюсь, а сама уже давно стала ненормальной.

— Ты поосторожней, так и правда можно свихнуться.

— Посмотри. Адриан. — Она подняла нитку жемчуга, прежде чем защелкнуть ее на шее. — Чудо, правда?

Адриану, которого томило нетерпение, казалось, что она движется, как в замедленном кино.

— Тебе еще долго? А то здесь нечем дышать, — сказал он.

— Иди один! — взорвалась Ева.

— Я вовсе не хотел...

— Иди, пожалуйста. Я не могу собираться, когда ты меня подгоняешь.

С показной неохотой он вышел из каюты. Потом, после секундной нерешительности, спустился вниз.

— Бетси, — позвал он, постучавшись в дверь.

— Минутку.

Она выглянула в коридор; на ней был красный бушлат и синие брюки корабельного лифтера.

— Как вы думаете, у лифтеров есть блохи? Я натянула тысячу одежек, чтобы они до меня не добрались.

— Я должен был вас увидеть, — торопливо сказал он.

— Тсс-с! Напротив каюта миссис Уорден, она у меня вроде дуэньи. Ее замучила морская болезнь.

— А меня — вы.

Они шагнули друг к другу и, пошатываясь на ускользящем из-под ног полу узкого коридора, крепко поцеловались.

— Не уходите, — шепнула она.

— Мне надо. Мне...

Он словно впитывал юность девушки, и его страсть преобразалась в пылкую нежность.

К нему вернулась та неуловимая легкость, которую, как ему казалось, он утратил навсегда вместе с собственной юностью, и отказаться от этого ощущения он был не в силах. Шагая по коридору, он понял, что не хочет, не решается думать.

На палубе он столкнулся с Евой.

— Где ты был? — спросила она его с принужденной улыбкой.

— В баре, посмотрел, много ли там народу.

Она была очень хороша; Адриан с горделивым восхищением отметил, что пошлый маскарадный костюм не убил ее холодноватого, своеобразного изящества. Они сели за столик.

Штормовой ветер наливался ураганной силой, и теперь даже переход из каюты в бар превращался в бурное и опасное путешествие. Чемоданы пассажиров были прочно закреплены, а нервные дамы, отчаянно цепляясь за края взбесившихся кроватей, с ужасом думали — сквозь мутную тошноту, сквозь мигрень, — что именно так и погиб «Вестрис». В баре, еще до прихода Смитов, какого-то дородного джентльмена швырнуло на пол, так что он сильно поранил голову, — поэтому легкие столы и стулья сложили в штабели и принайтовали к стене.

На торжественный обед собрались только самые стойкие; человек пятнадцать надели маскарадные костюмы. Чтобы примкнуть к избранному обществу, требовалось добраться до салона — других критериев сейчас не было. За столиками сидели очень разные люди — от юриста-гарвардца из аристократической семьи до полуграмотного маклера по кличке Хват, и никакой разницы между ними не ощущалось: все собравшиеся — полтора десятка среди нескольких сотен — принадлежали к избранному кругу титанов, сумевших победить шторм.

Язвительно подмигивали разноцветные фонарики, трепыхались, перешептываясь, бумажные флажки, иногда сразу несколько человек отъезжало от стола, расплескивалось вино, кто-то торопливо пробирался к двери, а корабль, взбираясь с волны на волну, угрюмо стонал, что он все же корабль, а не отель. Поднявшись после обеда на палубу, несколько пар прыгали, дергались, шаркали подошвами по шаткому полу, и неподвластная им сила яростно мотала их из стороны в сторону. Эти вихлянья над головами нескольких сотен мучеников приобрели оттенок непристойности — как разудалый кутеж на поминках, — и вскоре последние титаны потянулись обратно в бар.

Ева все сильнее ощущала туманную нереальность происходящего. Адриан куда-то скрылся — наверное, с мисс Д'Амидо, — и Ева, одурманенная морской болезнью и шампанским, не могла думать ни о чем другом; ее досада перерастала в мрачную злобу, грусть — в тоскливое отчаяние. Она никогда не пыталась пришить его к своей юбке, да в этом и не было нужды: их объединяли общие интересы, взаимная привязанность, здравый смысл, наконец, — а он грубо, по-предательски, нарушил их союз. Неужели он воображает, что она ничего не заметила?

Через несколько часов — так ей показалось, — когда она воодушевленно толковала с какой-то женщиной о воспитании детей, Адриан склонился над ее стулом.

— Ева, я думаю, нам пора.

Она презрительно скривила губы.

— Ну да, пора отвести меня в каюту, чтобы я не мешала восемнадцатилетним кра...

— Успокойся!

— Я не хочу спать.

— Тогда пожелай мне спокойной ночи.

Прошло еще сколько-то времени, за ее столиком уже сидели новые люди. Бар закрывался, и Ева, думая об Адриане — об ее Адриане, который говорил нежности красивой свеженькой девчонке, — горько разрыдалась.

— Он пошел спать, — втолковывали ей люди, сидевшие за ее столиком. — Мы видели, как он спускался.

Она покачала головой. Ей ли не знать? Адриан был потерян навеки. Счастливый семилетний сон оборвался. Возможно, это возмездие, подумалось ей, — и сейчас же бимсы

над ее головой принялись бормотать, что наконец-то она догадалась. Возмездие за эгоистическое, против материнской воли, замужество, расплата за все совершенные ею грехи и проступки. Она встала, сказав, что хочет выйти на свежий воздух.

Палубу скрадывала ветреная дождливая тьма. Корабль, непрерывно настигаемый ревушими валами, карабкался по зыбким склонам черных ущелий. Оглядевшись, Ева поняла, что если она, во искупление своих грехов, не умилюстит океан добровольной жертвой, то всем им придет конец. Да-да, ей надо отказаться от любви Адриана. Она бережно отщелкнула замочек ожерелья, поднесла жемчуг к губам — ибо знала, что расстанется с самой светлой, самой солнечной частью своей жизни, — и швырнула в ревущие волны.

3

Когда Адриан проснулся, звучал гонг, сзывающий пассажиров к завтраку, но разбудил его не гонг, а тяжелый беспорядочный грохот. Оказалось, что чемодан — видимо, плохо закрепленный — сорвало с места и швыряет по каюте между Евиной кроватью и шкафом. Чертыхнувшись, он торопливо прыгнул на пол, но с Евой, по счастью, ничего не случилось: она крепко спала, так и не сняв маскарадный костюм. Он вызвал стюарда, и они закрепили чемодан, а когда дверь за стюардом захлопнулась, Ева приоткрыла один глаз.

— Как ты? — спросил Адриан, присев к ней на кровать.

Глаз закрылся, потом открылся снова.

— Мы вошли в зону урагана, — сказал Адриан. — Стюард говорит, что за двадцать лет он не видел ничего подобного.

— Голова, — еле слышно прошептала Ева. — Придержи мне голову.

— Как?

— Спереди. У меня лопаются глаза. Я, наверно, умираю.

— Глупости. Вызвать врача?

Она коротко, придушенно всхрипнула, страшно испугав его. Он позвонил и послал стюарда за врачом.

Молодой корабельный врач был измучен, бледен и небрит. Он кивнул — не слишком приветливо — и, повернувшись к Адриану, сухо спросил:

— Что у вас случилось?

— Моя жена плохо себя чувствует.

— Думаете, ей нужно успокоительное?

Несколько раздраженный небрежностью врача, Адриан сказал:

— Надеюсь, после осмотра вы сами поймете, что именно ей нужно.

— Ей нужен бром. По моему указанию спиртного ей здесь давать больше не будут.

— Да в чем дело? — изумленно спросил Адриан.

— Вы не знаете, что произошло нынешней ночью?

— Конечно, нет — я спал.

— Миссис Смит целый час бродила по палубам в бессознательном состоянии. Сначала нам пришлось послать матроса, чтобы он следил за ней, а когда санитарка предложила ей лечь в постель, она ее оскорбила.

— О господи! — вырвалось у Евы.

— Мы с медсестрой всю ночь дежурили у постели стюарда Картона — он умер сегодня утром. — Врач поднял свой чемоданчик. — Я пришлю лекарство. До свидания.

Несколько секунд Адриан и Ева молчали. Потом он порывисто наклонился и одной рукой обнял ее за плечи.

— Не расстраивайся, — сказал он. — Это мы уладим.

— Теперь я вспомнила, — испуганно прошептала Ева. — Мое жемчужное ожерелье. Я выкинула его в океан.

— Выкинула в океан?

— А потом пошла тебя искать.

— Я же сказал, что спущусь в каюту.
— Мне не верилось. Я думала, ты с той девушкой.
— Ей стало плохо еще за обедом. А я просто лег спать.
Нахмурившись, он вызвал стюарда и заказал к завтраку бутылку пива.
— Простите, сэр, но в эту каюту запрещено подавать спиртные напитки.
— Безобразие! — зло процедил Адриан, когда стюард вышел. — Ты потеряла голову из-за шторма, а они тут раскомандовались. Я поговорю с капитаном.
— Ужасно, правда? — тихо сказала Ева. — Этот бедняга умер.
Она прижалась лицом к подушке и заплакала. В дверь постучали.
— Можно?

Неутомимый мистер Баттеруорт, безукоризненно одетый и свеженький, вошел в бешено дергающуюся от качки каюту.

— Ну как, вас все еще тянет к мистике? — спросил он у Евы. — Вы помните ваши вчерашние молитвы стихиям?

— Я не желаю вспоминать о вчерашнем.

Они рассказали ему про случай с санитаркой и, рассказывая, решили, что все это выглядит довольно смешно. Мистер Баттеруорт тоже посмеялся.

— Пойду добуду для вас пива, — сказал он. — А потом вам надо подняться на палубу.

— Не уходите, — попросила Ева. — У вас такой милый и бодрый вид.

— Да я ведь только на десять минут.

Когда он ушел, Адриан позвонил, чтобы заказать две ванны.

— Нам надо одеться понарядней и с гордым видом сделать три круга по палубе, вот и все, — сказал он.

— Наверно, — согласилась она, думая о чем-то Другом. И через минуту добавила: — Симпатичнейший молодой человек. Он был очень мил вчера, когда ты исчез.

В дверь постучал стюард и сказал, что сегодня слишком опасно принимать ванну. Такого сильного урагана, объяснил он, не было в Северной Атлантике уже десять лет; на корабле нынче утром зарегистрировано два перелома руки — оба при попытке принять ванну. Одна пожилая женщина упала с лестницы и, говорят, едва ли выживет. А несколько судов непрерывно передают сигнал SOS.

— И мы пойдем им на помощь?

— Все они сзади нас, сэр, поэтому нам придется оставить их «Мавритании». Если мы попытаемся сменить курс на такой волне, нам выдавит иллюминаторы.

Перед этим нагромождением несчастий поблекли их собственные беды. Они запили свой поздний завтрак пивом, которое принес Баттеруорт, оделись и вышли на палубу.

Она оказалась более многолюдной, чем накануне, хотя сегодня передвигаться по ней — да и то с трудом — можно было, только держась за поручни или натянутые канаты. Страх выгонял людей из кают, где тяжкие всплески волн угрожали выбить иллюминаторы, а грузные кофры норовили переломать ноги, — и при этом каждый пассажир ждал, что с минуты на минуту прозвучит сигнал садиться в спасательные шлюпки. Действительно, едва Смиты поднялись на среднюю палубу, прозвучал гонг, а нижнюю палубу заполнила толпа стюардов и стюардесс. Но корабль был невредим — он пережил одного из членов экипажа: каютного стюарда Джеймса Картона готовились похоронить в море.

Церемония была чисто британской и очень грустной. Вдоль борта, под проливным дождем, стояли шеренги сдержанных, дисциплинированных мужчин и женщин, а тело Картона покрывал флаг Морской империи. Священник прочитал заупокойную молитву, провожающие спели гимн, и тело скользнуло в бушующие волны. Глядя на этот смиренный обряд, Ева иступленно разрыдалась и почувствовала, что в ней оборвалась какая-то до предела натянутая струна. Теперь ей действительно было все равно. Она с горячностью поддержала Баттеруорта, когда он предложил выпить у них в каюте шампанского. Ее настроение тревожило Адриана: обычно она почти не пила, и он не знал, как ему сейчас поступить. В ответ на его вопрос, не хочется ли ей спать, она просто рассмеялась, а

присланное врачом лекарство так и осталось нетронутым. Делая вид, что слушает банальности нескольких Стэкомбов, он незаметно наблюдал за ней и с досадливым изумлением обнаружил, что Баттеруорту она отвечает по-дружески, почти нежно, — в отместку, как он решил, за его внимание к мисс Д'Амидо.

По каюте сложились полосы табачного дыма, ни на секунду не умолкали голоса гостей, и Адриан, вынужденный сидеть без дела в ожидании перелома погоды, начинал нервничать. Их путешествие продолжалось всего четыре дня и они казались годами.

Два Стэкомба в конце концов ушли, но Баттеруорт остался. Ева уговаривала его принести еще одну бутылку шампанского.

— Мы уже достаточно выпили, — твердо сказал Адриан. — Тебе необходимо поспать.

— Я не хочу спать! — капризно выкрикнула Ева. — Ты уже окончательно взбесился. Тебе, значит, можно напрапалую флиртовать, а когда я встретила человека, который... который мне симпатичен, ты хочешь запереть меня в каюте.

— У тебя истерика.

— Наоборот, я пришла наконец в нормальное состояние.

— Мне кажется, вам лучше уйти, Баттеруорт, — сказал Адриан. — Ева немного не в себе.

— Никуда он не пойдет. Я не хочу, чтобы он уходил. — Она пылко сжала руку Баттеруорта. — Только он один и отнесся ко мне по-человечески.

— Вам лучше уйти, Баттеруорт, — повторил Адриан.

Во взгляде Баттеруорта отразилась нерешительность.

— По-моему, вы несправедливы к жене, — отважился возразить он.

— Моя жена не в себе.

— Это еще не значит, что ее надо терроризировать.

Адриан потерял терпение.

— Проваливайте отсюда! — рявкнул он.

Несколько секунд мужчины молча смотрели друг на друга. Потом Баттеруорт повернулся к Еве и, сказав: «Я загляну попозже», — вышел.

— Ева, опомнись, — проговорил Адриан, когда дверь захлопнулась.

Не отвечая, она угрюмо поглядывала на него из-под полуопущенных век.

— Я закажу обед в каюту, а потом мы попытаемся уснуть.

— Мне нужно послать телеграмму.

— Кому?

— Одному парижскому юристу. Я развожусь с тобой.

Его раздражение схлынуло, и он рассмеялся.

— Не говори глупостей.

— Тогда мне надо проведать детей.

— Вот это другое дело. А я закажу обед.

Он ждал ее двадцать минут. Потом нетерпеливо постучался в каюту напротив, — няня сказала, что миссис Смит к ним не заходила.

С внезапным предчувствием беды он бросился наверх, заглянул в бар, обежал все салоны, даже толкнулся к Баттеруорту. Потом — нижняя палуба, средняя, прогулочная — ощупью, сквозь сырую ветреную тьму и косые струи дождя. Вахтенный матрос остановил его у груды спутанных канатов.

— На верхнюю палубу нельзя, сэр, приказ капитана. Одна волна уже дохлестнулась до радиорубки.

— Здесь не проходила молодая женщина, пассажирка?

— Вы не про эту... — Матрос повернул голову и умолк. — Эге, да ее уже нет!

— Значит, она пошла наверх, — тревожно сказал Адриан, — в радиорубку.

Матрос бросился на верхнюю палубу, Адриан — спотыкаясь, оскальзываясь за ним. Едва он выбрался из люка, корабль, под сокрушительным ударом огромной волны, резко завалился на борт, и он кубарем скатился по сорокапятиградусному откосу палубы, а у

фальшборта — ошалевший, избитый изо всех сил закричал:

— Ева!

Но его голос мгновенно поглотила штормовая тьма. Чуть мерцал, скудно освещая палубу, иллюминатор радиорубки, и Адриан увидел пробиравшегося вперед матроса.

— Ева!..

Ветер, словно тряпку, поволок его к спасательной шлюпке. Потом корабль содрогнулся, над ним поднялась искрящаяся блеклыми блестками гигантская волна, зависла — и Адриан вдруг разглядел Еву в двадцати футах от него, у кожуха вентилятора. Оттолкнувшись от фальшборта, он ринулся к ней, но волна распалась и с оглушительным шорохом обрушилась на корабль. Яростный бурун — по грудь Адриану, — сбивая его с ног, устремился ему навстречу, и в бурлящей воде он видел человеческую фигуру, и неистово вцепился в нее, и его стремительно потащило к борту. Потом он ощутил страшный удар о фальшборт, но не разжал рук, не выпустил свою добычу, и когда корабль медленно выровнялся, он остался лежать на мокром палубном настиле, и рядом с ним лежала Ева, прикованная к нему его отчаянной, мертвой хваткой. Следующего мгновения его память не сохранила.

4

Двумя днями позже, сидя в купе, Адриан уговаривал детей посмотреть на мирный нормандский ландшафт, — парижский поезд, согласованный с морским расписанием, быстро увозил Смитов на юг.

— Это же очень интересно, — убеждал детей Адриан. — Французские фермы точь-в-точь как игрушечные. Почему вы упрямитесь?

— На пароходе интересней, — сказала Эстелла.

Ее родители обменялись взглядом детоубийц.

— Меня до сих пор качает, — вздрогнув, призналась Ева. — А тебя?

— Да нет. Мне почему-то кажется, что это было страшно давно. Уже на таможне я не узнал почти никого из наших спутников.

— Почти никто из них не подымался на палубу.

Поколебавшись, Адриан сказал:

— Знаешь, я разменял Баттеруорту чек.

— И очень глупо сделал. Его чек не оплатит ни один банк.

— Ему, наверно, позарез нужны были деньги — иначе он не обратился бы ко мне.

Девушка с утомленным и бледным лицом, проходя по коридору, услышала их голоса и заглянула в купе.

— Как вы себя чувствуете?

— Ужасно.

— Я тоже, — сказала мисс Д'Амидо. — Боюсь, мой жених просто не узнает меня на вокзале. Вы слышали? — две волны перекатились через верхнюю палубу.

— Да, нам говорили, — сухо ответил Адриан.

Она грациозно ушла вперед — и навсегда из их жизни.

— На самом-то деле ничего этого не было, — помолчав, сказал Адриан. Все это нам привиделось — привиделось в кошмарном сне.

— А где же тогда мое жемчужное ожерелье?

— Родная, в Париже есть еще и не такие жемчуга. Это я беру на себя. Я верю, что ты действительно спасла наш корабль.

— Адриан, давай больше ни с кем, ни с кем не знакомиться — только ты да я, и так всю жизнь.

Он взял ее под руку и придвинулся к ней поближе.

— Как ты думаешь, что это за Смиты плыли на том корабле? — спросил он. — Меня там не было.

— Меня тоже.

— Правильно, это были наши однофамильцы, — сказал он. — Смит ведь очень распространенная фамилия.

СУМАСШЕДШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

1

Воскресенье. Не день, а лишь узкий просвет между двумя обычными днями. Позади съемочные площадки и дубли, долгое ожидание под микрофонным журавлем, сотни миль за день во все концы Калифорнии на автомобилях, состязания в изобретательности и остроумии в студийных кабинетах, уступки и компромиссы, атаки и отступления, — тяжкая битва множества человеческих личностей, битва не на жизнь, а на смерть. Но вот воскресенье, и снова вступает в свои права личная жизнь, и загораются блеском глаза, еще накануне подернутые тусклой пеленой монотонности. Томительно тянутся последние часы будней, и медленно, будто заводные куклы в игрушечной лавке, оживают люди: в углу о чем-то увлеченно сговариваются, влюбленные ускользают в коридор целоваться, и у всех одно ощущение: «Скорей, скорей. Еще не поздно, но, ради бога, торопитесь, ведь не успеешь оглянуться, и они кончатся, эти благословенные сорок часов отдыха!»

Джоэл Коулз писал сценарий. Ему было двадцать восемь лет, и Голливуд еще не сломил его. Все эти полгода, с тех пор как он сюда приехал, он получал удачные по здешним понятиям заказы и с увлечением разрабатывал эпизоды и сочинял диалоги. Он скромно именовал себя поденщиком, хотя на самом деле думал иначе. Мать Джоэла была известной актрисой, и все его детство прошло между Лондоном и Нью-Йорком в попытках понять, где подлинная жизнь, а где игра, или хотя бы не слишком в этом путаться. Он был красивый, с томными карими глазами — те же глаза смотрели в 1913 году на бродвейскую публику с лица его матери.

Получив утром приглашение, Джоэл окончательно убедился, что кое-чего уже достиг. Обычно по воскресеньям он никуда не ходил, не пил и брал работу домой. Недавно ему дали пьесу Юджина О'Нила — фильм ставился для очень знаменитой актрисы. Все, что он делал до сих пор, нравилось Майлзу Кэлмену, а Майлз Кэлмен был единственный режиссер на студии, у которого никто не стоял над душой, он отчитывался непосредственно перед теми, кто финансировал фильм. В карьере Джоэла все шло как надо. («Говорит секретарь мистера Кэлмена. Он приглашает вас в воскресенье на чашку чая, от четырех до шести... Беверли-Хиллз, дом номер...»).

Джоэл был польщен. Изысканный светский прием. Его признали многообещающим молодым человеком. Дом, где бывают большие люди, приятели Мэр ион Дэвис; быть может, придут даже Дитрих, Гарбо и Маркиза, а их встретить не так-то просто.

«Пить не буду», — заверил себя Джоэл. Кэлмен не терпит пьяниц, о чем заявляет во всеуслышание, сожалея, что кинопромышленность не может без них обойтись.

Кэлмен прав: сценаристы пьют слишком много. Вот и он сам... Но сегодня — ни капли. Хорошо бы, Майлз оказался где-нибудь рядом, когда подадут коктейли, и услышал его скромное и краткое: «Спасибо, не пью».

Дом Майлза Кэлмена был создан для высоких прозрений — казалось, он сосредоточенно внимает, словно тишина его анфилад прятала невидимых слушателей, но в этот день здесь было полно народу, будто гостей не пригласили, а пригнали сюда целой толпой. И, кроме него, всего два сценариста, с гордостью отметил Джоэл; титулованный англичанин и, как ни странно, Нат Кьюу, хотя именно он и послужил поводом для раздраженного замечания Кэлмена о пьяницах.

Стелла Кэлмен (она же знаменитая Стелла Уокер), поздоровавшись с Джоэлом, не отошла к другим гостям. Она медлила — она была так очаровательна, что это требовало

признания, и Джоэл положился на свой актерский дар, унаследованный от матери.

— Вам же шестнадцать лет, не больше! Где ваш педальный автомобильчик?

Ей это явно понравилось — она все медлила. Джоэл почувствовал, что должен сказать еще что-то, дружески и просто — он познакомился со Стеллой в Нью-Йорке несколько лет назад, когда она билась за самые маленькие роли. Тут появился поднос с коктейлями, и Стелла протянула ему бокал.

— Все боятся, верно? — сказал он, рассеянно взглянув на бокал. — Все следят друг за другом, не совершит ли кто-нибудь промах, или прикидывают, с тем ли человеком говорят, будет ли от этого польза... К вашему дому это, конечно, не относится, — спохватился он. — Я говорю вообще о Голливуде.

Стелла согласилась. Она представила Джоэлу несколько гостей, словно он был важной персоной. Убедившись, что Майлз далеко, Джоэл выпил коктейль.

— Значит, у вас уже малыш, — сказал он. — Тогда берегитесь. Хорошенькая женщина после первого ребенка оказывается в очень уязвимом положении. Ей надо увериться, что она все так же пленительна. И только преданное поклонение какого-нибудь нового мужчины может доказать ей, что ничего не изменилось.

— Мне еще никто никогда преданно не поклонялся, — не без сожаления сказала Стелла.

— Просто все боятся вашего мужа.

— Вы так считаете? — Наморщив лоб, она задумалась над его словами, но тут их прервали — в самый подходящий момент, решил Джоэл.

Благосклонность Стеллы вселила в него уверенность. Нет, не его удел пристраиваться к тихим группкам или искать приют под крылышком знакомых.

Он подошел к окну и стал смотреть на Тихий океан, белесый в ленивых лучах заката. Хорошо здесь — американская Ривьера и все такое прочее, жаль только, некогда всем этим наслаждаться. Красивые, элегантные люди вокруг, прелестные девушки и... прелестные девушки. Нельзя же иметь все на свете!

Юное мальчишеское лицо Стеллы мелькало среди гостей, одно веко было устало припущено, и Джоэлу захотелось сесть с ней рядом и завести долгий задушевный разговор, просто так, забыв о ее громком имени. Он следил за ней, проверяя, уделит ли она кому-нибудь столько же внимания, как ему. И выпил второй коктейль, но не потому, что хотел придать себе уверенности, а потому, что после разговора со Стеллой уверенности у него было хоть отбавляй. Он подсел к матери хозяина дома.

— Ваш сын, миссис Кэлмен, стал живой легендой. Непогрешимый оракул, избранник судьбы! Лично я бунтую, но я в меньшинстве. А что думаете вы? Вы удивлены? Вас поражает, сколь многого он достиг?

— Ничуть, — спокойно ответила она. — Мы всегда возлагали на Майлза большие надежды.

— А знаете, это необычно, — заметил Джоэл. — Мне казалось, что все матери похожи на мать Наполеона. Моя, например, не хотела, чтобы я имел хоть какое-то отношение к зрелищам. Она хотела, чтобы я поступил в Вест-Пойнт, вот надежное поприще.

— Мы всегда верили в Майлза...

В столовой, у стенного бара, он поболтал с добродушным, вечно пьяным и высокооплачиваемым Натом Кьюу.

— За год я заработал сто тысяч и сорок проиграл, так что пришлось мне взять управляющего.

— Вы имеете в виду — агента? — подсказал Джоэл.

— Да нет, агент у меня тоже есть. Управляющего. Я все отдаю жене, а она совещается с ним, и они выдают мне деньги на расходы. Я плачу ему пять тысяч в год, чтобы он выдавал мне мои же деньги.

— Ваш агент?

— Да нет же, управляющий! И я не один такой — у него большая клиентура среди

безответственных Людей.

— Но хватило же у вас ответственности нанять управляющего!

— Я безответствен, когда играю. Дело в том...

В гостиной запел певец; Джоэл и Нат вместе с другими гостями пошли туда.

2

Пение доносилось словно издалека; Джоэл был полон счастья и дружеского расположения ко всем собравшимся здесь людям — таким трудолюбивым и мужественным, не в пример дельцам-буржуа, которые если и опередили их, так только в невежестве и разврате, — людям, добившимся самого высокого положения в стране, вот уже целое десятилетие жаждавшей лишь одного развлечений. Они ему нравились, он их любил. Теплые волны доброжелательства накатывали на него одна за другой.

Певец умолк, гости начали подходить к хозяйке прощаться, и вдруг Джоэла осенило. Сейчас он им представит «Заварим погуще» — свой коронный номер, который уже имел успех на нескольких вечерах и, наверно, понравится Стелле Уокер. Он бросился к ней, и кровь застучала у него в висках: сейчас он покажет всем, на что он способен!

— Ну конечно! Непременно! — воскликнула она. — Вам что-нибудь понадобится?

— Кто-то должен сыграть секретаршу — я ей диктую.

— Я сыграю!

Гости, уже надевавшие пальто в передней, потянулись обратно, на Джоэла со всех сторон воззрились чужие люди. Ему стало не по себе: он вдруг сообразил, что певец был знаменитость, радиозвезда. Но кто-то сказал: «Ш-ш!», и они со Стеллой очутились в центре зловещего полукруга, как на индейском празднестве. Стелла выжидательно улыбнулась, и он начал...

Сценка строилась на пробелах в образовании мистера Дэйва Силверстина, независимого продюсера; Джоэл изображал, как тот диктует указания сценаристу, в каком духе следует обработать роман, который он купил для экранизации.

— ...подкинем туда развод, молодую пару и чуток подперчим, — слышал он свой голос, подражающий интонациям Силверстина. — Ну, к примеру, он после развода да в Африку, в Иностранный легион. Заварим погуще, ясно?

Тут его кольнуло сомнение. Мягко освещенные лица вокруг смотрели на него внимательно и не без любопытства, но ни тени улыбки, ни у кого. Холодными рыбьими глазами уставился на Джоэла Великий Любовник экрана, который стоял прямо напротив. И только Стелла Уокер глядела на него все с той же сияющей улыбкой.

— ...того, что постарше, дать под Менжу, только чтоб антураж, как в Гонолулу, и таким манером получаем Майкла Арлена.

Первые ряды неподвижны, но сзади шорох и заметное движение влево, к двери.

— ...Тут она ему — у меня, мол, к тебе сексапил. А он как вскинется катись, говорит, отсюда подальше.

Один раз он услышал, как фыркнул Нат Кьюу, на двух-трех лицах мелькнула улыбка, но когда он кончил, то с ужасающей ясностью понял, что выставил себя дураком перед столпами мира кино, от которых зависит его карьера.

Еще мгновение мучительной, неловкой тишины, затем гости направились к дверям. Он уловил насмешку в поднявшемся шуме голосов, потом — все это за какие-то десять секунд! — Первый Любовник с пустыми, стеклянными глазами громко сказал: «Мура», выразив, как показалось Джоэлу, общее настроение. Это было презрение профессионалов к любителю, сплоченной общины к чужаку, безжалостный приговор клана.

Только Стелла Уокер все еще стояла рядом и благодарила его так горячо, будто он всех привел в восторг, будто она и не заметила, что скетч никому не понравился. Нат Кьюу помог ему надеть пальто, и тут Джоэла захлестнула волна отвращения к себе, и он едва не нарушил свое правило таить обиды про себя, пока они не утихнут.

— Провалился, — весело сказал он Стелле. — Ну и пусть. Отличный номер, когда хорошо принимают. Спасибо вам за помощь.

Она по-прежнему улыбалась, — он склонился в пьяном поклоне, и Нат потянул его к двери...

Поданный завтрак вернул Джоэла из тумана снов в расколотый вдребезги мир. Вчера еще он был самым собой, ярким факелом, готовым озарить киномир, а сегодня погребен под катастрофической неудачей — он один против этих холодных физиономий, против презрения каждого и глумления всех! Хуже того, для Майлза Кэлмена он стал теперь одним из тех жалких пьяниц, работать с которыми для режиссера тяжкий крест. А Стелла Уокер, которая принесла себя в жертву гостеприимству, — о ней он даже боялся думать. Аппетит у него пропал совершенно, он поставил яичницу на телефонный столик и написал:

«Дорогой Майлз! Вы, конечно, понимаете, как я сам себе противен. Каюсь, иной раз на меня находят приступы эксгибиционизма, но в гостях, среди бела дня! О, боже! Приношу глубочайшие извинения Вашей супруге.

Всегда Ваш Джоэл Коулз».

В студии Джоэл отсиживался в своем кабинетике и вышел только для того, чтобы прокрасться в табачную лавку, словно какой-то воришка. Поведение его было столь подозрительным, что дежурный охранник потребовал у него пропуск. Пообедать он решил в городе, но тут его перехватил Нат Кью, беспечный и веселый.

— Да никак вы обрекли себя на вечное заточение? Ну, ошибал вас этот пижон, так что? Хотите, расскажу вам одну историю? — продолжал он, увлекая Джоэла в студийный ресторан. — Как-то на премьере у Граумена этот тип раскланивался перед зрителями, а Джо Сквайерс дал ему коленкой под зад. Тогда этот индюк заявил, что потребует объяснения. Назавтра в восемь утра Джо ему позвонил. Кажется, говорит, вы хотели со мной объясниться. Только ответа Джо не дождался — тот сразу же положил трубку.

Эта нелепица подбодрила Джоэла, и он стал разглядывать компанию за соседним столиком, находя в этом мрачное утешение: грустные и милые сиамские близнецы, злобные карлики и гордый великан — актеры, занятые в фильме о цирке. Однако взглянув на другой столик — на хорошеньких женщин, чьи лица сейчас желтели гримом, густо подведенные глаза были печальны, а бальные платья выглядели при свете дня дешевой мишурой, — он поежился: они были вчера у Кэлмена.

— Нет, конечно! — воскликнул он. — Никаких светских приемов отныне и во веки веков.

На следующий день в студии его ждала телеграмма.

«Вы были одним из самых приятных наших гостей. Жду вас к ужину в следующее воскресенье у моей сестры Джун.

Стелла Уокер Кэлмен».

Кровь бешено застучала у него в висках, он перечитал телеграмму.

«Господи! До чего же это мило с ее стороны!»

3

Снова этот сумасшедший день — воскресенье. Джоэл проспал до одиннадцати, потом проглядел газету, чтобы быть в курсе всех новостей за неделю. Позавтракал он у себя: форель, салат из авокадо, пинта калифорнийского вина. Когда пришло время одеваться, он выбрал костюм в клеточку, голубую рубашку и палевый галстук. От усталости под глазами у него темнели круги. Он подъехал к особняку на Ривьере в своей подержанной машине и только успел представиться сестре Стеллы, как явились Стелла с Майлзом в костюмах для верховой езды — несколько часов подряд они жестоко ссорились на всех дорогах за Беверли-Хиллз.

Майлз Кэлмен — высокий, нервный, блистательно остроумный и с такими скорбными глазами, каких Джоэл не видел ни у кого, был художником от макушки своей странновато

слепленной головы до тяжелых нескладных ног. На них он стоял твердо: он не снял ни одного пошлого фильма, хотя иной раз ему приходилось дорого расплачиваться за неудавшийся эксперимент роскошь, которую он мог себе позволить. Он был обаятельным собеседником, но каждому, кто имел с ним дело, вскоре становилось ясно, что человек он большой.

Едва Кэлмены вошли, как день Джоэла нерасторжимо сплелся с их днем. Он направился к собравшемуся возле них кружку, но тут Стелла, раздраженно прицелкнув языком, отошла, а Майлз сказал кому-то рядом:

— Только не упоминайте Еву Гобел, не то дома мне костей не собрать. Майлз повернулся к Джоэлу: — Я, к сожалению, не сумел заглянуть вчера к вам на студию. Полдня провел у своего психиатра.

— Психоанализ?

— Да, и уже давно. Я обратился к нему по поводу клаустрофобии, а теперь пытаюсь распутать всю свою жизнь. Говорят, на это потребуется не меньше года.

— Но в вашей жизни все прекрасно, — уверил его Джоэл.

— Вы думаете? А вот Стелла так не считает, — с горечью сказал Майлз. Спросите кого угодно, вам всякий скажет.

Какая-то девица уселась на ручку его кресла, и Джоэл подошел к Стелле, которая потерянно стояла у камина.

— Спасибо за телеграмму, — сказал он. — Она была как бальзам. Вы такая красивая и такая добрая! Значит, бывают и добрые красавицы.

Она была даже еще красивей в это воскресенье, и, быть может, искреннее восхищение, которое она прочла в его глазах, побудило ее довериться ему сразу же, немедленно, потому что она была на грани истерики.

— ...целых два года, а я даже не подозревала. Она ведь считалась моей лучшей подругой, постоянно у нас бывала. В конце концов, когда люди открыли мне глаза, Майлз вынужден был признаться.

Она демонстративно уселась на ручку его кресла. Ее бриджи были того же цвета, что и кресло, а в пышных волосах смешивались рыже-золотые и бледно-золотые пряди — покрасить так невозможно, — подумал Джоэл. И никакой косметики на лице. Настоящая красавица...

Стелла все никак не могла прийти в себя от обрушившегося на нее открытия, а тут еще к Майлзу льнула новая девица, и это было невыносимо. Она увела Джоэла в спальню, где они, усевшись на разных концах широкой кровати, продолжали разговор. Гости по пути в ванную заглядывали к ним и отпускали шуточки, но Стелла, изливая душу, не обращала на них внимания. Немного погодя в дверь просунул голову Майлз.

— Бесполезно пытаться объяснить Джоэлу за полчаса то, чего я сам не понимаю, а доктор сказал, чтобы понять все это, нужно не меньше года.

Стелла продолжала говорить, будто Майлза тут и не было. Она любит Майлза, сказала она, несмотря ни на что, она всегда была ему верна.

— Психоаналитик сказал Майлзу, что у него материнский комплекс. Сначала Майлз перенес его на свою первую жену, и тогда его сексуальные порывы обратились на меня. Но когда он женился на мне, все повторилось: материнский комплекс он перенес на меня а либидо — на эту женщину.

Джоэл понимал, что, возможно, это вовсе не такой уж бред, и тем не менее. Он был знаком с Евой Гобел — настоящий материнский тип: она и старше и мудрее Стеллы, прелестного балованного ребенка.

Майлз сердито предложил, чтобы Джоэл поехал к ним, раз уж Стелле надо так много ему рассказать, и они поехали в особняк на Беверли-Хиллз. Там, под высокими потолками, вся история предстала более трагической и благородной. Вечер был светлый и жутковатый, за окнами висел прозрачный сумрак, и золотисто-розовой тенью, с рыданиями, металась по комнате Стелла. Джоэл не очень верил в горе киноактрис. Им предназначено другое:

красивые золотисто-розовые статуэтки, на какие-то часы они оживают по воле сценаристов и режиссеров, а после съемок шепчутся, и хихикают, и сплетничают обо всем на свете.

Он то слушал Стеллу, то притворялся, будто слушает, а сам любовался, как она одета: бриджи в обтяжку четко обрисовывают линии стройных ног, пастельных тонов итальянский свитер с высоким воротом, коричневая замшевая курточка. Он никак не мог решить, она ли подделка под английскую леди или английская леди — подделка под нее. Она балансировала на самой грани доподлинной подлинности и наглого лицедейства.

— Майлз так меня ревнует, что следит за каждым моим шагом! — с презрением бросила она. — Я написала ему из Нью-Йорка, что ходила в театр с Элди Брейкером, и он с ума сошел от ревности, звонил мне десять раз на день.

— Я совсем обезумел. — Майлз засопел, как всегда в минуты волнения. Психиатр тогда целую неделю бился со мной, и все впустую.

Стелла в отчаянии покачала головой.

— А ты ждал, что я три недели буду безвыходно сидеть в номере?

— Ничего я не ждал. Ну да, я ревнив. Я стараюсь не ревновать. Доктор Бриджбейн проводил со мной специальные сеансы, но ничего, не вышло. Сегодня я ревновал тебя к Джоэлу, когда ты села на ручку его кресла.

— Ты ревновал?! — вспыхнула Стелла. — Ревновал! А у тебя на ручке кресла никто не сидел? И ты сказал мне за два часа хоть одно слово?

— Но ты была в спальне с Джоэлом. Жаловалась ему.

— Как только я вспомню, что эта женщина... — Стелле, как видно, казалось, что, не произнося имени Евы Гобел, она тем самым вычеркивает ее из реальной жизни, — все время здесь бывала!

— Ну хорошо, хорошо, — устало сказал Майлз. — Я ведь во всем признался, и мне не легче, чем тебе. — Он повернулся к Джоэлу и стал говорить о фильмах, а Стелла, сунув руки в карманы бриджей, беспокойно расхаживала взад и вперед в дальнем конце гостиной.

— Они обошлись с Майлзом возмутительно, — неожиданно вмешалась Стелла, как будто и не было никакого разговора о ее собственных проблемах. Расскажи Джоэлу, как этот Белтцер хочет переделать твой фильм.

Глаза Стеллы сверкали негодованием, она склонилась над Майлзом, словно хотела его защитить, — и Джоэл понял, что любит ее. От волнения у него захватило дух, он встал и попрощался.

В понедельник, резким контрастом с воскресными пересудами, сплетнями и семейными драмами, неделя вновь обрела свой рабочий ритм; сценарий без конца резали, переделывали, подгоняли: «К черту этот дурацкий наплыв! Оставим ее голос за кадром и дадим средний план от Белла, или общий вид: просто вокзал, а потом камера панорамирует вереницу такси...» К середине дня в понедельник Джоэл уже снова забыл, что людям, поставляющим развлечения, позволено развлекаться самим. Кэлменам он позвонил вечером. Он спросил Майлза, но к телефону подошла Стелла.

— Ну, как у вас, полегче?

— Не очень. Что вы делаете в субботу вечером?

— Ничего.

— Перри дают обед, а оттуда поедут в театр. Майлза не будет — улетает в Саут-Бенд, на матч «Нотр-Дам» — «Калифорния». Вы не могли бы составить мне компанию?

Джоэл ответил не сразу:

— Ну конечно, с удовольствием. Только если затянут совещание, к обеду я не успею, а в театр приду.

— Тогда я скажу, что мы будем.

Положив трубку, Джоэл долго ходил по кабинету. Понравится ли это Майлзу, особенно если иметь в виду, что у них сейчас происходит? Или она не хочет, чтобы Майлз знал? Нет, это невозможно, — если Майлз не заведет разговор о субботе, Джоэл сам ему скажет. Однако целый час, если не больше, он не мог приняться за работу.

В среду в конференц-зале четыре часа шло совещание. Трое мужчин и одна женщина по очереди мерили шагами ковер, предлагая или отвергая — резко или деликатно, уверенно или безнадежно, а над их головами плыли спиралями туманности и созвездия табачного дыма. Когда обсуждение кончилось, Джоэл подошел к Майлзу.

Вот кто действительно устал — не от споров, а просто от жизни: набрякшие веки, синие тени под скулами, где пробивается щетина.

— Говорят, вы летите на матч?

Майлз посмотрел куда-то мимо и покачал головой.

— Я раздумал.

— Отчего же?

— Из-за вас. — Он по-прежнему не смотрел на Джоэла.

— Да господь с вами, Майлз!

— Из-за вас я отказался от поездки. — И он усмехнулся — словно сам над собой. — Попробуй угадай, что натворит Стелла мне назло — она ведь пригласила вас пойти с ней к Перри? Матч не доставит мне никакого удовольствия.

Поразительная интуиция, которая никогда не изменяла ему на съемочной площадке, отказывала в личной жизни, тут он был слаб и беспомощен.

— Послушайте, Майлз, — сказал Джоэл, нахмурившись. — У меня и в мыслях ничего нет и не было. Если вы правда хотите отменить поездку из-за меня, я не пойду со Стеллой к Перри и не буду с ней видеться. Можете мне верить.

Только тут Майлз посмотрел на него. Очень внимательно.

— Допустим. — Он пожал плечами. — Не вы, так найдется кто-то другой. Мне будет не до развлечений.

— Вы, видно, не слишком доверяете Стелле? А она сказала мне, что всегда была вам верна.

— Может, и была. — За последние несколько минут складки вокруг рта у Майлза залегли еще глубже. — Но после того, что случилось, разве я смогу что-то от нее требовать? Разве я имею право... — Он умолк, потом заговорил снова, и лицо его стало жестким. — Скажу вам одно. Что я сам натворил — не важно, но если я узнаю что-нибудь про Стеллу, я с ней разведусь. Не могу я поступиться своей гордостью, это было бы последней каплей.

Джоэла раздражал его тон, но он сказал:

— А как с Евой Гобел? Стелла успокоилась?

— Нет. — Майлз мрачно засопел. — И для меня это тоже не просто.

— Мне казалось, там все кончено...

— Я стараюсь не встречаться с Евой, но, знаете, не так легко порвать сразу — она ведь не девчонка, с которой целуешься в такси. Психиатр говорит...

— Да, да, — перебил Джоэл, — Стелла мне рассказывала. — Излияния Майлза наводили тоску. — Так вот, что касается меня, если вы улетите на матч, я со Стеллой не встречу. И уверен, что ее совесть чиста.

— Может быть, может быть, — вяло повторил Майлз... — Тем не менее я остаюсь и иду с ней на обед... А знаете, — вдруг сказал он, — пойдете и вы с нами! Мне нужно, чтобы рядом был кто-то симпатичный мне, с кем я могу поговорить. В этом ведь и беда: Стелла полностью находится под моим влиянием, и все, кто нравится мне, нравятся и ей тоже. В особенности мужчины. Очень все это сложно.

— Да, должно быть, — согласился Джоэл.

4

На обед Джоэл не поспел. Стыдясь своего цилиндра в это безвременье, когда кругом было столько безработных, он ждал Перри и их гостей перед Голливудским театром и разглядывал вечерний парад: бездарные копии блестящих кинозвезд, несостоявшиеся киногерои в спортивных пиджаках, шаркающий дервиш с апостольской бородой и посохом,

парочка франтоватых филиппинцев в модных костюмах как напоминание о том, что этот штат открыт всем морям, шумная процессия молодежи в причудливых нарядах — как выяснилось, посвящение в какое-то братство. Шествие распалось, пропуская два роскошных лимузина, которые остановились у тротуара.

Вот она! В платье, сотканном из тысячи бледно-голубых бликов — словно в струе студеной воды, а на шее переливаются сосульки. Он порывисто шагнул к ней.

— Ну как? Нравится вам мое платье?

— Где Майлз?

— Он все-таки улетел на матч. Вчера утром... Во всяком случае, надеюсь... — Она не договорила. — Только что пришла телеграмма из Саут-Бенда, что он вылетает обратно. Ах, да — вы знакомы с моими друзьями?

Вся компания направилась в театр.

Значит, Майлз все-таки улетел. Джоэл терзался сомнениями, правильно ли он сделал, что пришел. Но когда начался спектакль, он позабыл о Майлзе. Профиль Стеллы и светлая россыпь ее волос были совсем рядом. Один раз он повернулся к ней, и она посмотрела на него, улыбаясь, и не отвела глаза. В антракте они курили в фойе, и она шепнула ему:

— Они все поедут на открытие ночного клуба Джека Джонсона... Мне не хочется, а вам?

— Это обязательно?

— По-моему, нет. — Она замаялась. — Мне хотелось бы поговорить с вами. Может быть, поедем к нам? Если бы только я была уверена...

Она снова умолкла, и Джоэл спросил:

— В чем?

— Уверена, что... Ну да, я психопатка, но я вовсе не уверена, что Майлз действительно поехал на матч.

— Вы думаете, он у Евы Гобел?

— Да нет... но что, если он здесь и следит за мной? Знаете, Майлз способен на очень странные поступки. Как-то он пожелал пить чай с каким-нибудь человеком, у которого длинная борода, и потребовал, чтобы бюро по найму актеров прислало ему такого длиннородного, а потом пил с ним чай до вечера.

— Ну это совсем другое. Он же прислал вам телеграмму из Саут-Бенда. Значит, он на матче.

Выйдя из театра, они попрощались со своими спутниками, что было встречено веселыми взглядами. Машина вырвалась из толпы, собравшейся вокруг Стеллы, и покатила по залитой золотым светом улице.

— Он ведь мог договориться об этих телеграммах, — сказала Стелла. — Это очень просто.

Что ж, вполне вероятно, и при мысли, что ее тревога не лишена основания, Джоэл рассердился: если Майлз, так сказать, решил держать их в объективе кинокамеры, то он снимает с себя все обязательства. Вслух он сказал:

— Чепуха.

В витринах магазинов уже сверкали рождественские елочки, и полная луна над бульваром казалась бутафорской, как и огромные фонари на перекрестках. На Беверли-Хиллз темная листва тускло поблескивала, будто эвкалипты под солнцем, но Джоэл видел лишь отсвет белого лица совсем рядом и плавный изгиб плеча. Она вдруг отстранилась и посмотрела на него.

— У вас глаза вашей матери, — сказала она. — Когда-то у меня был целый альбом ее снимков.

— А у вас глаза — только ваши, других таких нет, — ответил он.

Когда они входили в дом, Джоэл почему-то оглянулся, будто ему почудилось, что Майлз притаился в кустах. На столике в передней лежала телеграмма. Стелла прочла ее вслух:

«Чикаго.

Буду завтра вечером. Думаю о тебе. Люблю.

Майлз».

— Вот видите, — сказала она, бросая телеграмму обратно на столик, — он легко мог все это подстроить.

Она распорядилась, чтобы дворецкий принес напитки и сэндвичи, и поднялась наверх, а Джоэл прошелся по пустынным гостиным. Вот и рояль, возле которого он, опозоренный, стоял в позапрошлом воскресенье.

— Итак, развод, — сказал он громко, — молодая пара, а он после развода да в Африку...

Он вспомнил о другой телеграмме:

«Вы были одним из самых приятных наших гостей...»

А что, если телеграмма Стеллы — обычный жест вежливости, — вдруг подумал он. Скорее всего, ее надоумил Майлз, ведь это он пригласил его. Может быть, Майлз сказал: «Пошли ему телеграмму — у него сейчас скверно на душе, ему кажется, что он сделал из себя посмешище».

Похоже на то... «Стелла полностью находится под моим влиянием, и все, кто нравятся мне, нравятся и ей тоже, в особенности мужчины». Женщина послала бы телеграмму из сострадания, мужчина счел это своим долгом.

Стелла вошла в гостиную, и он взял ее за руки.

— У меня странное чувство, мне все кажется, что я просто пешка, которой вы сделали ход против Майлза, — сказал он.

— Налейте себе чего-нибудь.

— А самое странное, что я все равно влюблен в вас.

Зазвонил телефон, она отняла руку и взяла трубку.

— Еще одна телеграмма от Майлза, — объявила она. — Он отправил ее — во всяком случае, так там сказано — с самолета, из Канзас-Сити.

— И, наверное, просит передать поклон мне?

— Нет, он только пишет, что любит меня. И я верю, что любит. Он такой слабый.

— Сядьте рядом со мной, — попросил Джоэл.

Время было не позднее. И полчаса спустя, когда Джоэл встал и подошел к холодному камину, до полуночи оставалось еще несколько минут.

— Значит, я вам совсем не интересен?

— Почему же? Вы мне очень нравитесь, и вы это знаете. Но только, кажется, я действительно люблю Майлза.

— Вне всякого сомнения.

— И я почему-то очень нервничаю сегодня.

Он не сердился — скорее, почувствовал облегчение: случись иначе, все слишком бы осложнилось. Но, глядя на нее, на ее теплое нежное тело, растапливающее холодную голубизну платья, он понял, что будет сожалеть о ней всю свою жизнь.

— Мне пора, — сказал он. — Я позвоню и закажу такси.

— Зачем же? У нас есть ночной шофер.

Он поежился — уж очень легко она его отпускает, — и, заметив это, она поцеловала его легким поцелуем и сказала:

— Вы милый, Джоэл.

Он залпом осушил бокал, и тут же громко, на весь дом, зазвонил телефон, и торжественно забили часы в холле:

Девять... десять... одиннадцать... двенадцать...

И снова настало воскресенье. Джоэл подумал, что пошел вечером в театр, еще не

сбросив с себя гнета будней, и Стеллы домогался так настойчиво, будто спешил до конца дня покончить и с этим делом. Но теперь наступило воскресенье — впереди двадцать четыре упоительных праздных часа, каждая минута манит тайным обещанием, в каждом мгновении таятся бесчисленные возможности. И нет ничего недостижимого, все только начинается. Он налил себе еще один бокал.

Стелла вскрикнула и бессильно опустилась на пол возле телефона. Джоэл подхватил ее и перенес на диван. Он смочил носовой платок содовой водой и приложил ей к лицу. Из телефонной трубки доносилось какое-то бормотание, и он взял ее.

— ...самолет упал сразу после вылета из Канзас-Сити. Тело Майлза Кэлмена опознано и...

Он повесил трубку. Стелла открыла глаза.

— Не поднимайтесь, — сказал он, стараясь протянуть время.

— О господи, что случилось? — прошептала она. — Позвоните им! Господи, что случилось?

— Сейчас я позвоню. Кто ваш доктор?

— Они сказали — Майлз погиб?!

— Лежите тихо... Кто-нибудь из слуг еще не спит?

— Обнимите меня, я боюсь!

Он обнял ее за плечи.

— Скажите мне фамилию вашего доктора, — твердо повторил он. — Может быть, это ошибка, но надо, чтобы кто-то был здесь.

— Мой доктор... О боже, неужели Майлз погиб?!

Джоэл кинулся наверх и стал рыться в незнакомых аптечках в поисках нашатырного спирта. Когда он вернулся, Стелла рыдала.

— Нет, нет, он жив! Я знаю, он жив! Он это все придумал. Он нарочно мучит меня. Он жив, я знаю. Я чувствую, что он жив.

— Кому из ваших близких друзей позвонить, Стелла? Вам нельзя оставаться одной.

— Нет! Нет! Я не хочу никого видеть. Оставайтесь вы со мной. У меня нет друзей. — Она встала, слезы заливали ее лицо. — Майлз — мой единственный друг. Он не умер, он не может умереть! Я поеду туда, я должна сама все увидеть. Узнайте, когда поезд. И вы поедете со мной.

— Но сейчас ночь, ничего нельзя сделать. Скажите мне, кому из ваших подруг я могу позвонить: Лоис? Джоун? Кармеле? Кому?

Стелла подняла на него невидящие глаза.

— Моей лучшей подругой была Ева Гобел, — сказала она.

Джоэл вспомнил, как они с Майлзом говорили на студии два дня назад, увидел перед собой его отчаянное, печальное лицо. В страшном безмолвии смерти все стало на свои места. Он был единственным режиссером-американцем, соединившим в себе совесть художника с незаурядным характером. Зажатый в тисках киномашины, он расплачивался своим душевным здоровьем за то, что не шел на компромиссы, не сумел выработать в себе трезвый цинизм, не смог найти себе убежище, а если оно у него и было, то жалкое и ненадежное.

У парадной, двери что-то стукнуло, потом она отворилась. В холле послышались шаги.

— Майлз! — пронзительно крикнула Стелла. — Это ты, Майлз? Это Майлз, Майлз!

На пороге появился рассыльный с телеграфа.

— Я не нашел звонка. Но вы тут разговаривали.

Телеграмма точно повторяла то, что передали по телефону. Стелла перечитывала ее снова и снова, будто хотела убедиться, что это какая-то страшная чушь, а Джоэл тем временем звонил по телефону. Все еще где-то веселились, и никого не было дома, но в конце концов он разыскал каких-то знакомых, потом заставил Стеллу выпить виски.

— Вы должны остаться, Джоэл, — шепнула она словно в полусне. — Не уходите, Майлзу вы так нравились... он говорил, что вы... — Она содрогнулась всем телом. — Боже мой, если бы вы только знали, как мне одиноко! — Глаза ее закрылись. — Обнимите меня,

Джоэл. У Майлза был такой же костюм. — Она резко выпрямилась. — Как подумаю, какой ужас он должен был испытать! Он так всего боялся.

Она помотала головой, потом вдруг сжала лицо Джоэла в ладонях и притянула к себе.

— Нет, нет, ты не уйдешь! Я ведь нравлюсь тебе — ты любишь меня... Любишь? Не звони никому. Завтра еще будет время. А сейчас останься, не уходи от меня!

Он смотрел на нее, не веря своим ушам, а потом вдруг все понял и ужаснулся. Быть может, сама того не сознавая, Стелла тщила вернуть Майлза к жизни, сохраняя ту ситуацию, в которой он был главным действующим лицом, — ей словно казалось, что сознание его не угаснет, пока не исчезнет причина его тревоги. Это была безумная, мучительная попытка отсрочить ту минуту, когда придется смириться с реальностью его смерти.

Джоэл решительно взял трубку и позвонил доктору.

— Не надо, не надо, не звони никому! — закричала Стелла. — Иди ко мне, обними меня!

— Доктор Бейлз дома?

— Джоэл! — рыдала Стелла. — Я думала, что могу положиться на тебя. Ты так нравился Майлзу. Он ревновал меня к тебе... Джоэл, иди же ко мне!

...Значит, если он предаст Майлза, ей удастся сохранить иллюзию, что он жив... но ведь он погиб, его уже невозможно предать!

— ...страшное потрясение. Только что. Не могли бы вы приехать сейчас же и привезти сиделку?

— Джоэл!

Теперь дверной звонок и телефон звонили непрерывно, а к парадному уже подъезжали автомобили.

— Но ты не уйдешь! — молила Стелла. — Ведь ты останешься, скажи, что останешься!

— Нет, я не останусь, — ответил он. — Но я вернусь, если буду нужен.

На ступеньках крыльца Джоэл остановился. Дом теперь гудел и пульсировал жизнью, которая всегда трепещет вокруг смерти, как защитная завеса листвы, и в горле у Джоэла забилося глухое рыдание.

«Он был волшебником. Он сотворял чудо, к чему бы ни прикоснулся, подумал он. — Он преобразил даже эту маленькую статисточку и сделал из нее подлинное произведение искусства».

Потом:

«Как будет не хватать его в этой пустыне... Уже не хватает!»

И потом, не без горечи:

«Я-то вернусь... я вернусь».